

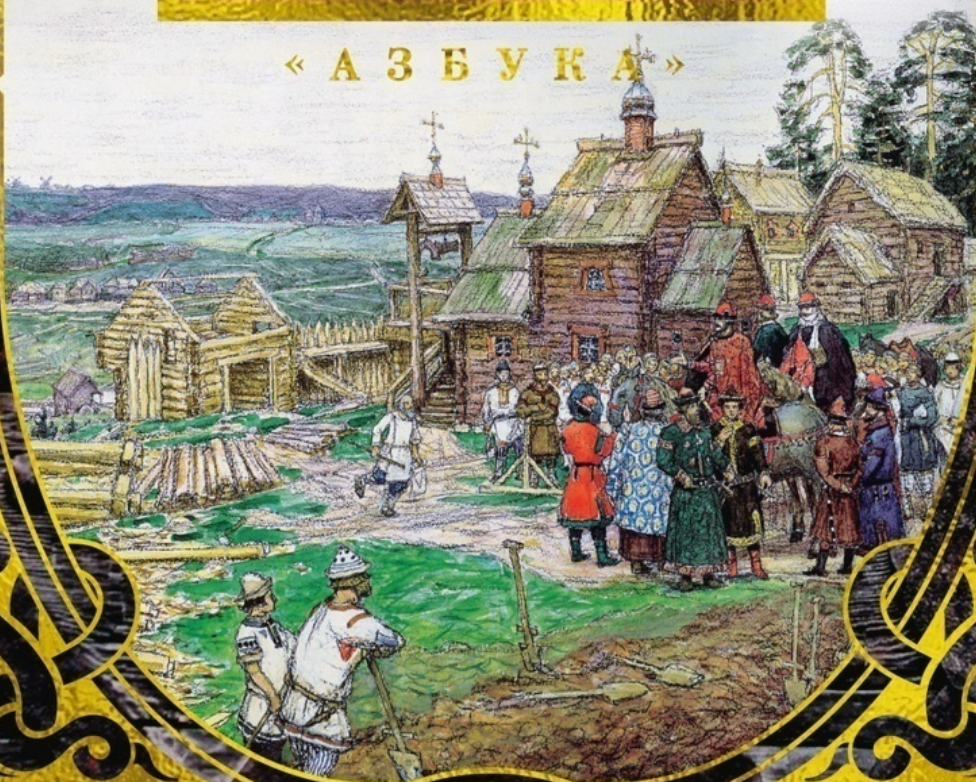
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Дмитрий
Балашов

ГОСУДАРИ
МОСКОВСКИЕ

Младший сын
Великий стол

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Дмитрий Балашов

**Государи Московские:
Младший сын. Великий стол**

«Азбука»

1975, 1979

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Балашов Д. М.

Государи Московские: Младший сын. Великий стол /
Д. М. Балашов — «Азбука», 1975, 1979 — (Русская литература.
Большие книги)

ISBN 978-5-389-25075-8

«Государи Московские» – монументальный цикл романов, созданный писателем, филологом-русистом, фольклористом и историком Дмитрием Балашовым. Эта эпическая хроника, своего рода один грандиозный роман-эпопея, уместившийся в многотомное издание, охватывает период русской истории с 1263 до 1425 года и уже многие десятилетия не перестает поражать читателей глубиной, масштабностью, яркостью образов и мастерской стилизацией языка. Вместе романы цикла образуют своего рода летопись, в которой исторические события жизни крупных княжеств разворачиваются год за годом, где отражены быт и нравы различных сословий, представлены судьбы, облик и характер сотен исторических деятелей. Саблями татар добыл князь Александр Невский золотой стол владимирский – для себя, для своих детей. Досталась ему русская земля в крови и пепле сожженных городов, под гнетом татарской власти. Много сил положено на ее устройство, но еще больше трудов впереди... В настоящий том вошли первые романы цикла: «Младший сын», повествующий о жизни первого московского князя, младшего сына Александра Невского Даниила Александровича, и «Великий стол» – история борьбы за великое княжение между Юрием Даниловичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским в начале XIV века. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-25075-8

© Балашов Д. М., 1975, 1979

© Азбука, 1975, 1979

Содержание

Младший сын	7
Пролог	8
Часть первая	12
Глава 1	12
Глава 2	13
Глава 3	15
Глава 4	20
Глава 5	21
Глава 6	28
Глава 7	33
Глава 8	39
Глава 9	42
Глава 10	43
Глава 11	44
Глава 12	48
Глава 13	51
Глава 14	53
Глава 15	56
Глава 16	58
Глава 17	60
Глава 18	62
Глава 19	63
Глава 20	65
Глава 21	68
Глава 22	74
Глава 23	75
Глава 24	76
Глава 25	77
Часть вторая	82
Глава 26	82
Глава 27	87
Глава 28	90
Глава 29	93
Глава 30	95
Глава 31	96
Глава 32	99
Глава 33	101
Глава 34	102
Глава 35	107
Глава 36	110
Глава 37	117
Глава 38	121
Глава 39	122
Глава 40	128
Глава 41	132
Глава 42	133

Глава 43	134
Глава 44	140
Глава 45	142
Глава 46	145
Глава 47	147
Глава 48	150
Глава 49	153
Конец ознакомительного фрагмента.	157

Дмитрий Балашов

Государи Московские.

Младший сын. Великий стол

Младший сын

Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих, тогда знаем Историю. Хвастливость авторского красноречия и негра читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории, но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?

Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему благоденствия еще более, нежели славы, желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

Н. М. Карамзин

Пролог

О, светло-светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами удивлена ты еси: озерами светлыми, реками многоводными, святыми кладезями местнотчистыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами красными, садами обительными, домами церковными, князьями грозными, боярами честными, вельможами гордыми – всего еси исполнена земля Русская, о, правоверная вера христианская!

Отселе до угров, и до ляхов, и до чехов, а от чехов до ятвяги, от ятвяги до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устюга, туда, где тоймичи дикие, и за Дышущим морем, а от моря до болгар, от болгар до буртас, до черемис, от черемис до мордвы – то всё покорено было Богом христианскому языку, все поганские страны: великому князю Всеволоду, отцу его, Юрью, князю киевскому, деду его, Володимеру Мономаху, которым половцы страшили детей в колыбелях, а литва тогда из болота на свет не выныкивала, а угры твердили каменные города железными воротами, абы на них великий Володимер тамо не въехал, а немцы радовались, далече будучи за синим морем! Буртасы же, черемисы, вьда и мордва бортничали на князя великого Володимера. И сам кюр Мануил цареградский, опас имея, бесценные дары посылал к нему, дабы и под ним великий князь Володимер Цесаря города не взял!

А в последние дни настала болезнь христианам, от великого Ярослава и до Володимера, и до нынешнего Ярослава, и до брата его, Юрья, князя владимирского...

О, великая земля Русская, о, сладкая вера христианская!

Горели деревни. Ветер нес запах гари, горький запах, мешавшийся со смолистым сосновым духом и медовыми ароматами лугов. Сухой и тонкий, он лишь слегка, незримо, вплетался в упругую влажность ветра, и все-таки от него, от этого легкого и горького привкуса, першило в горле и сухо становилось во рту, ибо это был запах беды, древней беды народов и особенной беды деревянной, дотла выгорающей в пожарах русской страны. И это же был запах огня, жизни! Но почему так рознятся запахи дыма костров и пожарищ? О жилом, о тепле, о ночлеге и хлебе говорит дым костра, и о смерти, скитаниях, стуже – горький чад сгорающих деревень.

На вершине холма, на коне, что, потягивая повод и тревожно раздувая ноздри, нюхал ветер, тянувший гарью из-за синих лесов, сидел, глядя тяжелыми, в отечных мешках, зоркими глазами туда же, куда и конь, и еще дальше, за синие леса, за озера, в далекие степи мунгальские, русский князь. Он лишь на миг скосил глаза, когда внизу вырвалась вдруг из леса, ломая грудью ельник, ошалевшая от огня и страшного запаха дыма кобыла, и тотчас, следом за нею, выскочил на опушку и побежал по склону холма, кособочась, босой старик, с отдуваемой ветром бородой, в серо-белой некрашеной рубахе и таких же серо-белых, отбеленных солнцем холщовых портах. Мужик бежал, щурясь на бегу из-под ладони, зорко и опасливо глядя вверх, туда, где, темный против солнечной стороны, стоял на коне князь и чередой тянулись, щетинясь остриями копий и шоломов, ратники княжой дружины. Кто-то из ратных, не выдержав, порушил ряд и поскакал впереимы, норовя раньше мужика ухватить за повод одичавшую лошадь...

Князь с холма продолжал глядеть вперед. Он знал эту дорогу. Долго будут тянуться, провожая, еловые да сосновые боры, березовые колки, дубовые и кленовые рощи, деревни и города, пашни и перелески, где остались, в чаще лесов, родной Переяславль, княжий стол, златоглавый Владимир. А там, за Муромом, за Окою, шире и шире пойдут поляны в разноцветье трав, по брюхо коню, чернее земля на пашнях, а там, за последними, потерянно прячущимися в приовражьях русскими землянками, начнутся степи, а за ними шумный и разноязычный Сарай, не поймешь: то ли торг, то ли город, то ли стойбище татарское?.. Где рев верблюдов, табуны коней, амбары, лавки, пыль, иноземные купцы и, среди всего, жалкие глаза

русских полоняников. А там, за широкой, как море, рекой Итиль, по-русски Волгой, опять степи, чужие, мунгальские, где уже и не встретишь русского лица, только седой серебряный ковыль под ветром ходит волнами до края неба да изредка промаячат по этому морю плывущие караваны. А там, дальше, редкие сосновые перелески да пески, и цветные, рыжие, красные, зеленые и синие холмы, и снова степи день за днем, месяц за месяцем, и сухая пыль, то жаркая, то ледяная, и горы в мареве, и лица чужие, плоские, широкоскулые, будто трава их рождает так, целиком, в оружии, на диких степных конях. И совсем далеко ставка великого кагана, степной город, составленный из расписных юрт и лаковых разборных дворцов, готовый ежеминутно сняться с места и в реве, в ржании, в глухом и тяжелом, потрясающем землю стуке бесчисленных копыт плыть на новые земли и страны, рушить царства, губить города... Город, откуда так трудно возвращаться живым... Князь смотрел, каменея, за синие леса, за широкие степи, великий князь Золотой Руси!

Он был женат, как и Владимир Святой, на полоцкой княжне. Только не брал ее с бою, как Владимир Рогнеду, и жили хорошо. Свое прозвище «Невский» он получил за малую битву, удавшуюся ему в далекие молодые годы, в те годы, когда только и можно так вот, очертя голову, не собрав рати, с одною дружиною сунуться на неприятеля, уповая лишь на удачу да на неожиданность натиска... Свєї опомнились быстро, и, кабы не оплошность Биргера да не удаль молодецкая, ему бы плохо пришлось. После, с немцами, он уже не забывал так себя. А на что ушли прочие годы? На устроение. Он устраивал землю. Для себя. Для своих детей. Вот эту русскую землю топтали татарские кони по его зову. Саблями поганых добывал у родного брата золотой стол владимирский. Добыл. Разоренную, поруганную, в крови и пепле сожженных городов... И устраивал.

И принял руку Батыеву, протянутую ему, и сам протянул руку врагу в час, когда Бату, в споре с Гуюк-ханом, остался один, с малым войском, на враждебной, едва полоненной земле, и мог быть, возможно, разгромлен совокупными силами...

И не пошла ли бы тогда иначе вся история Руси Великой? В союзе с торговым, изобильным, деловитым Западом, с его королями и императорами, книжной премудростью, замками, рыцарями, каменными городами, учеными-гуманистами?

Думал ли он, что католики Запада могли оказаться еще пострашней мунгальской орды, что, наложив руку на храмы, веру, знание, обратив просторы русских равнин в захолустье Европы, прикрывшись страной, как щитом, от угрозы степей, они предали бы потом обессиленную, отравленную учением своим Русь и бросили ее на снедь варварам Востока, надменно отворотясь от поверженной в прах страны? Или, не загадывая так далеко, просто не почел рисковать неверным воинским счастьем в споре, исход которого был слишком неясен и, в поражении, грозил обернуться еще горшею бедой? Или – из мести за отца, отравленного в Каракоруме ханшей Туракиной, – решил поддержать он Бату, врага Туракины и Гуюка? Или все это вкупе, быть может, даже и не понятное, а почувствованное сердцем, обратило его к союзу с Ордой?

Ручеек просек каменный склон и стремится вниз, с резвой белопенной радостью рождения. Тут и камня хватит, завала, лопаты земли, чтобы задержать, запрудить, поворотить течение назад, быть может, перекинуть на другую сторону горного хребта... Но вот ручей ширится, вбирая ручьи и реки, обрастает городами, несет челны, поит земли, и уже подумать нельзя, чтобы не здесь, не в этих берегах и не к этому морю стремился мощный поток, тот поток, что когда-то упавший камень, оползень или заступ землекопа могли обратить вспять, и росли бы другие города, и уже иные народы поили иные стада из этой реки, и в иные моря уходили ее струи... И уже стали бы думать – почему? Искать неизбежности, доказывать, что именно так, не иначе, должна была, не могла не потечь река-история, будто история существует сама по себе, без людей, без лиц. Будут говорить о ее непреложных законах, ибо видна река, но не камень, повернувший течение ручья...

Русский князь с тяжелыми властными глазами стоял у истока. Он, возможно, не знал этого и сам, не ведал, что от него, от копыт его скакуна потечет, будет расти и шириться великая страна. Он не знал и не ведал грядущего. Он весь еще был – при конце. Величие, рассыпавшееся по земле, как дорогое узорочье, гаснущий блеск Киевской державы закатным огнем еще осеняли его голову. Но он избрал путь, повенчав Русь со степью узами любви и ненависти, на вечный бой и вечную тоску по просторам степей. И сейчас, с холма, глядел туда, в эти безмерные дали времени, прозревая и не видя за туманами верст и веков конца своего пути...

Его (он не знал этого) сделают святым. Святым он не был никогда. Был ли он добр? Едва ли. Умен – да. Дружил и хитрил с татарами, не пораз ездил в Орду, в Сарай, и даже в Каракорум, к самому кагану мунгальскому. Но, выбрав свой путь, шел по нему до конца. Себя заставлял верить, что надо так. Останавливал нетерпеливых, не послушал даже Данилы Галицкого. Усмирал Новгород, не желавший платить дань татарам. Усмирил, родного сына не пожалев. Сам гнулся и других гнул. Твердо помнил, как отец умно и вовремя склонился перед Батыем, не пришел на Сить умирать вместе с Юрием – и получил золотой владимирский стол. Отец был прав. Мало радости да и честь не добра, погинуть стойно Михайле Черниговскому!

Так, тяжелой братнею кровью окупленный, кровью не им, а татарами пролитой, решился вековой спор суздальских Мономашичей с черниговскими Ольговичами, спор Юрия Долгорукого, а потом и Всеволода о золотом столе киевском, спор Ярослава Всеволодича, отца Александра, с тем же Черниговским Михаилом. И вот теперь не Михайло, святой мученик, а прежде того держатель стола киевского, мнивший объяти всю землю русскую в десницу свою, – не Михаил, а он, Александр Ярославич Невский, стал великим князем киевским и владимирским тож. Но горька та власть, полученная из рук татарских, над опустелым, травой заросшим Киевом, над разоренной и разоряемой Черниговскою землей. Горька власть, и тяжка плата за власть – дань крови и воля татарская.

Земля была устроена. Сыновья выросли. Старший, Дмитрий, получит Переяславль, а там, после дядьев, и великое княжение владимирское. Братья, братаничи, ростовские и суздальские свояродники, смоленские и черниговские князья – послушны его воле и под рукой ходят. Земля принадлежит ему, его роду. Даже младший, годовалый Данилка, получит удел – городок Москву, будет чем себя кормить при нужде. Земля была устроена, и дети выросли. И все равно главного он не сделал. Земля была не своя, чужая. Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде и были подожжены татарами. И отряд-то, верно, маленький, пожгли и отбежали. Поди, тех баскаков чадь, что избиты по городам...

Самое время, одарив и улестив Беркаю, добиться, чтоб самому, без бесермен поганых, собирать ордынские выходы! Дань на своей земле князь должен собирать сам! Пото и разрешил он черни резать и гнать бесермен из Ростова, Ярославля, Углича, Владимира и иных градов и весей. Не слепо, как Андрей, не очертя голову! Там, в далекой степи, встала рать. Орда в брани с каганом мунгальским. За каганьих ясащиков могут нынче и не спросить. На резню по городам, почесть, было получено разрешение золотоордынского хана... Было ли?

Резали страшно. В Ярославле инока-отступника, Зосиму, что принял мухаммедову веру и ругался над иконами, оторвав голову, таскали по городу и не то утопили потом в отхожем месте, не то бросили псам. Резали дружно, в один день и час... Он опять мысленно пересчитал тяжкие узлы с дарами. Но ведь дары можно взять и так, прирезав его, Александра, с горстью ратных! К счастью, пока еще он нужен Беркаю. Нужны русские полки для далекой персидской войны. Полков, впрочем, он тоже нынче не даст, рати с воеводами усланы им под Юрьев, громить немцев. Там они нужнее. Довольно уже русских воев ушло в мунгальские степи да в Китай. Ушло, и не воротилось назад!

Он сумел пережить и перехитрить Батю. С сыном Батыевым, Сартаком, заключил братский союз. Но ежели там, в далекой степи, его поймут – он пропал и выплатит на сей раз голо-

вой тяжкую дань татарскую. Сартак, названный брат, убит. Быть может, и для него это последний поход.

Тяжело весить на весах судьбы своей невесомое! Отца не любили на Руси. И оговорил его у кагана свой же боярин, Федор Ярунович... Братство с покойным сыном Батыевым перевесит ли в Орде пролитую татарскую кровь, когда и на своих-то положиться нельзя? Да и поможет ли братство с покойником перед лицом нового хана чужой, мухаммедовой веры?

Ежели хоть одна из тех грамот, что рассылал он по городам, попадет в мунгальские руки... Ежели там, в далекой степи, поладят друг с другом и снова захотят пролиться на Русь тысячами конских копыт... Ежели Орда откачнется к бесерменам и объявит священный поход на христиан... Ежели Беркай его разгадает – он погиб. И погибнет Русь. Вот этот мужик, что ловит свою кобылу... А об ином и думы нет. Сколько их бредет, с гноящимися ногами, бредет и пропадает костью в великой степи!

Ратник уже успел поймать крестьянского коня и теперь насмешливо глядел на подбегавшего мужика. Лошадь мелко дрожала кожей, тонко ржала, кося кровавым глазом.

Мужик, в некрашеной посконине, еще бежал, пригнувшись, вверх по скату холма, косо загребая твердыми, в бугристых мозолях, растоптанными стопами колкую с прошлогодней косьбы, сухую затравеневшую землю, и на бегу все вскидывал руку лопаточкой, пытаясь, защитив глаза от солнца, разглядеть князя, но уже чувалось, что и сам не знает, догонять ли лошадь или, спасая жизнь, стремглав кинуться назад, в лес.

Князь чуть повел шеей и краем глаза увидел, как Ратша повелительно кивнул ратнику, и ратник, по каменной спине князя мигом догадав, что дал маху, толкнул стремями бока своего скакуна, дергая упирающуюся кобылу: «Но! К хозяину идешь, шалая!» – с нарочитым безразличием подъехал к остоявшемуся мужику, верившему и не верившему неожиданной удаче, и протянул тому конец веревочного повода. Мужик вздрогнул, чуть не оплошав, попятился, но успел-таки поймать прынувшую вбок кормилицу. Под тяжелым взглядом полуприкрытых отеками веками глаз ратник отпустил повод, и мужик, смятенно озираясь на князя, торопливо вскарабкался на хребет лошади и так, охлюпкой, погнал ее скорее в лес, туда, где таял в воздухе дым догорающей деревни. Ратник воротился в строй. Князь, так и не вымолвив слова, отворотил лицо.

Земля была своя, и зорить ее без толку не стоило.

Часть первая

Глава 1

Александр умер на обратном пути из Орды, не доехав до Владимира, в Городце.

Приставали в Нижнем. Обламывая береговой лед, лодьи подводили к берегу. Бессильное тело больного князя бережно выносили на руках. Тяжелую кладь, казну и товары, оставили назади, ехали налегке – довести бы скорей! И все одно не успели. От холодного лесного воздуха родины ему сперва полегчало, но уже под Городцом поняли – не доедет. Остановили на княжьем подворье. Обряд пострижения в монашеский сан совершали наспех, торопясь. Священник, отец Иринарх, пугливо взглядывал в стекленеющие очи великого князя владимирского и киевского, все еще не веря тому, что происходило у него на глазах. Властной тяжестью руки Александр паче всего приучил всех верить в свое бессмертие. И вот – рушилось. Русская земля сиротела, и он, Иринарх, перстом Господа был указан для дела скорбного и громадного: отречь от мира надежду и защиту земли. Замешкавшись, он пропустил тот миг, когда последнее дыхание умирающего прервалось и осталось смежить очи, из которых медленно уходила жизнь. Трепетной рукою он коснулся холодеющих век, с усилием закрыл и держал, шепча молитву, дабы не открылись вновь, не увидеть еще этот немой, безмысленный, мертвый и страшный взгляд; два холодных драгих камня – грозно оцепеневшие голубые очи великого князя.

Уже за Городцом начались поминальные плачи. Мужики придорожных деревень стояли рядами, крестились, сняв шапки. Бабы плакали навзрыд. На стылую землю с серо-сизого облачного неба оседала, кружась, редкая неслышная пороша. Лужи звонко ломались под копытами и полозьями саней. Молча подъезжали, присоединялись к печальному поезду князя с дружинами из Стародуба, Гороховца, Ярополча. Ближе к Владимиру гроб понесли на руках. Толпы горожан, чернея, оступили дорогу. У Боголюбова, за десять верст от города, где тело встретил митрополит Кирилл с причтом, от народа стало не пробиться. Люди забирались на кровли, лезли на ограду, с горы перли вниз так, что изгороди сметало, точно половодьем. Толпа шуб, сермяг, армяков и зипунов, простых вотол и дорогих опашней, бабьих коротеев и боярских шубеек залила и перехлестнула пути. Кое-где вскрикивала задавленная баба, дуром, на сносях, припершаяся в самую гущу; плакали и сморкались; гомон гомонился: «Братцы! Православные! Задавили! Батюшки! Спаси Христос! Люди добрые! Отдай! Отступи! Спаси, Господи, люди твоя! Заступник, милостивец! Живота лишите совсем!» Выпрастывая с усилием руки, крестились, тискали шапки в руках. Пар курился облаками над морем сивых и светлых, где лысых, где кудрявых голов, над платками, киками и кокошниками горожанок. Старались не отстать и лезли, лезли вперед, к открытому гробу, туда, где пламя свечей металось от соединенного в ветер людского дыхания, в облака остро пахнущего на морозе ладанного дыма, и тут падали на колени, ползли, тянулись – хоть прикоснуться к краю одежды, к ногам, к скрещенным на груди рукам покойного. Священники, подымая кресты, отодвигали воющую толпу, совестили. Только так можно было, и то медленно, шаг за шагом, поминутно останавливаясь, продолжать шествие. А когда над кое-как укрошенным многолюдьем поднялся митрополит и слабым, но ясно прозвучавшим в морозном воздухе голосом бросил в толпу свои, ставшие знаменитыми в столетиях слова: «Зрите, братие, яко же зайде солнце земли русския!», и народ тысячеустно возопил в ответ: «Уже погибает!» – и стал валиться на колени, показалось – задрожала сама земля, не выдержав тяжкого колыхания необозримой скорбной громады...

И звонили колокола, и снова, и снова передавалось и росло, и светлело, исторгая потоки слез, словно ветром принесенное, обогнавшее скорбный поезд благовестие: татарского

погрома, мщенья за побитых бесермен, коего с ужасом ожидала истерзанная Владимирская земля, не будет, не будет! Мертвый Александр вез на Русь мир.

Потом, тоже разом облетевшее весь город, распространилось известие о чуде. В соборе, во время отпевания, когда приступили ко гробу, дабы вложить прощальную грамоту, покойный сам распростер длань и принял грамоту из рук объятого ужасом митрополита, и вновь сжал десницу, – а был уже девятый день по успении! О том, впрочем, говорил и сам митрополит Кирилл, толкуя чудо как знак святости и великих заслуг покойного перед Господом и языком Русским: «Тако бо прослави Бог угодника своего, иже много тружася за Новгород, и за Псков, и за всю землю Русскую, живот свой полагая за православное христьянство».

Глава 2

Пышные княжеские терема Всеволода Великого, о которых еще и теперь восторженно вспоминали старики, – с возвышенными, на киевский образец, обширными сенями, с хороводами гульбищ, вышек, затейливых верхов, сплошь изузоренных и расписных, золотом и киноварью подведенных, – сгорели во время Батыева погрома. Нынешний княжой двор во Владимире был и проще, и бедней. Да и не диво: с каких животов и кому было восстанавливать былую былинную красоту? Каждый князь, получавший владимирский стол, продолжал жить в своем родовом городе, только наезжая по времени во Владимир. Митрополичьи палаты, стараниями Кирилла возведенные на пепелище, выглядели основательней княжеских. Только голые белокаменные соборы по-прежнему возносили свои тяжело-стройные главы над кручей Клязьмы и от соседства понизившихся княжеских теремов прореженного пустырями города стали как бы еще выше, еще стройнее.

Тело Александра до похорон поставили в большой столовой палате. Теперь тут было все убрано и приготовлено к поминальной трапезе. Раздеваясь (прислуга, стараясь быть незаметной, сновала с верхним платьем, подавала гребни, шепотом спрашивала, не нужно ли чего?), проходили в соседнюю, крестовую палату. Здесь, под образами суздальского и новгородского письма, уже стояли – до прихода митрополита не садился никто – князья и княгини из рода Всеволода Великого, Всеволода Большое Гнездо, слетевшиеся на скорбную весть из ближних и дальних городов Владимирской земли.

Александра, вдова Невского, с двухлетним Данилкой, извещенная с пути о болезни мужа, выехала из Переяславля загодя. Весть о кончине застала ее во Владимире. От Боголюбова Александра в рыданиях билась над гробом, в церкви несколько раз падала замертво. Данилка, еще ничего не понимавший, только таращил глазки на золотые ризы, на свечи, на оклады икон, задирая головку на старинные, византийской работы, хоросы, чудом уцелевшие во время пожара и взятия града, когда последние защитники, епископ и княжеская семья задохлись в дыму на хорах поруганной святыни. Поднесенный к гробу, он недоуменно поглядел на мать, а когда его приложили губами к холодному лбу отца, стал упираться, но не заплакал, а только крепче вцепился ручонками в шею поднявшей его кормилицы и снова воззрелся вверх. А Александра и на прощании опять завывала в голос.

Из детей Александра не было Дмитрия – не успел приехать из Новгорода – да дочери Евдокии, что была замужем за смоленским князем. Старший Александрович, Василий, когда-то любимец, а после новгородских раздоров сосланный и отстраненный отцом от всех дел, угрюмо стоял рядом с матерью, иногда поддерживая шатающуюся Александру под локоть. В свои двадцать три он выглядел уже тридцатилетним. К матери у Василия было горькое чувство: не спасла, не отстояла, во всех семейных спорах всегда становилась на сторону отца. Василий старался не глядеть на младшего брата Андрея. От нынешнего княжеского совета он не ждал для себя добра. Андрей, еще подросток, тоже бычился на Василия: «Поди, захочет теперича забрать отцов удел, будет нам с Митькой тыкать!» Так, дичась друг друга, но не отходя от

матери, они прошли и в крестовую палату. Детям Александра предстояло получить (или не получить?) уделы из рук враждующих братьев-дядей.

Ростовские князья, внуки Константина Всеволодовича, приехали все скопом, с Марией Ростовской, дочерью замученного в Орде черниговского князя Михаила, и держались особняком.

Вотчина Константина уже при его детях распалась на части. Старший из Константиновичей, ростовский князь Василько, был схвачен на Сити и, отказавшись служить Батюю, погиб у Шеренского леса, повешенный татарами за ребро. Братья его – ярославский и углицкий князья – тоже умерли, передав столы потомкам. Теперь на ростовских уделах правили внуки. Из них Роман Углицкий творил богоугодные дела, строил странноприимные дома и больницы, не помышляя о большей власти. В Ярославле сидел «принятым» смоленский княжич Федор Ростиславич, женатый на правнучке Константина Всеволодовича. (Властная вдова сына Константинова, Марина Ольговна, и Ксения, ее сноха, пошли на этот брак, не желая, чтобы удел, за лишением мужского потомства, воротился в великое княжение.)

Они все приехали, вдовы и внуки, захватив и правнуков, совсем еще детей. Только «принятого» – Федора Смоленского – не взяли с собою на это семейное печальное торжество.

И здесь, среди вдов, была своя иерархия. Старшей по уделу, по значению и по роду была дочь Михаила Черниговского, вдова Василька Ростовского, Мария. И ярославская великая княгиня Марина Ольговна первая засеменила ей навстречу. Княгини поцеловались. Марина не утерпела, вполголоса пожаловалась на «принятого», Федора Смоленского.

– Красив! – щурясь, уронила Мария вспоминая Маринино зятя и обводя глазами собрание. (Борис Василькович и сама она посредничали в этом браке, тоже не хотели отдавать удел Ярославичам.)

– Уж больно красив-то! – вздохнув, возразила Ксения. – Нехорошо. У Маши сердечко тает, а он любит ли, нет – невесть!

– Власть-то он любит! – желчно подхватила Марина. – В ином мои бояре на вожжах не удержат...

– Пойдем, вот и Александра воротилась из церкви! – мягко остановила ее Мария и, тронув за рукав Ксению: «Не сердитесь, мол, что бросаю вас, а – не время нынче», – пошла навстречу великой княгине владимирской.

Шла прямая, пристойно утупив очи долу, и лишь на миг, невольно, подумалось-колыхнулось в душе: «Так вот! Всякому свой час!» Двадцать пять лет, как погиб муж Марии, князь Василько Ростовский, двадцать пять... И тридцать пять, как они поженились: дочка всеильного тогда черниговского князя Михаила и молодой ростовский князь Василько. И было ему восемнадцать лет, а ей едва исполнилось пятнадцать. Свадьбу гуляли в Москве, на полдороге, – так Михаил настоял, выдерживая честь. Десятого февраля пировали, а утром, в потемнях, полусонную, молодой муж выносил в сани, и – эх! чудо-кони, кони-вороны двести верст как диво, как ветер пронесли ее за неполных полтора дня. И казалось, то не кони, а муж молодой на руках несет ее сквозь обжигающий солнечный февральский ветер, в голубых проносящихся тенях от стройных елей, в сверкающей россыпи снегов. И двенадцатого уже были в Ростове, в хоромах мужевых. А потом десять лет счастья, короткого счастья! Вечные походы, разлуки вечные, дети один за другим. И вот страшный 1238 год, и развеяна удаль и слава, и муж, любимый, замучен татарами у Шеренского леса... А был он красив, светел лицом и очами грозен, ласков и храбр на охоте и в бою, и из тех бояр, кто его чашу пил и хлеб ел, никто уже не мог служить иному князю. И было ей тогда, молодой вдове, двадцать шесть лет! А через семь лет новое горе, горее прежнего. Отец, князь Михаил, задавлен татарами в Орде, на глазах у внука, Бориса.

Отец был и не добр, и не прост. Все уже кланялись, чего бы было и ему поклониться Батюю? Да, видимо, не просто-таки! Или опоздал, или мстил Батый за унижение под Козель-

ском, его, черниговским, Михайловым городом, где простоял без толку семь недель и положил силы несчетно. Или уж у старого отца заговорила гордость древняя, ихняя, черниговская, гордость Ольговичей: тряслась Византия, половцы ходили под рукой, а тут – вонючим степнякам кланяться! Вместо того чтобы враз поклониться Батью, поехал к западным государям. На Лионском соборе просил помочи на татар. А те тоже отреклись, решили отсидеться, и пришлось-таки ехать к Батью, который не простил ему ни гордости, ни Козельской осады, ни Лионского собора... Так погиб отец Марии и стал святым, страстотерпцем, мучеником...

Ужас тех дней (Борису в год убийства деда было пятнадцать лет) на всю жизнь заронил в душу этого красивого – кровь с молоком – молодца, нынешнего главы ростовского княжеского дома, страх перед Ордой и желание всегда и везде во что бы то ни стало ладить с татарами. Он и сюда, на снем, приехал не столько ревновать о власти, как втайне хотелось бы его матери, сколько поддержать самого благоразумного из соревнователей.

Родичи, проходя, приветствовали друг друга тихим наклонением головы, говорили вполголоса. Александра, встречая, тоже склоняла голову, скупое отвечала, крепилась. Лишь когда подошла Мария Ростовская, вечная прежняя соперница, вдруг сердцем поняв, как не права была к ней все эти годы, дрогнула, точно сломалось что-то внутри. Обнимая Марию, вдруг зашаталась, повисла у нее на плечах и зарыдала, грубым низким голосом, обливая слезами плечо Марии. И оттого, что та не отвела рук, не отшатнулась, а матерински обняла Александру и гладила ее легкою сухою ладонью, тихо приговаривая слова утешения: «Ну что ты, Шура, крепись, крепись уж! Его воля! Не у тебя одной...» – оттого Александра, распаляясь, рыдала еще громче. Князья отводили глаза, хмурились. Борис было двинулся к ним – мать решительно махнула рукой сыну: отойди, мол! Митрополит Кирилл уже спешил на голос вдовы: утешать надлежало ему.

И, оглаживая рыдающую в голос Александру, Мария прощала ее наконец сердцем за все: за гибель замученного Василька, за отца, убитого Батьем, прощала за себя: легко ли молодой вдоветь четверть века! Прощала за все, провидя, что и той теперь заботы падут нелегкие и жизнь беспокойная, с детьми, что скоро потянут врозь, так что и не помирить их будет самой без заступы митрополита Кирилла, который и сам-то уже ветх деньми.

«Вот он идет, однако!» Мария ласково отстранила Александру, поворачивая ее зареванным лицом к митрополиту Кириллу. И та, еще вздрагивая всем крупным, отяжелевшим телом от давленных рыданий, стихла наконец, склонясь перед духовным владыкою Руси.

Наконец по знаку митрополита Кирилла все уселись на опущенных широких лавках вдоль стен под иконами. Это был большой семейный совет, еще без бояр, которые тоже могли и перерешить и склонить своих князей к иному. (Были, впрочем, четверо ближайших бояр Александровых, но держались они в тени, стараясь никак не выставлять себя перед князьями и княгинями Всеволодова дома.) И, разумелось само собой, что как бы тут ни судили и ни рядили – все отлагалось до ордынского, уже окончательного решения.

Александра, оправившаяся, вымывшая лицо и за ушами холодной водой, поджав губы, недоверчиво вглядывалась в собравшихся. Прежнее отчаяние волнами ходило в груди, но теперь его гасил страх за будущее. Здесь, на семейном съезде, решалось: кто же заступит место покойного? Последнего князя, который сумел удержать в руках всю великую Киевскую Русь, хоть и под татарским ярмом, хоть и отступя из Полоцкой земли под натиском Литвы, и из Киевской – от татарского разоренья, но держал и был. И кто же будет теперь?

Глава 3

Ярославичи – трое братьев покойного Александра – отчужденно и ревниво ждали княжеского снema. Они не собирались отдавать власти никому. В их руках были Новгород, где

сидел сын Александра, Дмитрий, Тверь и Переяславль, Кострома, Суздаль, Городец с Нижним. В их руках, пока еще, находился и стольный город Владимир.

Андрей, когда-то тягавшийся с покойным за владимирский стол, встретил тело брата еще в пути. Из Костромы примчался младший Ярославич, Василий. Последним прискакал из Твери, верхом, с ближней дружиной, Ярослав Ярославич, второй брат покойного великого князя. Успел к выносу, хоть и не близка Тверь. Деревяннo шагая (конь, третий по счету, бешено поводя мокрыми боками, храпел и шатался у крыльца, пятная снег розовой пеной), подошел и молча, хозяйски, остановил поднятый было гроб, даже не глянув на безропотно отступившего в сторону углицкого князя. Дети Ярослава, серые от усталости, спотыкаясь, точно запаленные лошади, ввалились следом за ним. Андрей хмурo и молча кивнул брату. «И детей приволок!» – недружелюбно подумал он. Со смертью Александра прежние союзники волею судеб становились соперниками в споре о власти. Не от одного горя великого загонял коней тверской князь!

Слишком ясно виделось, впрочем, что ростовским князьям не по силам тягаться с Ярославичами. Мелкие князья из бедных Юрьева и Стародуба были совсем не в счет.

Старшим из Ярославичей оказался теперь Андрей, но он после изгнания и примирения с братом сильно потишел, да и обеднел, и место его среди родни заступил следующий по возрасту брат покойного, Ярослав Тверской. Между ними, после первых обрядовых слов, и возгорелся спор.

Ярослав сперва упорно, потом уже сердито упирал на то, что Андрей уже был на великом княжении и уступил место Александру:

– Чего решено, не нам перерешивать статью!

Андрей, сильно сдавший за последние годы, – наследственная болезнь Ярославичей терзала его, сердце порой не давало вздохнуть, – намерился было молчать, но тут не выдержал взорвался:

– У нас кто силен, тот и прав!

И спор возгорелся.

Митрополит Кирилл смотрел на сцепившихся братьев-князей, на все это собрание большей частью молодых нарочитых мужей, полных задора и сил, и еще ох как неопытных, на это потревоженное гибелью вожака гнездо и думал: «Трудно будет с ними! Суетна власть мирская!» Он был другом и правою рукою благороднейшего из князей, когда-либо живших на земле: Даниила Романыча Галицкого, который сейчас, как слышно, умирает в Галиче, не свершив и малой толики дел своих... Да и можно ли их свершить в краткой жизни сей?! Что земная власть без духовной опоры, что есть сила без веры? Понимают ли это они?! Вот над гробом Александра делят ее, мирскую власть, и каждый мнит себя бессмертным. И Андрей, хотя печать смерти уже на челе его, и Ярослав, – долго ли и он проживет и прокняжит? Старый митрополит ясно помнил свою мирскую жизнь, когда был главным хранителем печати при князе Данииле, но как бы про другого человека. Того, прежнего, всего в кипении дел мирских, он рассматривал теперь, как взрослый ребенка, и любил: за старание, за деловитость, за ясную силу письма, за верность Даниилу, но быть им уже не мог, как не может взрослый стать дитятей. Ибо теперь он постигал то, чего мирской ежедневной жизни человек не разумеет: бренность плоти и даже дел людских, хотя они часто переживают плоть, и вечность духа, что незримо живет в народе, в языке, во всем живом, духа животворящего, им же живы люди, пока они живы, имя коему – Бог.

Андрей сам понимал, пожалуй, что богатая Тверь, неодолимо подымавшаяся на западной окраине земли на путях торговых из Новгорода, Литвы и с низовьев Волги, давно обогнала прочие грады. Тверь, торговая и людная, а не порядок княжений – вот что давало силу Ярославу. Но и его Нижний богател и строился, не в пример строгому пустеющему Суздалью, стольному граду Андрея... Нет, дело было не в том! А в старой обиде, старом споре, разрешенном Александром из Орды, татарскими саблями. Сам не явился небось, приехал чист, миротворец!

(Все эти годы старался о том не вспоминать, а тут взяло.) И промолчал бы, кабы Ярослав, давний союзник, не плеснул масла в огонь:

– Помогла тебе свея да немцы твои? Немцы вон, как цесарь Фридрихус умер, все раскаторовали, брат на брата войной идет! У франков паки нестроение великое. Аглицкий круль Генрих с Людовиком рать держат. В Тосканской земле брань велия, гости торговые глаголют: ихний нарочитый град Флорентийский взяли на щит, дак до Орды ли им? Они только обещать горазды, а на борони их не узришь! Забыл, каково оно поворотилось под Переяславлем-то? Я ить на той рати семью потерял! Детей, жену. – Ярослав всхлипнул, почти непритворно, и возвысил голос: – Где о ту пору были немцы твои?! Сам же ты потом кланялся, и тесть твой крепости разметал на Волыни, как приказали татары!

Не помогла свея; и тестю, Даниле Галицкому, папа римский не помог; и Михаил с Лионского собора привез лишь собственную гибель. Все было так, как сказал Ярослав, и – все же! Поднялся Андрей:

– А вы что сблюли под ярмом татарским? Зрите! В Египетской земле половцы полоненные, коих татары как скот купцам иноземным продавали, взяли власть. И уже от татар персидских отбились! А в Мунгалии резня! А папа римский Даниле той поры помочь предлагал! Египетски половцы, да Данила Романыч, да папа римский, да мы – вкупе и одолели бы степь!

– Половцы в Египетской земле бесерменской веры, бают, да и далеко от нас, – вмешался молчавший доныне углицкий князь Роман.

– А с папой твоим всем бы пропасти заодно! – брякнул Ярослав. – Не знаешь, что мы сблюли под татарами?! Себя сохранили!

– Сохранили веру, сохранили душу народа, – примирительно подтвердил митрополит.

Андрей Ярославич затравленно поглядел в строгое лицо Кирилла, обвел глазами лица братьев и родных:

– Православную веру спасли? Спасли ли?! Какое там православие! Окрест – мордва некрещеная, лопь да чудь, а там... Литва откачнется к Риму. Гляди, и Волынь не выдержит татарских насилий и туда же под Рим уйдет. Да, да! Все лучше, чем под властью хана! В степи мерзнуть, за стадами... Не видели?! Вы там, в Мунгалии, поглядите на русский полон, что, как собаки, просят объедков у ворот Каракорума! На русские кости, что усеяли пустыню!

Андрей губил себя, губил своей речью возможность получить великое княжение и знал это, но ему уже было все равно.

Тут уже пристойно стало вмешаться митрополиту. Впрочем, его опередил епископ Игнатий, напомнивший, что два года назад стараниями Кирилла основана епархия в Сарае и свет православной веры не токмо подает утешение нужно покинувшим дома своя, но и осияет темные души язычников, из коих иные, подобно Сартаку, сыну Батыеву, уже прикоснулись благодати.

Сартак был другом покойного, и через него как раз, силами Неврюевой рати, Александр и согнал Андрея с владимирского стола. Ростовский епископ не должен был напоминать о нем, и митрополит Кирилл недовольно чуть сдвинул брови. Андрей, как и следовало ждать, вскипел:

– Сумеете ли обратить в христианство язычников, когда сами у них под ярмом? Католики за раздорами нашими давно уже теснят православную веру. Латины Царьград, святыню православную, захватили!

Кирилл легким мановением руки остановил готового возразить Игнатия и сам ответил Андрею:

– Святыни Царьграда паки освобождены от латин цесарем Михаилом Палеологом, и вера православная не угасла! Ведомо то и тебе самому.

Кирилл умолк и подумал, что говорит не то. Надо бы сказать, что страдания и смерть еще не самое страшное. Страшнее – сытое угнетение духа и разномыслие в народе и князьях. Не оттого ли недостало сил одолеть татар? Впрочем, по лицам князей видно было, что им сейчас

не до Царьграда, лишь дети с расширенными глазами внимали речам, которые не часто ныне приходилось им слушать, речам, где разом поминались своя и Царьград, Восток и Запад, татары и Рим, Галич и Литва, – размахом той, пышной Руси, еще не знавшей татарского ярма, отсветом великой киевской славы проблеснуло сейчас перед ними... Да еще кто-то из ростовских княжат, в наступившей тишине, громким шепотом, вызвавшим мгновенную улыбку взрослых, спросил:

– Баба! А разве Царьград латины забрали?

– Уже прогнали их! – ответила Мария, привлекая несмышленища к своим коленям. – Молчи! Старшие говорят.

Андрей, побежденный спокойным взором митрополита, который как бы смотрел в века и говорил от будущих, скрытых завесой времен, обратился к братьям-князьям, которые, он уже знал, выберут великим князем Ярослава:

– Что ж! Спокойнее из рук татарских получать ярлыки на власть, чем от веча народного?

– А уж о наших делах не мужикам решать! – возразил Ярослав, заносчиво задирая бороду, и собрание одобрительно зашумело.

– А по мне, мужики лучше татар. Пошумят, да не выдадут! А татары ваши жидам да бесерменам на откуп подавали грады русские!

Помолчали. Андрей зарвался. Говорить о прошлогодней резне и о поездке в Орду Александра, отворотившего расплату за эту резню, не стоило при нем, даже при мертвом. Только митрополит спокойно сказал, паки умиrotворяя:

– То прошло.

– Прошло ли?! – воскликнул, остывая, Андрей, и опять вопрос-вскрик повис без ответа. Все хотели, чтобы прошло. Не хуже Александра знали, что только тот князь, кто сам собирает доходы с мужиков, с кем бы он потом этими доходами ни делился. «Будем сами собирать ордынские выходы и сами отвозить в Орду!» – ответило молчание.

И это было ужасно. Что соглашались быть рабами, лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани и выходы, а там – что потребуют из Орды: серебро ли, меха ли, хлеб, лес, людей работных, силу ратную... Лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани-выходы. Померкла пышная слава Киевской Золотой Руси!

Счастье тем, кто лег под Коломной и Пронском, кто пришел умирать на Сить и погиб под Шеренским лесом, смертную чару прия, чашу позора не испив... Счастье тем, кто не пережил собственной гордости и прадедней славы не развеял, кто лег со славою в землю отчизны своей!

И утих Андрей. И, согласясь уже на вокняжение на столе владимирском Ярослава, что, впрочем, отлагалось до ханского решения, князья заговорили о своем кровном – земле и уделах.

Тут зашевелились доселе молчавшие, тут-то стало ясно, зачем навезли с собою детей и внучат.

Земля была общая, родовая, и переделывалась время от времени в своем роду точно так, как переделывалась земля в большой семье крестьянской. Только вместо пашни да пожен, сараев и житниц делили тут села и города, волости и доходы с волостей.

Земля лежала между Окою и Волгой, кое-где отступая от Оки – где были уже рязанские и муромские пределы, – на западе упираясь в Смоленское княжество, и, далеко перехлестнувши Волгу, уходила к северу, ко владениям Господина Великого Новгорода, до Галича Мерского, до Устюга, Белозерска – то все была та же Всеволодова земля. Земля была, как шубою, укрыта лесами, всхолмлена, извилисто перечерчена полноводными реками. В лесах водился зверь всякий: и дорогой соболь, и бобры, и лисы, медведи, волки, вепри и лоси; птица озерная и боровая. В лесах были грибы, ягоды, дикий бортный мед. В реках и озерах – рыба. Земля под лесом почти не знала засух, на пожарах хлеб подымался стеной. Земля была богатая. Бабы по

праздникам ходили в серебре. Богатством был хлеб, который шел отсюда и на юг и на север, в Новгород. Золотое зерно. Золотая Русь. За землю эту стоило драться, и владеть ею хотели все.

Земля была княжеской. Княжескими были права: судить, наделять землею или отымать земли, налагать и взымать дани. У всех князей и княгинь были, как и у бояр, свои, личные села, города, земли – опричь тех, что входили в княжение. Сел и земель этих могло быть немного (помнят в Смоленске князя-книголюба, до того истратившегося на покупку книг, что и похоронить его было не на что). Но кроме того – они были князья. И права их, княжеские, не принадлежали больше никому. И правами этими самый нищий князь был сильнее самого богатого боярина, который даже право суда в своих волостях получал не иначе, как от князя, по жалованной грамоте.

Когда появилось оно, это право? Не силой удерживаемое – какая уж сила, когда страну разорили иноверцы! А преданием заповеданное, в сознании народном сущее, что правит всегда князь.

Право это утверждалось древними киевскими князьями, которые мало пили вино да сидели в теремах, чаще мотались в седлах, в бронях, насквозь пропахшие конским потом, и ели конину, едва обжаренную над огнем костра, либо просто сырую, размягченную под седлом, на спине конской. Мотались так, рубились, строили города, покоряли земли и языки, разбили хазар, одолели печенегов, справились с варягами и создали это право, право княжеское – судить и володеть. И стали великими, святыми, древлекиевскими. Отсюда и волость – власть, земля и право в одном слове. И имя было княжеское любимое Володимир, владеющий миром, то есть народом и землей.

Но и еще древнее было оно, право власти. От рода, родовых старейшин, кому в веках сородичи поклонялись, как духам дома, и кого при жизни слушались беспрекословно. Старейшины решали, кому где охотиться и кому где пахать. Извешали, в войнах полегли вожди племен, и права их на землю и власть на земле переняли князья – Рюриковичи.

И потому они и жили как все, и были как все, а были – князья. Володетели. Ихними были право и суд. Даже дети, собранные тут матерями и бабками, глядели как взрослые, супились. Им будет когда-то также спорить об уделах, как спорят сейчас братья и отцы.

Чуть только Ярослав Тверской заговорил как великий князь и начал делить уделы – загомонили все разом. Никто ничего не хотел отдавать, а потомки требовали дележа земель, и шум стоял неподобный. «Мое!», «Обчее!» – раздавалось и тут и там.

– Вдове Александра – Переяславль, на прожиток до конца дней, и чадам ее с нею! – возгласил Ярослав, надеясь хоть так порешить спор. Но вышло еще хуже.

– Чада не мои, чада обчие! – вскричала, забывшись, Александра.

Василий Костромской не выдержал, прыснул в кулак, и тотчас гулко захохотал Михаил Стародубский, расхмылился сам Ярослав, улыбка тронула строгое лицо митрополита Кирилла. Вдовы лукаво потупились. Ярослав огляделся и увидел вдруг неотступные очи бояр Александровых, их каменные скулы, литые бороды, руки, готовые сжаться в кулаки. Вспомнил, что покойный брат сам назначал уделы детям, и уступил.

– Ищо Москву даю! – сказал Ярослав, помедлив. Александра тяжело дышала, красная лицом. Молча прижимала Данилку к коленям.

– На Москвы спасибо, князь! – сказала сердитым голосом и неприступно поджала губы. (Как не обчие?! Без Александра что бы вы делали все тут! И покойный, царство небесное, а грозу отвел!) Она вспомнила, что князя больше нет, и всхлипнула в голос, стиснув ойкнувшего Данилку.

– Ну ты, Шура, не журись, чад Александровых не обидим! – примирительно прогудел Василий Ярославич. Ярослав молчал, супясь. Митрополит коротко глянул на него, скользом – на вдову и, словно повторяя для вящего вразумления собравшихся князей, начал перечислять:

– К великому княжению отходят, опроче Владимира с пригородами, прежереченные грады по Клязьме, и по Волзе, и по Нерли волости, а также псковская и новгородская дани, и черный бор, и иное многое...

Перечень утишил Ярослава. Кус получался изрядный и без Москвы.

Впрочем, о новгородских доходах говорить было еще рано. «И слава Богу!» – подумал митрополит, возгласив:

– Прошу к столу, помянуть покойного!

В Новгороде сидел Дмитрий Александрович, но было ясно, что, став великим князем, Ярослав не оставит его в покое.

Глава 4

С того памятного дня прошло пять лет. Как только Ярослав получил ярлык, Дмитрию в самом деле пришлось оставить новгородский стол, причем выслали его сами же новгородцы, не желая ссор с великим князем владимирским. Через год после похорон Александра умер Андрей Ярославич. Ярослав сразу же отрезал от суздальского княжения Городец с Нижним и дал Городецкий удел племяннику Андрею. Дмитрий сидел теперь на Переяславле уже как владетельный князь и ждал своего часа. И хотя был жив брат Василий и еще дядя Василий Ярославич сидел на Костроме, Дмитрий не без основания ждал, что после дяди Ярослава выбор падет на него. Маленький Данилка пока жил в Переяславле и один оставался неустроенным. Речи о Москве не подымали до времени, хотя и не раз вспоминали смешной возглас Александры: «Чада не мои, чада обчие» – и звали мальчика полушутя «князем московским».

Меж тем в Орде умер царь Беркай, «и была ослаба Руси от насилия татарского». Ханом сел Менгу-Тимур, который увяз в войне с иранскими Хулагуидами и был доволен спокойствием на Руси. Страна могла жить и строиться, хоть и хирели низовские города, хоть и уплывало серебро в Орду, хоть и подрывала персидскую торговлю далекая южная война.

А годы шли, и жизнь текла своею чередой. Ярославу ударил бес в ребро. При взрослых детях женился в Новгороде на молодой боярышне с Прусской улицы, дочери боярина Юрия Михайловича, Ксении Юрьевне. Александра сильно сдала со смерти мужа, располнела, состарилась, стала похожа на купчиху. Дети переставали слушать мать, отмахивались от нее. Александра терялась, плакала и все суежилась, все ездила: во Владимир, Городец, Ростов, Ярославль...

Дмитрию Александровичу, когда его изгнали из Новгорода, шел восемнадцатый год. Воротясь в Переяславль и сев на княжение, он женился, и Данилке, еще плохо понимавшему, что это за тетя у брата Мити, которая иногда играет с ним и дарит игрушки, скоро показали маленькую девочку с забавным красным личиком, объяснив, что это его племянница, Машенька. Впрочем, играть с племянницей, как ему ни хотелось, Данилке не позволяли.

Вскоре после того, как дядя Ярослав женился в Новгороде, у брата Дмитрия появился еще один человечек, теперь мальчик, Ваня, и Данилка, начавший уже многое понимать, долго разглядывал запеленатого племянника, а потом хвастал ребятам, что Митина женка выродила сына и всю челядь в доме угощали два дня и что, когда Митин сынок подрастет, они будут вместе играть.

А еще через год – Данилка уже стал ездить на ученье – исполнилась заветная мечта Дмитрия: его снова позвали новгородцы на войну с немцами и поставили во главе большой рати. Переяславская дружина ушла на север, едва только сжали хлеб.

Глава 5

С жарких лугов и цветущих гречишных полей пахло медом. Стрекозы, с легким жужжанием, неподвижно висели в воздухе. Данилка стоял в высокой траве, сжимая в потной ладошке щекотно скребущегося кузнечика. Кузнец уже высунул голову с удивленно округлыми глазами и, сердито разводя челюсти, старался вырваться на волю. Данилка был в затруднении. Конечно, можно было отломать кузнецу задние лапки, но тогда он перестанет прыгать, а интересно было, чтоб кузнечик был и целый, и свой. Поэтому он, высунув от усердия язык, уже который раз запикивал вылезающего кузнечика обратно, стараясь вместе с тем, чтобы он не цапнул за палец, а в непрерывнодвигающиеся, с капелькой желтого яда, челюсти совал длинную травинку, и кузнец, глупо тараща глаза, тотчас перекусывал ее пополам.

Иногда ветер задувал с озера, и тогда враз обдавало влажной свежестью, вздрагивали повисшие в воздухе стрекозы, рядами наклонялись метелки высоких, уже выколосившихся трав, шуршал прошлогодний бурьян на склонах, и начинали трепетать на вешалах вынутые из ларей, ради летнего погожего дня, дорогие праздничные одежды. Солнечные зайцы отскакивали от золотого шитья наручей, парчи и аксамита, искрился жемчуг, густел или светлел в пробегающих складках фландрский бархат, что привозили к ним по вёснам богатые новгородские купцы, колыхалась над кланяющимися былинками легкая переливчатая персидская камка.

Оттуда, от вешал, доносится сдержанный говор – пришлые бабы умиляются на княжескую красоту – и, временами, громкое: «Кыш, кыш, кыш, проклятая!» – это дворовая девка отгоняет хворостиной настырную сороку, что с самого утра, вновь и вновь выныривая откуда-то сбоку, подбирается к вешалам, норовя клюнуть полюбившееся ей жемчужное ожерелье материнной выходной собольей душегреи.

Данилку, впрочем, все это не интересовало. Уж куда занятнее смотреть, когда дядя, братья и тетки, надевши все эти наряды торжественные, непривычно строгие, готовятся к празднику, приему гостей или выходу в церковь.

Мамка давно уже высматривала княжича и не пораз звала его с высокого крыльца, но мальчик, всецело занятый кузнецом, только досадливо поводил шеей, когда до него доносилось очередное ласковое: «Данилушка!» – и не трогался с места. Не видел он и крестьянина, карабкавшегося к нему по склону Клещина-городка с шапкой в руках. Мужик, большой, черный, неожиданно упал в траву перед ним, и Данилка, выронив кузнечика и уже не разбирая, что выкрикивал ему вслед страшный мужик, опрометью кинулся к терему, взлетел на крыльцо и с маху вцепился в спасительный мамкин подол.

– Блажной, блажной! Бесстужий! Робенка до смерти испугал! Ужо князю-то докажу! Да не ветром ли ты носишь, как и подобрался-то?

Данилка, уже оправившись от первого страха, опасливо выглядывал из-за мамки, теперь уже с любопытством разглядывая мужика, который и вовсе не был страшный, и даже не черный, а светлый и очень растерянный. Мамка ругала его на чем свет стоит, а он только виновато кивал головой.

– Смилуйся, суда просить пришел! Опять княжевски косари наши пожни отымают!

– К суду, дак к боярину иди! Блажной и ешь! – ярилась мамка. – Нешто ты дите оправит?!

– Чево он? – насмелился спросить Данилка, когда мужик, совсем повесив голову и не переставая виниться, попятился от крыльца.

– Пожни, вишь, у них княжевские мужики отняли! Деревни рядом, покумились, почитай, все, переженились, на беседы друг к другу ходят, а пожен век поделить не могут! Ходит и ходит... С Кухмеря он. Уж меря, дак меря и ешь, совсем безо смыслу! К робенку ему натъ...

Мамка повела княжича кормить, пора была ехать учиться.

Встречу, из горничного покоя, спускался дородный боярин, дядя Тимофей, ключник брата Дмитрия.

– А ко мне мужик приходил сена просить! – похвастался Данилка, глядя снизу вверх на широкое, в холеной бороде, лицо Тимофея. Боярин, как и должно, улыбнулся. (Данилка привык, что все радовались, глядя на него.)

– Что ж, дал ты ему сена?

– Не-е-е...

Данилка потупился, застеснялся, вспомнив свой испуг, хотел было сказать «я убежал», но застыдился и сказал иное:

– Меня мамка позвала!

– Кухмерской, – вмешалась мамка, – с княжевскими все пожен не поделят. Да вон и по сю пору стоит под крыльцом! Как и на гору залез, прости Господи!

Боярин нахмурился и, проворчав: «В покое не оставят!» – двинулся на крыльцо.

Данилка, капризно увернувшись от мамкиных рук, побежал за ним, и мамка, семена, заспешила следом за княжичем.

– Ну, ты, подь-ко! – позвал боярин.

– Смилуйся! – слезливо начал мужик, но боярин гневно прервал его:

– Сказано вам не раз! От Кухмерской реки по старым рощистям да по берегу до боро-вого лесу – то и ваше; от граней, которые я велел награнить самим, полюбовно, с княжевец-кими и с купаньскими... Ну? Помню! На вражке, на березе грань, а с той березы на вяз, и вяз на вражке, где раменной лес, а оттоль на Козий брод, и у Козьего брода дуб, и на дубе грань, и дале, до озера, до черного лесу, к Усолю, и у озера на липках грань же!

– Дак тамо как косить – пропастина вязка...

– Пропастина! Сами и того не выкашиваєте, знаю я вас! А княжевски отколь сено на себе волочат? С тоя ж пропастины да с черного лесу бабы саками носят на горбу!

– Дак у княжевских кони добры...

– А не у каждого и конь! Ратные мужики навозят хоть с Семина, хоть с Усольской реки, а вдовы-ти как?

– Исстари те пожни наши были...

– Исстари! Ты еще князя Юрия вспомни! Допрежь тута одне вы да медведи и жили... Исстари! Сами делали, сами грани гранили, а теперича: «Помоги, княже, чужо добро воротить! Как меряно, так и будет! Я вам не потатчик! Все!»

Отчитав мужика, он поворотился, вновь разгладив гневные складки на лбу, потрепал Данилку по волосам:

– Грамоту постигашь ли?

– Постига-а-ю! – протянул, зарумянившись, Данилка.

– Постигай, постигай. Княжеская наука! Да гляди! Вырастешь – самому придет суд править, а приволокется такой вот: других ограбь, а ему отдай...

Данилка, начавший уже было жалеть мужика, смутился. У взрослых все было как-то не просто!

Взрослые вообще часто говорили одно, а делали другое, и, наверно, так и нужно было для чего-то, но когда и как – Данилка еще не всегда умел постичь и частенько попадал впросак.

Однажды старший брат Дмитрий с дядей Ярославом, великим князем, заспорили, кто лучше косит. Принесли две горбуши, дядя и брат скинули зипуны и, засучив рукава рубах, склонясь, пошли по лугу, взмахивая вправо и влево свистящими кривыми ножами горбуш и в лад покачивая плечами. Брат обкосил-таки дядю и весело смеялся, когда они оба, мокрые, тяжело дыша, скинув рубахи, плескались, поливаясь ковшом из бадьи, и растирали широкие груди и мускулистые руки поскосью, а слуги уже стояли со свежими сорочками в руках, ожидая, когда господа облокутся.

– Я тоже научусь так косить! – восхищенно заглядывая Дмитрию в глаза, прокричал тогда Данилка. Но брат лишь насмешливо взъерошил ему волосы, от затылка вверх, и бросил небрежно:

– Чего захотел – косить! Мужичьей работы! Князем расти!

И слуги заулыбались снисходительно, так что вогнали Данилку в жаркий румянец стыда.

Теперь он уже различал, что была мужичья работа, а что нет. Пахать, например, это была мужичья работа, хотя и дядья и братья все умели пахать, как и косить, хорошо. Но об этом не говорилось и этим не хвастались. Зато запрячь коня, а паче того оседлать и красиво проехать верхом – этим гордились один перед другим уже не таясь. Это была наука княжеская. Князю даже и зазорно было ходить пешком, разве в церковь на своем дворе, в Переяславле.

Ученье, впрочем, тоже было делом княжеским, о чем ему кстати напомнил Тимофей. Поэтому Данилка, уже не отвлекаясь, резво побежал на женскую половину, где он жил, по младости лет, в особой горнице вместе с мамкой, которую видел много чаще, чем родную мать, то и дело уезжавшую на чьи-то свадьбы, поминки, крестины, похороны, то мирить родичей, то на богомолье. Уписывая за обе щеки пшенную, сваренную на молоке кашу, он силился вспомнить сегодняшний урок, но от урока мысли перепрыгнули к брату Дмитрию, что поехал воевать в Новгород, а от Дмитрия к другим братьям, и он спросил, как всегда, вдруг:

– Мамка, а Василий тоже уехал на войну?

– Какой Василий?

– Старший брат.

Мамка пробормотала что-то, возясь у поставца с посудой. О Василии здесь не говорили.

– Мамка, Василий тоже уехал на войну?! – капризно переспросил Данилка.

– Василий на войну не ездит, – нехотя отозвалась старуха.

– Почему?

– Батюшка твой так заповедал... Ешь-ко! Опоздашь!

Здесь была тайна, которую Данилка силился разгадать и не мог. Он поздно узнал, что у него есть еще один старший брат, которого зовут так же, как и костромского дядю, Василием. Но на него рассердился покойный батя и сослал его на Низ, в город на Волге. Бати уже не было на свете, но брат жил и все как бы находился в опале, и вроде было непонятно, кто же на него сердится сейчас?

Однажды Данилка, забежав в терем, увидел там высокого дядю в богатом зипуне, странно похожего на брата Дмитрия. Казалось, это Дмитрий, которого слегка подсушили всего и составрили. Дядя взгляделся в мальчика и вдруг, наклонившись, спросил странно дрогнувшим голосом:

– Данилка? Не узнаешь? Я твой старший брат!

Данилка смутился и растерялся. Его ждали сверстники идти в лес, искать птичьи гнезда, и было некогда. К тому же он не знал, как приехал к ним этот чужой и не чужой человек, звали его кто-нибудь? И потому он ответил первое, что пришло в голову:

– Не-е-е, старший брат – Митя!

И в наступившем неуютном молчании прибавил:

– Меня робятки ждут!

– Ну иди, иди... – как-то сникнув, уступил приезжий, и Данилка выбежал, испытывая разом и стыд, и облегчение. А вечером, воротясь из лесу, он услышал в столовой палате многие голоса, прокрался и, осторожно приотворив дверь, зашел. Гость сидел за столом с братом Дмитрием и боярами и о чем-то серьезно разговаривал. По лицам Дмитрия и прочих Данилка сразу понял, что гость его не обманул, но на него, Данилку, Василий уже не поглядел, быть может, намеренно не заметил мальчика, в обиду за давешнее. И Данилка, которому теперь очень хотелось поговорить с незнакомым братом, помявшись у дверей, тихо вышел, испытывая раскаяние за свою утретнюю грубость.

Мысли о Василии приходили к нему изредка и, как теперь, ни к селу ни к городу. Впрочем, Данилка привык, что взрослые, даже мать, отмалчивались при вопросах о старшем брате.

– Мамка, квасу налей малинового! – потребовал княжич, управившись с кашей. – Пирогов побольше наклади! – приказал он, видя, что мамка собирает ему в холщовую сумку завтрак.

– Всех не укормишь! – пробурчала мамка в ответ, однако пирогов добавила.

«Надо Федьке дать для сестренки, – думал между тем Данилка, опоясываясь. – Кажись, именины у ней». Для именин пирогов было мало. Он поискал глазами, что бы еще – «Куклу нать бы!». Вспомнил, что у него валялась в коробьи кукла, привезенная ему когда-то матерью из Владимира.

– Мамка, куклу ищи! – потребовал он.

– Окстись, пошто?

– Так. Приятеля сестренке. Живо! – Он топнул от нетерпения.

– Дороги подарки делаешь! – пожалела мамка, когда кукла в крохотном парчовом саяне перекочевала из коробьи в холщовую сумку княжича.

– Тебя не спросил.

Данилка запихал куклу в суму вместе с Псалтирью и побежал к выходу. На бегу подумал, что обидел мамку ни по что, и прокричал уже с крыльца:

– Они мне-ко подарки дарят, а я что – хуже? Я – князь!

Старый ратник с конем уже ждал его у крыльца, чтобы на седле отвезти в училище.

По нынешним неуверенным временам во Владимир отправлять мальчика не стали и учили дома, в Переяславле, при Никитском монастыре, где Данилка учился чтению, церковному пению, счету и письму и куда его каждый день возил из Клещина-городка пожилой ратник, ожидавший потом княжича в монастырской гостинице. Тут был старый спор, в котором Данилка пока еще не добился успеха. Он уже умел ездить на лошади самостоятельно, но в училище, как ни просился, верхом его не пускали и по-прежнему, как маленького, возили на седле. Некоторым утешением было то, что конь был хорош: настоящий боевой конь, темно-гнедой, рослый, с длинною гривой и хвостом, крутошей, широкогрудый, – конь прямо из сказки. Садясь, Данилка втянул ноздрями густой конский дух и погладил коня по морде. Конь, мотнув головой, ответил на ласку.

– Поехали!

От крыльца взяли рысью. Запаздывать в монастырь не полагалось. Спустились под угор, обогнав медленный крестьянский воз, мимо яблоневых поспевающих садов, мимо зарослей дубняка и орешника, на нижнюю, приозерную дорогу. Миновали длинные, уходящие в озеро причалы, где дремало несколько рыбацких лодок. (По весне в этом месте, на мелководе, строгой быют щук, что ходят в тине у берега с молосниками, а ночами даже ползают по траве, на самом берегу.) Обогнали еще несколько возов, наверно, из Кухмеря или даже из Купани (лошади были незнакомы, и, подымаясь на взем, опять густо заросший дубняком и кустами, у самого монастыря нагнали княжевых ребят, что тоже торопились в монастырь, в училище. Те весело окликнули Данилку, он так же весело отозвался.

– Приятели? – спросил ратник, когда мальчики остались позади.

– Угум. С Княжева села один, а другой с Криушкина. У того вон, что с Княжева, у Степки, батя вместе с Митей уехал в Новгород, на войну.

– Это какой же? А! Прохора сынок! Знаю, мы с им, с Прохором, вместях от татар спасались.

– Побили вас татары?

– Татары, они всех быют! От его и не ускачешь, на ровном-то ежели... К примеру, в степи... Да.

– А зарубить? Топором: ррраз!

– Зарубить – с им съехаться нать, а ён как бес, и тут и там. Кони резвы у их, страсть! И из луков садят на скаку без промаха... Тут и заруби! Самого прежде на аркане поволокут...

О чем еще спросить, Данилка не знал. Очень не вязался рассказ с теми татарами, которых он знал в Переяславле. Те ходили вперевалку, в богатом платье, а ездили хоть и хорошо, но всегда неспешно: гордились убранством коней. Главный татарин жил в Переяславле, в тереме, на княжем дворе. Для него и для его хана, который был далеко, в Золотой Орде, в городе Сарае, собирали дань, ордынский выход. С Данилкой татары были добрые, зазывали к себе, выпрашивали, учили словам татарским, угощали вареной кониной. Но мамка каждый раз уводила его и долго вычитывала, запрещая ходить к «баскакам» и «нехристям», как называла она татар. И прочие взрослые тоже старались прятать Данилку от «нехристей» (почему и держали обычно на Клещине-городке, подальше от переяславского баскака), а после посещений ордынского двора тревожно выпрашивали: о чем это с ним говорили у татар? Татар не любили все взрослые, но при встречах были очень ласковы с ними, а мужики низко кланялись главному татарину, и это было совсем непонятно – он же не князь?!

– А они нехристи? – спросил погода Данилка.

– А всякие есть! Есть и такие, что крестятся по-нашему, только не поймешь у их, словно бы не русская вера...

Подъезжали к монастырю. Данилка привычно нагнул. В низких воротах въездной башни, казалось, головой можно было задеть бревенчатый свод. Сразу после ворот, под деревьями у поварни, он спрыгнул с седла и, разминая ноги, побежал к табунку разномастно одетых ребятишек, что ожидали учителя, отца Софрония, стоя на папёрках монастырской островерхой церкви, из открытых дверей которой доносилось стройное монашеское пение. «Да исполнятся уста наша хваления твоего, Господи, яко да поем славу твою... аллилуйя, аллилуйя». Был уже конец службы.

Мальчишки горячо спорили о чем-то, а тут, завидя княжича, утихли, только продолжали поталкивать один другого, кулаками разрешая словесный спор. Данилка, торопясь обрадовать друга, подбежал к Феде и передал тому куклу и пшеничные пироги. Ребята тотчас остолпили их, разглядывая куклу, а Федя застенчиво и грубовато постарался поскорее отобрать у товарищей и спрятать дорогой подарок. Дружба с княжичем была трудна для него, вызывая то зависть, то насмешки сверстников, прозывавших его за глаза «московским боярином».

– Выбирают! Выбирают! – раздался снова громкий шепот в толпе.

– Сопли подотри!

– Выбирают!

– Княжича, вон, спроси!

До появления Данилки у ребят шел спор о новгородском правлении: выбирают ли там князя сами горожане или нет?

О Новгороде вообще говорили много. Иные из ребят были дети новгородских выходцев, пришедших сюда с князем Александром. Были в округе деревни новгородцев, переселившихся под Переяславль с незапамятных времен, как, например, Мелетино, но твердо помнивших свое новгородское прошлое и сохранивших родной говор. По веснам приплывали в Переяславль богатые новгородские купцы, тревожа воображение рассказами о дальних полуночных землях и заморских городах. А нынче, когда переяславская дружина ушла с князем Дмитрием под Новгород, воевать с немцами, разговорам и спорам не было конца.

Теперь ребята приступили к княжичу, требуя разрешить спор: природный ли князь в Новгороде или его выбирают сами горожане, как хотят?

Данилка сам знал о Новгороде немного. Туда ездили и брат и дядя, говорили про Новгород то со злобой, то с обожанием, но на его настойчивые вопросы – правда ли, что там каменные терема и храмов больше, чем во Владимире, что епископа и князя горожане выбирают жеребьями? – бросали только:

– Брешут!

Либо:

– Вырастешь, узнаешь!

Брат Дмитрий о выборах князя по жеребью сердито отверг:

– Великий князь надо всей землей и над Новгородом тоже! Отец им воли не давал!

Однако самого Дмитрия новгородцы отослали. Впрочем, пригласили дядю Ярослава, великого князя.

Данилка пересказал ребятам слова Дмитрия (сомневаться в княжеских правах перед ними он не хотел), и разом посыпалось:

– На вот! Выкуси!

– А мне батька баял!

– Князь Митрий Саных лучше твоего батьки знат!

– А нонеча его пригласили, да? Пригласили, да?! – не сдавался спорщик, которому уже пару раз нахлобучивали шапку на глаза и награждали тумаками и щипками.

– Они, верно, позвали, дак того и зовут, кто великий князь! – постарался смягчить спор Данилка, хотя не очень понимал сам, как это происходит: брат Митя не был великим князем, однако его позвали старшим над ратью, а дядя Ярослав, говорили, гневался, но тоже послал полки от себя, из Твери.

Пели уже «Многая лета». Ребята подобрались, стали посторонь, чтобы не мешать выходу из церкви. Резче стало видно, кто – чей. Многие были дети священников и дьяконов. Это были свои в монастыре и стояли вольнее. Боярчата, одергивая платье, выступили вперед. Кто попроще – дети купцов или простых ратников, вроде Федьки из Княжева, бедно одетые, в лаптях или кожаных опорках, – те отступили, невольно пряча драные рукава долгих, не больно чистых рубаш.

Разная судьба ожидала их после училища. Одни, кое-как научась разбирать буквы, уйдут, если не окажут великого прилежания, на счастье родителям. По таланту через книжное научение и из бедности можно выйти в люди. Другие потом заступят место родителей, станут дьяконами и священниками. Боярчатам и княжичу придется еще учить «Мерило праведное», «Правду Русскую» и «Номоканон» – книги законов; читать летописи, постигая историю родной земли, а также еллинскую хронику Иоанна Малалы, еврейско-римскую Иосифа Флавия и всеобщую Георгия Амартола, по которым, как и по Библии, познавали историю мира. Этим, окончив ученье, предстояло началовать землею, править суд, собирать подати, водить рати.

Пока же они были все одинаковы перед учителем и, когда не в меру баловались, перед тростью наставника.

Данилка в окружении сверстников не величался, был как и все. О княжеском достоинстве ему чаще, как сегодня, напоминали другие, чем он сам вспоминал. Бегал вместе со всеми на деревню и в лес; весною с мальчишками таскал солому из загат, когда на Ярилиной горе жгли Масленицу и взпуски прыгали через огонь.

Учился он неровно. Петь по Псалтири начал сразу: наслушался в церкви и голос имел верный. Буквы же поначалу складывал с трудом. И рассказы священника запоминал по-разному. Что мог себе представить, то легко. Например, про Иону, которого проглотил кит, такая большая рыба. В Клещине-озере, сказывали рыбаки, есть щуки, что тоже могут проглотить человека. Им уже лет по триста, живут в глубине, все белым мохом обросли. Только у щук зубы, а у кита, наверно, зубов нет, иначе бы он разжевал Иону. А чего иного Данилка долго не понимал: про Авраама и Исаака или про то, как фараон разгневался на евреев и Бог за то насылал на него казни, а затем потопил все войско фараоново. Тут была опять какая-то неясность, как и все у взрослых. Почему, если Бог был за них, евреи не победили фараона и не захватили сами страну Египет? Вот на русских разгневался Бог и наслал татар, и уж сидят тут, не уходят! И почему фараон так упорно хотел их удержать, зачем ему нужны были евреи, если

сам же он не хотел их иметь в Египте? Ушли бы – и хорошо! Ну что они золото унесли, дак из-за золота все войско губить и весь свой народ тоже не стоило!

Учился он, впрочем, прилежно, почти не баловался, разве уж когда тело затечет от долгого неподвижного сидения. Нравилась тишина в монастыре, суровая простота и благолепие. Тут и он и другие дети уже были не княжич, не боярский, посадский ли отрок, а все как бы равны и никто ни над кем не величался.

Монастырь был сплошь деревянный, и уже не раз сгорал дотла. Говорили, что в пору Неврюева разоренья погибло много книг, но книг было много и теперь. Их хранили в келье настоятеля и на хорах церкви. И там можно было, пробравшись узкой лестницей, поглядеть на темные кожаные корешки, потрогать медные или серебряные пластины и накладки дорогих напрестольных евангелий, вдохнуть душноватый запах кожаных книг, ни на что больше не похожий, запах, напоминающий чем-то суровые лики святых праведников на иконах в церкви.

Отец Софроний вышел из церкви последним, строго оглядел ребят и повел их гуськом через монастырский сад. (Кельи стояли кружком вдоль ограды монастыря и были полускрыты деревьями.) Училище помещалось в келье наставника, разгороженной пополам. В одной половине жил он сам, а в другой учил детей.

Они сидели все вместе, на низеньких скамьях, положив раскрытые книжки (у кого были) на левое колено, и слушали.

– Кто первые перед Господом? – строго спрашивал священник и сам же отвечал: – Последние здесь тамо будут первые. Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Что есть нищета духовная? Смирение перед Господом! Паки и паки надлежит знать, что все, нам дарованное, от Бога и ничего доброго не возможем мы свершить без него! И плоды земные от Божьего изволения произрастают, человек же лишь надежду имеет на Божий промысел, кидая зерна в землю. И всякое дело торговое: возможет ли купец наперед уведать судьбу свою? И сама жизнь наша, живота скончание, в руке Божьей. Кто знает о дне и часе своем? Пото и надлежит каждодневно быть готову к отшествию в мир иной, не возноситься разумом и гордынею, любить ближнего и Господа своего! Могут ли богатые быть нищими духом? – еще строже говорил он, глядя уже теперь на одного Данилку, и отвечал: – Могут, ежели помыслят, что видимое богатство есть тленное и скоропреходящее и отнюдь не заменяет скудости благ духовных!

После наставительного слова отец Софроний обыкновенно давал детям передохнуть, а потом начиналось пение. Пению иногда учил дьякон Евтихий, большой, с большим, густым голосом. Евтихий указывал палочкой (пели строго в лад), когда следовало кому вступать, а при нужде и пребольно шелкал неслуха той же палочкой: не зевай!

Воротаясь из монастыря, Данилка снова попадал в сложный мир взрослых. Старшие братья, Дмитрий и Андрей, приезжали то веселые, то хмурые, злые; походя ласкали его или супились, и каждый раз было непонятно отчего. Ссорились из-за уделов, бранили ростовских и смоленских князей, деятельно собирали казну, а потом ездили на поклон к татарскому царю, в Орду, и увозили скопленное серебро. Были ли они нищими духом? Мать, приезжая домой, баловала, задаривала сладостями и игрушками. Данилка долго после раздаривал сверстникам расписных коней, глиняные свистульки, изюм и печатные пряники. Бояре, походя, звали его «московским князем» и, говоря так, шурили глаза и добродушно-насмешливо поглядывали на мальчика. Он еще не догадывался о жарких спорах, разгоревшихся вокруг уделов после смерти Александра, ни о том, что дадут ли ему вправду Москву – еще далеко не решено. Чужалось, впрочем, и тут что-то непростое, что пока еще мало занимало мальчика. В Москве он не был ни разу. Ездили туда старшие. Говорили скупно: «Охота там хорошая!» Где-то под Москвою ломали камень еще при князе Юрии Долгоруком. (Князь Юрий строил Переяславль и белокаменный собор на площади. Князь Юрий был еще до татар, давно, и о нем, как и обо всем, что

было до татар, вспоминали с уважением.) Теперь уже не ломали камень и соборов не строили, не до того было.

Доходы с Москвы пока шли в казну великого князя. Но на прямые вопросы мальчика ему неизменно отвечали, что Москву заповедал ему сам батюшка, покойный князь Александр, а как он решил, так и будет. Со смерти Александра прошло всего пять лет, но уже стали преданием скорбные слова митрополита Кирилла: «Чада моя милая, разумеите, яко заиде солнце Русской земли». Об Александре вспоминали как о хозяине, при котором все шло как надо и каждый был на своем месте, указанном его властной рукой. Когда ссорились старшие братья, Дмитрий с Андреем, тоже всегда поминали батю. Андрей кричал: «Паче отца хочешь быть!» И это был укор, всем понятный. Паче отца не мог быть никто, даже дядя Ярослав, великий князь.

Данилка отца совсем не помнил. Силился представить, и не мог. Но твердо знал, что отец его был «солнце земли Русской», и этим очень гордился.

Глава 6

Княжево, или, по-старому, Выселки, родная деревня Феде, Данилкина приятеля, стояла от Клещина-городка всего верстах в трех, прячась за перелесками от сторонних недобрых глаз. Княжевым селом или просто Княжевым стали звать Выселки с тех пор, как Александр начал тут селить ратников, приведенных им из Новгородской земли.

Батыевы татары Княжево прошли стороной. Их главные рати торопились от стольного Владимира к Волге. Сожженный Переяславль был тотчас брошен ими после торопливого грабежа. Жители отсиделись в лесах. Дела той, тридцатилетней давности, старины уже мало кем помнились, только старуха Микулиха любила рассказывать (она была родом с Клещина), как у них при Батые сгорел дом и всего достояния осталось у матки горшок золы, набранный на родимом пепелище.

К тому же казалось сперва, что беда минует лихолетьем, как мор, как засуха. После уж, когда великому князю пришлось ехать в Орду на поклон, а за ним потянулись и прочие князья получать свои уделы из рук татарских, горькая правда стала явью. Начинался долгий (и еще не верили, что долгий!) плен Золотой Руси.

Неврюева рать оказалась для княжевских мужиков куда страшнее. Разгромив Андрея, татары рассыпались по деревням, зорили и жгли все подряд: избы, стога, скирды соломы и хлеба. Заезжали в чашобы и слушали – не замычит ли где корова, не твякнет ли глупый пес, не заплачет ли ребенок или заржет, почуяв конский дух, крестьянская коняга? Тогда кидались на голос, выволакивали плачущих баб с ребятишками. Скот резали. Людей угоняли в полон. Деревни после татар совсем обезлюдели, и Александр, воротясь из Орды, заселял их вновь.

В Княжеве после Неврюевой рати оставался, чудом не сгоревший, один дом. Там и собрались, с детьми и скотом, все уцелевшие жители. Спали на полу, вплоть друг к другу. Ночью, в потемках – не ступить. Ели толченую кору, мох, весной обдирали березовый луб, толкли щавель, копали коренья. Иные объедали, выкапывая из-под снега, мясо павших лошадей и коров – то, чего не доели волки. С тухлятины пропадали животами, валялись в жару. Кто и умер, не дотянув до весны.

Рассказам этим – за ржаными куличами с творогом, за щами и студнем – как-то даже не верилось. Вспоминали и сами удивлялись:

– Слушай, Варюха, няуж было все?! Ноне и не веритце, как переживали! Теперь-то чего не жить! Хлеб есь, все есь...

– Мам! – спрашивал Федя из темноты. – А мы были с тобою?

– Вас ишо и не было! Куды бы я с вами-то, пропала совсем... – отзывалась мать. Все они у нее – и старший Грикша, и Федя, и маленькая Проська – народились уже после Неврюевой рати.

В Княжеве с той поры стало особенно много вдов. Впрочем, вдовы прибавлялись и после. Мужевья погибали на ратях, вдовы в одиночку растили детей. У Козла, приятеля Федьки, отец пал под Юрьевом, и Козел родился спустя полгода после его смерти. Болтали даже, что Козел не от своего батьки, однако Фрося, matka Козла, ни в чем таком замечена не была. Жила она опрятно и сама была опрятная, кругленькая, невысокого росту, ходила чуть переваливаясь, утицей, и все жаловалась, что по ночам ее душит шишко. Работала Фрося, в очередь с другой бабой, птичницей на княжом дворе в Клещине. К матери приходила на беседу. Садилась, оглаживая на коленях старый, из пестрой крашенины костыч, вздыхала, сказывала:

– Корова ревит и ревит. Ни у кого в деревне не ревит, только у меня. Така ж противная! Скажут, что у Фросюхи корова ревит, верно лопать хочет! А есть у ей корму-то!.. Нонече шишко опеть душил. Навалитце и душит. Вот сюда! – показывала она на ожерелок. – Мохнатенький такой, а чижо-о-лый!

Фросю мать жалела, а вторую птичницу, Макариху, всегда бранила за глаза. Макариха заходила то за горшком, то за кичигой, то веревки попросить. А мать потом гремела посудой и сердито недовольничала:

– Мужик, што конь, и сама кобыла добрая, а веревки не могут нажить! На свадьбу придет, дак и сапоги в куричьих говнах. Тыпфу! Что за люди бесстужие!

Матерь уважали. Всегда звали на свадьбы и праздники, даже из других деревень. Когда приглашали, уважительно кланялись, а она отвечала не вдруг и сурово:

– Ладно. Управлюсь вот!

После, вздыхая, доставала дорогое праздничное платье из тафты, с парчовыми оплечьями, кокошник, высокий и рогатый, шитый серебром, с жемчужными висюльками надо лбом. Отец тогда и говорил с матерью как-то иначе, и она отвечала ему строго и важно.

Кроме того, мать заговаривала кровь, лечила телят, знала травы.

Иногда приходила задушевная подруга материна, Олена. Вдвоем с матерью они пели красивыми голосами долгие песни. Обычно без отца. Отец никого не любил. При нем гости к матери только забежали. Он тяжело глядел на приходящих, и женки ежились, скоро вставали, роняя:

– Ну, я побегу! Гости к нам!

– Чего им от тебя нать? – спрашивал угрюмо отец, твердо, по-новгородски произнося «Г».

– Чего нать, чего нать! И побаять нельзя! – сердито отвечала, швыряя горшки, мать и ворчала себе под нос:

– Навязался ирод на мою голову!

– А ну! – рычал отец, ударяя изо всех сил по столу, и Федя прикрывал глаза от страха, что батя сейчас начнет опять бить мать и страшно кричать.

Легко становилось, когда приходил дядя Прохор. Он был свойственник матери и один звал ее не Михалихой, по отцу, а Верухой.

– Эй, Веруха! – кричал он еще с порога веселым голосом, и сразу в избе становилось словно просторнее. Дядя Прохор был высок, сухощав и широк в плечах, с лицом, словно стесанным топором, на котором тоже как прорублены были прямой нос и прямые брови над маленькими, всегда чуть с прищуром, умными глазами. Борода у него слегка кудрявилась и была светлая, легкая, а на щеках, у скул, двумя плитами лежал каленый румянец. Феде он иногда кидал походя:

– Что, Федор, растем?!

И не понять было: шутит или взаболь спрашивает.

У него у первого между клетью и избой был сделан навес для скота, забранный с боков крупной дранью. Сельчанам он говорил кратко:

– Чище! Не в навозе жить! – Прибавлял: – И коровам теплей!

Мужики задумчиво чесали бороды, соглашались:

– Коровам теплей, да.

Дядя Прохор один не боялся отца, почасту спорил, убеждал в чем-то, поругивал, и отец заметно тишел при нем.

Ихний михалкинский дом был устроен как у всех на селе. Пол у печи, где зимою стояла корова и держали телят и ягнят, – земляной. Топили по-черному. Стая для скота была на дворе – просто навес на столбиках. На него осенью накладывали стог сена. Туда же, под навес, ставили телеги и сани, сохи, бороны и иное что. У них было две лошади и жеребенок. Одна, на которой работали, Лыска, а другая – отцов конь, Серко, которого берегли и на котором батя ходил в поход. Еще была корова с телятком и овцы. Были куры. Маленький Федя однажды побежал за цыплятами, и наседка налетела и чуть не выцарапала ему глаза. Куриц с тех пор Федя долго боялся, а лошадей не боялся совсем. Они тепло дышали и трогали мягкими губами. Осторожно брали хлеб из рук. Взрослые говорили, что лошадь ни за что не наступит на человека, если ее не погнать или не испугать. Федя рано научился с забора забираться на спину Лыски и так, повиснув и вцепившись в гриву ручонками, ездил – катался по двору. Когда он падал, Лыска останавливалась и осторожно обнюхивала его. Мать, поворчав для порядка, махала рукой. Отец, походя, давал затрещину, от которой долго звенело в голове. Бабушек в доме не было. Мамину мать увели татары, а батина родня вся осталась на Новгородчине.

Долго Федя знал только свой дом и двор. Редко выходил за ворота поглядеть, как мальчишки постарше играют в рюхи. Дома они с братом сражались в бабки, приговаривая шепотом: «Горб!», «Яма!», «Нет, горб!» – и пихали друг друга, но не очень, чтобы отец не надал тому и другому зараз. Еще иногда ходили к дяде Прохору, и тот, усаживая, говорил:

– Садись, ешь, мужик!

Там было много ребят и играли в бабки все сообща.

Когда Федя стал постарше, мир раздвинулся. Бегали с ребятами за околицу, играли в рюхи и в горелки, дружили и дрались с криушкинскими.

Очень любил Федя уходить смотреть на озеро: далеко-далеко! И там зелено, где Вески, на той стороне, и там, где, приглядеться, виден Переяславль, город, куда мать ходит иногда продавать студень и масло и один раз уже брала его с собой. Тогда ехали на телеге, отец запряг Серка. Везли тушу быка, а оттуда набрали всего-всего: и кадушек, и лопотины разной. От народу на торгу у Феди закружилась голова, и он только и запомнил гомон и пестроту. Ему купили глиняную свистульку, и он свистел всю дорогу, а Серко смешно прядал ушами.

Озеро было то светлое, спокойное, то все в гребешках, как синее вспаханное поле. По озеру можно было уплыть в дальние дали, туда, на Торговище, на Усолье и дальше, в Новгород. В Новгород надо было плыть много дней. Оттуда приходили весною на длинных челнах под парусами новгородские купцы, гости торговые, и тогда начинался праздник. Купцам продавали хлеб, получали от них разные товары, заморские ткани, украшения, замки, серебро. Старших гостей принимали на княжом дворе. Гости гуляли и пили пиво. Дарили бабам платки и ленты девкам. Уезжали купцы, и все возвращалось на прежнее.

Село, хотя и княжеское, жило исстари заведенным крестьянским обычаем, мало чем отличаясь от соседей. Так же гуляли, так же к Рождеству, на Велик день и в Петровки платили налоги. При этом взрослые ругались, меряли и считали, слезно плакались, а потом, успокоившись, пили пиво и поили приезжих сборщиков.

В праздники мужики собирали братчину, на Святках катались по улице на разукрашенных лошадях с колокольцами и лентами в гривах.

Близко заводились свадьбы. Дети бегали смотреть, визжали от восторга, когда взрослые останавливали жениховый поезд. Все взрослые были красные, жарко дышали и много смеялись. И их, малышей, тоже охватывало какое-то волнение. Что-то происходило, не совсем понятное, кроме того, что Машуха или Варюха выходила замуж за Петьку Голызу или Проху Песта, которых в эти дни звали не Пестом и не Голызой, а Петром Палычем и Прохором Ива-

нычем, да еще и князем молодым, а невест – княгинями. От этого, не совсем понятного, и было веселье, и блестящие глаза, и жаркое дыхание взрослых, заковыристые шутки мужиков и алые лица девок.

Масленицу жгли на Ярилиной горе, под Клешином-городом. Собирались все, и стар и мал. Смотреть приходили и боярышни, и княжичи с Клещина, иногда приезжал даже сам князь Митрий, и его в эту пору встречали как своего, добродушно шутили, кричали необходимое, девки, что посмелей, кидали снежками.

Потом наступала весенняя пора. Небо голубело, раскисший снег переставал держать полозья. Ручьи перегораживали дороги. Уже за околицей было не пройти. Смельчаки, что пытались добраться в Криушкино, по пояс проваливались в ледяную подснежную воду. Когда паводок сходил и подсыхала земля, отец ладил соху, мазал дегтем ступицы колес, поварчивая, чинил упряжь. Брат помогал отцу. Федя же забирался под навес, «катался» на телеге, сам себе изображая и седока, и коня.

А когда совсем просыхало и становилось тепло, вечерами начинались хороводы. На Троицу девки завивали березку, кумились друг с другом, жарили яичницу – про себя, парням не давали. Зато ребята – подростки – со смехом и шутками волокли потом обряженную березку топить в Клещине-озере. На хороводы девки одевали очелья, цветные сарафаны; ходили кругом, неспешно, и дивно было слушать их стройное пение.

Когда начиналась полевая страда, веселье и игры сдувало. Трудились и стар и мал. Федя тогда сидел с Проськой, а брат с отцом ратовали в поле. Мать возилась на огороде, изредка забегая в избу и покрикивая на Федю. Отец приходил пахнувший потом и конем, ел молча, рыгал, оглядывая запавшими темными глазами стол. Руки у него слегка дрожали. Бросал что-нибудь:

– Шлея лопнула. Простояли. Мать их... – Или: – В том поле, под горкой, сыровато. Ищо липнет. Едва вспахал...

Федю посылали с хлебом и крынкой молока на поле. Он нес осторожно: отцов завтрак нельзя было пролить. Огибал околицу, выходил на полевую дорожку. Со всех сторон доносились крики ратаев. Мужики дружно пахали, а когда Федя и другие ребята, тоже спешившие с узелками и крынками каждый, подходили к своему батьке, работа прекращалась. Кто-то еще доводил борозду, другие же, оставя коня, шли к бровке, сложив ладони, кричали тому, кто еще пахал:

– Охолонь!

И тот, озрясь на мужиков, тоже оставлял рукояти сохи и распускал чересседельник. Завтракали.

Федя стоял и смотрел, как отец, двигая щеками, жадно ест и пьет, как ходит вверх-вниз его борода, как, так же истово, ест, сидя рядом с отцом на подстеленной дерюге, брат, как Серко, с ослабленной сбруей, сунув морду в торбу с ячменем, тоже жует и бока у него двигаются, как борода у отца. Стоял, иногда переминаясь, – влажная земля знобила, – и боялся сказать хоть слово: не только батя, но и брат сейчас отдалялся от него важностью труда. Феде не давали тут еды, на него не смотрели даже, и он понимал, что так надо. Кончив, отец вытирал рот тыльной стороной ладони, отряхивал усы и бороду, слегка отрывивал и чуток сидел, полужакрыв глаза. Потом потягивался весь и окликал Серко: «Время!» Тот шевелил ушами, кивал, взглядывая на отца, перебирал ногами, мол, понимаю, но не переставал есть, лишь быстрее начинал жевать, громче хрупая ячменем.

– Время! – говорил отец, подымаясь, и, подходя к коню, ласково оглаживая его рукой, а потом, прикрикнув, затягивал чересседельник, снимал с морды торбу с ячменем, передавая ее брату, поправлял узду и брался за рукояти сохи. Пора было уходить, забрав порожнюю крынку и плат, но Федя еще медлил, дожидаясь, пока поднятая отцовыми руками соха не войдет, блеснув сошником, в землю, Серко не вытянется, горбатясь и напрягая задние ноги, и

свежая борозда не начнет трескаться и крошиться, разваливаясь темными от влаги комьями остро пахнущей земли, а брат побежит рядом, понукая и проваливаясь босыми ногами в рыхлую вспаханную зябь.

Потом боронили. Потом отсыпали зерно, меряя мерами. Мать крошила в первую меру припрятанный черствый кусок пасхи – для первого засева. Отец вешал берестяную торбу себе на шею, крестился, трудно складывая черные твердые пальцы. Начинался сев. Федя с братом тогда бегали по полю, пугали грачей. Грачи, если выключут зерно, сделают голызину, и хлеб в том месте не родится. Засеяв, снова боронили, гоняли овец по полю, втоптывали зерно поглубже, от птиц.

В июне, во время навозницы, парни бегали по деревне и обливали всех девок водой. Навоз возили до Петрова дня. Кончив возить, справляли навозницу, праздновали всей деревней, пили, собирали столы. О Петрове дни уже начинали косить. Косить ездили далеко, за Кухмерь, к Усольской реке, и вечно ссорились из-за пожен с мерянами. Отец готовил сразу три-четыре горбуши и, работая, менял их. Грикша только еще учился косить. Матка гребла. Грести и она, и другие женки надевали хорошее, цветное, новые лапти, яркие платки. Копны им ставить помогал дядя Прохор, и они ему тоже помогали, ходили грести. Между делом Федя с братом возились с Прохоровыми ребятками, катались в сене, хоть это и не позволялось: сено мялось, да к тому же в здешних сырых местах часто водились змеи. Раз Грикшу ужалила гадюка, и мать перевязывала его, прикладывая заговорной травы. Брат оправился, но долго хромотал после того.

За сенокосом подходила осенняя страда. Пахали пар. Скоро поспевала рожь. Уборка хлеба была праздником. Зажинать посылали – у кого легкая рука. Обычно просили Олену Якимиху. У той была легкая рука, после нее и работалось легче. А то говорили: «Нынче Дарья зажинала – я руку обрезала! И я! И я!» У той рука была тяжелая. После же Олены, уверяли, и не обрежешься, и спина не болит. Первый сноп украшали васильками, ставили в красный кут.

На уборке работали тоже не щадя живота, жали и бабы, и мужики, дети и то таскали снопы, но было весело. Радовали возы с хлебом, тугие бабки, расставленные по полю, радовало обилие и спокойная, сытая – ежели не случится огня или рати – жизнь на год вперед.

Федя, маленький, любил прятаться в бабки, между снопов. Солома прохладно и скользко щекотала разгоряченное тело, в бабках хорошо пахло сладковатым духом зерен, было полутемно, и он подолгу сидел, наслаждаясь тишиной.

Уже подросши, он вспоминал с удовольствием эту свою забаву и жалел, что бабки стали такие маленькие, что под них уже и не подлезть.

Хлеб молотили помочью. Мать всегда со снохой, Дарьей, с Оленой и с Прохоровой женой – в четыре цепа. Цепинья в лад ложились на снопы, будто плясали, и, со стороны, работа была веселая и вовсе не трудная, хоть взрослые к вечеру и валились с ног, засыпали, едва осилив ужин.

После хлебов убирали гречиху. Потом копали огороды. Позже всего, уже когда начинались осенние дожди, принимались за льны.

Лен сперва дергали, ставили в бабки, сушили и околачивали вальком семя; потом расстилали на лугах, мочили, мяли, трепали... В Великом посту уже расставляли в избе ткацкий стан и начинали ткать. Ткали весь Великий пост, семь недель. А потом приезжали купцы, мяли и рассматривали портна, увозили в дальние страны. Из толстин шили себе порты и рубахи с приятным запахом льна, шершавые и ласковые для тела, которые поначалу, пока не обтреплются, приходилось очень беречь, особенно от дегтя, чтобы не заругалась мать.

Глава 7

Поздняя осень. Лес багряный и желто-зеленый. В иные поля, убеленные, как сединою, в окружении желтого пламени берез. Тишина сиреневого неба. Хлеб убран. Птицы улетели. Твердеет земля по утрам. Трубят рога: княжеская охота рыщет по перелескам. Курятся соломенные крыши изб, хозяйки топят печи. Рожь просушена в овинах и ссыпана в житницы. Из мягкой соломенной золы хозяйки варят щелок. Мужики и бабы моются в корытах и кадушках, нагрев воду раскаленными камнями, а где и в больших хлебных печах – смывают пот и грязь. Работы окончены, можно и отдохнуть. Зимние – еще не начались. Извоз, дрова – до снега. Варят пиво и мед. Скоро свадьбы, Святки, Масленая... Вечерами девки сходятся на беседы – супрядки. Лучина, потрескивая, освещает румяные, с летним загаром, похорошевшие лица.

Позднюю осень Федя особенно любил. Может, потому, что первые воспоминания у него были о первом снеге. Как он стоит, маленький, босиком, и летят и кружатся белые снежинки и как пощипывает ноги, если наступить, и не понять отчего.

Первый снег всегда вызывал в нем радость. Так бело на зеленой траве, так отвычно для глаза и ярко, даже спервоначалу больно смотреть. После серых осенних полей белизна радостно жмет на глаза. Желтые березовые листики кажутся еще желтее, еще ярче на белом. И воздух такой свежий-свежий. Вдохнешь – и не хочется выпускать его из груди, и еще вдохнешь, и еще...

Нынешней осенью было особенно свободно, без отца, что ушел с князем в новгородский поход. Не надо было постоянно страшиться. Мать ругала за шалости, а не била, у отца же рука была тяжелая, и Феде, как он считал, доставалось больше всех. Меньшую, Проську, отец баловал, старший брат был уже работник, и отец иногда спрашивал его или говорил что-то как равному. Федя тогда ревниво завидовал брату.

Без отца, одни, они нынче делали загату вокруг дома и заплетали соломой, на зиму, для тепла. Без отца мылись в Прохоровом доме, вдвоем с братом, в очередь после матери, в русской печи, нежась в сухом горячем жару, и вдоволь дурили, плескаясь и щипая друг друга. До недавней поры мать мыла Федю как маленького. Усевшись в печь, на соломенную подстилку, она клала его себе на вытянутые ноги, головой к устью, мыла сперва живот, а потом, перевернув, как лягушонка, спину и голову. Окатив, звонко шлепала по заднему месту и выпихивала, красного, распаренного, вон из печи. Там он, с помощью брата или отца, обмывался холодашкой, сох, надевал чистую рубаху и лез на полати, где еще долго опоминался, ощущая блаженство от чистоты и непривычную легкость во всем теле.

Сейчас, без отца, можно было позвать Козла домой. Батя не очень жаловал его приятеля: – С голюю водитьце – себе нахлебников растить! – говорил он. – Ты с княжичем своим дружи! Он подрастет – удел получит, авось и тебя не забудет той поры!

От таких советов Феде совсем переставало хотеться встречаться с Данилкой, «московским князем», как за глаза звали его ребята в училище, и, наоборот, хотелось чаще встречаться с Козлом. Тот был маленький, прыткий, вечно голодный и, верно, был как козел – проказлив на все детские шалости: в огород ли слазать, нарвать чужой моркови и луку, гнездо ли разорить, утащить чужие салазки зимой... В драках он тоже не уступал другим, хоть и не вышел ростом. А в спорах ребячьих, припертый в угол, краснел весь, как смородина и говорил: «Пошел ты, знашь! Куды не знашь!» – Грубого слова Козел никогда не произносил, слушался матки своей.

Козел уже, наверно, лепит снежки из первого снега или ломает лед на пруду... Когда кончилась осенняя распутица и отвердела земля, Федя снова стал ходить в училище, хотя сейчас, осенью, было особенно страшно возвращаться уже в потемнях назад и проходить мимо Глинницы – проклятого врага под самым Клещином-городком, где когда-то мерянские колдуны совершали свои волхования, пили человеческую кровь, как уверяли некоторые мальчишки.

А теперь во враге жила нечистая сила, пугала, свистела, сбивала с пути. Кто шел мимо, обязательно крестился и читал молитву – «Отче наш» или «Богородицу», – а не то можно было пропасть. Сказывали, как девку с Криушкина утянуло во враг, да и не нашли потом. А недавно Козел, сидя на заборе и скаля зубы, рассказал, как два мужика с Маурина шли мимо Глинницы и помянули нечистого, а он и явился им. Мужик как мужик, а зубы скалит. «Вы, – говорит, – как идете? Давайте я вас поведу!» И завел. А водополка была, дак они и бродили, бродили, чуть живы вышли. Под Пасху дело было. И колоколы слышат, а выйти не могут. Так бродили, и оба умерли сегод!

Козел, конечно, рассказал не зря. Завидует, что Федя учит грамоту, дак и решил попугать, а все же проходить мимо Глинницы одному стало вовсе невмочь.

Федя потыкался по избе, не зная, за что приняться. К Проське набралась целая куча девчонок, и все пищали, а Проська расставляла свои чурочки, соломенные и тряпичные жгутики, в середину сажала владимирскую куклу в парчовом саяне и приговаривала, разводя руками:

– Царская кукла!

– Княжеска! – бросил Федя, как взрослый, глянув на подарок «московского князя».

– Царска! – пропищала Проська ему в спину.

«Пушай зовет, как знат!» – подумал он, хлопая дверью. На холоде дверь перестала забухать и звонко щелкала, закрываясь.

В воздухе реяли легкие редкие снежинки. Эх! Слепить первый снежок, а скоро и салазки можно будет достать, вскочить, проехать со склона к пруду, а то побежать туда, к обрыву, куда ходят большие мальчики, и – вниз! Он еще ни разу не катался с обрыва, только с замиранием сердца смотрел, как с визгом и уханьем летели вниз, иногда перевертываясь, старшие парни и девки. В училище идти было еще рано. Федя огляделся и побежал искать Козла...

Занятия он прогулял. Вечером мать с бранью усадила его за книгу, поставила свечу. Свечи зажигали редко, берегли. Они с Грикшей уселись носами друг к другу, шевеля губами, читали. Грикша читал медленно, но упорно и уже перевернул страницу засаленного служебника, а Федя, утомясь складыванием непослушных букв, остановился и начал разглядывать цветную заглавную букву, представляя, что это лодья, плывущая по озеру.

– А ну, прочти! – потребовал брат.

– Веди... он... зело... ве-ди... возвокробех...

Звонкая пощечина сопровождала его чтение. Федя вскрикнул, сжав кулаки:

– Не дерись! Бате докажу!

– Батя тебе ищо добавит!

Это была правда. Федя сник и, глотая обидные слезы, стал бороться с непослушными буквами, трудно складывая:

– Веди... он... наш... вонмими...

– Вонми ми! – поправил Грикша, не глядя на него. – Внимай, значит.

– Вонми ми, и оци... сы... услыши ми... юс... мя... ве-ди... он... зело... буки... Во гробех, нет, возвокробех печалию...

Свеча, колеблясь от дыхания мальчиков, тихо оплывала. Мать, посматривая на склонившихся сыновей, сучила и сучила пряжу. Сама она была неграмотна, как, впрочем, и все бабы на селе.

Ноябрь встречали без снега, боялись, что вымерзнут зелены. Однако за неделю до Филиппева дня снег пошел сразу густой, пушистый и укрыл все. В обмерзшие, затянутые инеем окошки стало теперь ничего не видеть, да еще для тепла одно из них задвинули задвижкой и заткнули ветошью, а в другое, вместо бычьего пузыря, вставили пластину ровного льда. Дома все чаще сидели в шубах, а, приходя со двора, греться залезали на полаты. Подходил Рождественский пост.

Озеро замерзло, и по нему уже ездили на сани. Серое небо, мягко-лиловое, низко висит над землею и неслышно порошит снегом. Сугробы кое-где сровнялись с крышами. Ветра завивают серебряные смерчи, жалобно гудит в дымниках, шерсть на лошадях курчавится от мороза, облако белого пара окутывает входящих в избу. Козел прибежал: руки красные, его круглая, с острым подбородком, как у мышонка, мордочка тоже вся обмерзла и пошла сизо-красными пятнами. Залезши на полати, он долго трясся там, согреваясь. Отогревшись, повеселел. Да еще Федя сунул ему кусок хлеба, и Козел жадно проглотил его, держа в горсти и уминая за обе щеки.

– Федюх, айда сказки слушать!

Мать не баловала сказками, она больше пела, а сказки сказывала редко, из пятого в десятое, обычно даже не доводя до конца. Поэтому Федя с радостью согласился.

– К кому?

– К Махоне рябому. Там ноне беседа, и Маланью позвали. Она сказывает – ух ты! Тут и заспишь, и хлеба исть не захочешь!

Федя быстро намотал онучи, надел лапти. Козел был босиком, пото так и замерз. Вынырнули на двор, на синий обжигающий холод. Козел понесся, высоко подкидывая ноги. Федя едва поспевал за ним. У Махоиной избы мальчики долго колотились. Козел прыгал то на одной, то на другой ноге, а ладонями тер себе попеременно пятки. Наконец дверь подалась. Открыла Фроська:

– Куды, мелочь вшивая?!

– П-п-пусти с-сказки слушать! – пробормотал Козел.

– Ох ты, и без сапог! Ну лезь, да тихо!

В горнице потрескивала лучина. Кто прят, кто так сидел. Мальчики тихонько пробрались к печке и полезли на полати, в тесноту, в сдавленные шепоты, пихая чьи-то ноги, руки, получая тычки. Наконец уместились кое-как и, согреваясь, начали вникать в затейливое журчание сказки.

– ...И идет Ванюша, а клубочек котитце, котитце перед им. Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, идет день, идет другой. Попадает ему встречу стар старичок: «Куды, доброй молодец, идешь, куды путь держишь? Волей-неволей али своею охотой?» Отвечает ему Ванюша: «Иду я туда, не знаю куда, волей-неволей, а больше своею охотой...»

Сказка уводила куда-то, чудился лес, но не простой, а чудесный, где елки до самого неба, и за лесом неведомые земли, далекие, как Новгород, как Хвалынское море и царь перский...

Снег все шел и шел. По утрам приходилось расчищать снежные заносы на дворе. Волки были за самой околицей.

Подошло Рождество, следом Крещение и Святки. Внове было встречать праздники без отца, внове и вольготней. Батя, бывало, разгонял всякое веселье. А тут – дверь так и хлопала. Матери кричали:

– Михалиха, скажи жениха!

– Анемподост! – кричала, сама путаясь и смеясь, мать, выбирая имя помудреннее, что и не выговорить. Славщикам она накладывала пироги, сама бегала гадать вместе с бабами. На Святках приходили ряженые, страшные, с рогами и хвостами, размахивали факелами из крученой, обмакнутой в деготь бересты, плясали.

– Тише, скаженные, избу подожжете! – смеясь и бранясь, унимала их мать. А те тормозили и звали ее с собой.

– Мам! А давай без бати жить! – сказал однажды Федя, в полной уверенности, что и ей легче без отцовской брани. Но мать тотчас дала ему подзатыльник и заплакала:

– Кажен день молю угодников! Да куды я тогда с вами, с троимы! Есь в тебе ум-то?! Отец когды и поучит, дак на то он отец! Глава! Становись на колени, молись, чтобы прошло слово-то глупое, ничо не стряслось с има там, в немецкой земле!

К великому счастью, мать скоро забыла Федино неосторожное слово и не поминала потом.

Миновала Масленая. О ратниках все еще не было ни слуху ни духу.

Федя за эту зиму очень вытянулся, пошел в рост и уже сносно читал, подгоняемый неукоснительным братним надзором.

Уже начинал рыхло проваливаться снег и тени голубели, чуялась весна. Обросшие за зиму мохнатые лошади вдруг останавливались, нюхали ветер и тихо ржали. Приближалась Пасха. На Крестопоклонной неделе дошла весть, что ратники возвращаются из похода.

Звонили колокола в Переяславле и на Клещине-городке. Федя, радостный, возвращался из училища. У ворот их усадьбы стоял знакомый конь, и он, с сильно забившимся сердцем, одновременно со страхом и радостью (помяная все зимние прегрешения!) понял: то воротился отец.

В избе сидел дядя Прохор, еще какие-то два мужика, а из угла, где толпились в полутьме Фрося, сноха Дарья, Окулина, Олена, еще какие-то женки, слышались рыдания, и Федя сперва даже не понял, что это рыдала мать. Дядя Прохор говорил меж тем, обращаясь к мужикам:

– Коня и бронь – в целости! Чего больше, но коня и бронь я сохранил.

И мужики кивали головами и прикладывались к братине с квасом.

– Федюх! – окликнул его дядя Прохор и поглядел без обычного хитроватого прищура, прямо и строго: – Батька твой убит.

В голове еще гудели праздничные колокола, помнились сегодняшние шалости, чьи-то шутки, так что он даже чуть-чуть не засмеялся, и вместе с тем все как будто поворачивалось, отходило, погружалось в звенящую тишину, лишь издали донося рыдания матери.

Как же так?! – думал Федя, все еще ничего не понимая. Отец ведь должен прийти. Его ждали возить дрова и сено, толковали еще, что скоро придут. Он сам боялся суда за мелкие свои грешки... Как же так? Убит?

Он стоял потерянный, не зная, что сделать, сказать, куда ступить, сжимая в руках торбу с книжкой. А дядя Прохор уже оборотился к тем двум мужикам, и откуда-то издалека до Феде донеслось сказанное им слово «Раковор!».

– Раковор, Раковор, Раковор... – повторял он про себя бессмысленное звонкое слово и все не знал, ступить ли дальше или уйти, выбежать, переждать... Казалось, что надо только где-то спрятаться и переждать, и тогда все кончится, придет отец, и они станут возить сено.

Кто-то из баб заметил остоявшегося Федею, запричитал над ним:

– Соколик ты мой ясный! Жалимая сиротиночка!

Федя только низил голову, не зная, что ему делать. Ни слез, ни горя не чуял он, а только растерянность, подавившую все, и горячее, почти неодолимое желание убежать и пересидеть эту беду.

Меж тем в избе начиналась деловитая суeta. Что-то снимали, вешали, доставали какие-то одежды. Кто-то дал ему миску щей, и он жадно хлебал, сидя в углу, на краешке стола. Вот встал дядя Прохор и, обращаясь к матке, которая, качаясь, поддерживаемая со сторон бабами, со вспухшим, словно не своим лицом, старалась понять, что ей говорят, сказал:

– Пашню я вам вспашу!

Мать поклонилась ему и зарыдала снова.

Ближайшие дни Федя был все в том же состоянии. Смотрел на хлопоты, на мать, что пекла, стряпала и плакала в одно и то же время, на деловитых, помогавших ей Фросю и Дарью. Слушал неспешные рассказы о большом сражении с немцами (Раковор – это, оказывается, так называлось место, где произошла битва). Смотрел, как собиралась родня и ближние, сидел за поминальным столом. Услышал, и тоже словно во сне, как кто-то из баб уронил вполголоса:

– Младший-то совсем бесчувственный, ни слезинки, ничо, и об отце не поминат!

Все ели и пили пиво. От тоже ел, спеша насытить свой вечный детский голод. Низил голову, когда кто-нибудь из бесчисленных свестей, кумовей и ближников с заученным сочувствием спрашивал его: «Жалеешь батьку-то?» Молча, затрудненно кивал головой в ответ. Слушал, как мать разговаривает с братом Грикшей о сене, как со взрослым, и вроде даже ищет совета у него, и Грикша, сдвигая светлые брови, отвечает ей как настоящий мужик и начальственно кидает ему, Феде: «И ты будешь возить тоже!» И опять Федя кивал заученно, и все было как во сне.

Порою он чувствовал даже облегчение. Не будет отцовых тяжелых взглядов, страшиноватого пьяного гнева, когда летели горшки и хряпала огорожа, а двери, казалось, вот-вот вылетят из подпятников; не будет затрещин по нужде и без нужды. Ну что ж, сено так сено! И дров навозим! Пашню дядя Прохор обещал вспахать! На дальше он уже не загадывал. И брат глядел на него отчужденно, и мать с каким-то горьким укором бросала ему ложку и хлеб, когда садились хлебать из общей миски. Федя старался чаще убежать из дому, часами пропадал у Козла, то бродил по улице или, замерзнув, забирался в клеть и тут отогревался, не смея зайти в избу, лишний раз показать матери свои сухие глаза...

Возвращались ежедневные будничные заботы, и в нем нарастало облегчение. Он подолгу лежал вечерами под шубой, вспоминая, как Козел, тоже считавший своим долгом утешать Федю, говорил, что ничего – у него тоже батька на рати погиб, и в тех же местах! Федя лежал, думая ни о чем, все с тем же пустым звоном в голове. Мать с братом вполголоса в темноте переговаривались, что завтра надо уже начинать возить. И Федя, слушая этот как бы чужой разговор, совсем успокаивался. Непонятно жестокое прошло, проходило... Нынче он первый раз спокойно уснул, и во сне наконец, впервые с тех пор, как пришла злая весть, увидел отца.

Он так же лежал под овчиной, и отец о чем-то шептался с братом, и он знал, что собираются на рыбалку и обещали взять его с собой, и вот он лежит и ждет этого часа и что-то слышит, какие-то голоса, и вдруг, вздрогнув, просыпается от тишины и понимает, что они ушли, ушли, не разбудив, обманув его, маленького, и он вскакивает как есть, в рубашонке, и бежит стремглав, ударяется в дверь, падает и бежит по двору и по темной ночной деревне, с громким плачем, и добегают до обрыва, кусты хлещут его, он падает, катится, весь исцарапанный скатывается с горы и снова бежит, уже на мягких, трудно слушающихся ногах, бежит, тяжело дыша, и вот уже и вода, тускло светящаяся, и лодки, и кто-то темный отчаливает, и понятно, что это отец, и тогда он снова в голос начинает кричать и бежит, бежит, и вот видит, что отец придержал лодку багром, и он кидается в плотные отцовы руки, с рыданием, и отец, усмехаясь: «Прибрел-таки!» – усаживает его в лодку, сильно пихаясь, потом снимает с себя сермягу и укутывает его, уже задрожавшего от ночного озерного холода, и он согревается и уже молча, приходя в себя, смотрит, как гребет отец, как струится вода, как сперва брат, а потом батя бьет кресалом, разжигая огонь, и вот Грикша подымает дымный смолистый факел, а отец берет строгу, подымается и, прицелясь, с жестоко кривящимся лицом, бьет строгой в воду, и тотчас вода начинает бешено плескаться, и извивающаяся страшная щука подымается, разбрызгивая воду, над лодкой, и отец стряхивает рыбину к Фединым ногам, так что он прячет пальцы босых ног под сермягу и весь поджмается, а рыбина продолжает плясать, горбатясь и разевая пасть, а потом затихает и лишь иногда сильно вздрагивает всем скользким пятнистым телом, ударяет хвостом и, зевая, показывает острые зубы, уже затрудненно, медленно разводя и сводя челюсти, а за ней в лодку падает вторая и тоже спервоначала начинает бешено скакать и свиваться кольцом, за второй – третья... Грикша переменяет факел. Отец иногда бьет мимо и тогда тихо ругается. Рыбины летят и летят, брызгая водой и кровью, а Федя начинает дремать и вот уже совсем спит, и отец выносит его на руках из лодки и, сильно встряхнув, ставит на ноги, и Федя сразу мерзнет, лишенный сермяги, и, с прыгающими губами, качаясь и больно спотыкаясь о камни, спешит за отцом и братом, которые идут, уже не обращая на него, хны-

чущего, внимания. Грикша несет строгу и весла, а отец тяжелую торбу с рыбой, которая все еще шевелится у него за спиной, и вода стекает и капает в лад отцовым шагом...

И, пробудясь, поняв вдруг, что этого уже никогда не будет – ни темной дороги, ни озера, ни рыбалки, ни отцовых твердых рук, – Федя наконец заплакал, беззвучно трясясь, и слезы бежали у него из глаз по обе стороны лица. Грикша в темноте протянул руку, неумело обнял младшего брата и притянул к себе. И тоже молчал. А Федя продолжал плакать и вздрагивать, и так, вздрагивая, и уснул, теперь уже до утра.

Первый воз наклали маленький, обминали дорогу. Довезли благополучно. Со вторым же намучились. Ни мать, ни Грикша не сумели затянуть веревку по-годному, и воз рассыпался по дороге. Пока перекладывали да ругались, стемнело. Только и успели в первый день. Федя намерзся, вымок и уже начал понимать, что значит остаться без отца, который то же самое сено, на том же коне возил играючи и никогда не ронял, а Федя только сидел на возу да глядел по сторонам на опушенные снегом елки.

Снег был уже талый. Приходилось спешить. Днем липло к полозьям так, что лошади из сил выбивались. Когда принялись за дрова, Федю, накатав дорогу, стали посылать одного. Во второй или третий раз с ним приключилась обидная неудача. На выезде из лесу, близ Лаврушкиной пожни, выдернувшись оглобля из гужей – все было сырое, и гужи раскисли от воды, – воз съехал с наката в снег, и как Федя ни бился, ничего у него не получалось. Он с трудом дотягивался до хомута, а вставить оглоблю и затянуть гуж у него решительно не хватало сил. Измучившись, он тогда совсем выпряг, срывая ногти, и полез было сесть верхом, но покатился, не сумев взобраться, а Серко, освобожденный, в одном хомуте, отбежал в сторону и, фыркнув, оглянулся на Федю. Федя пошел за ним и, уцепившись за седелку, снова попытался вскарабкаться на спину коня. Но уже не было сил, пальцы разжимались, и он снова упал. Ища, на что бы взобраться, он упустил повод, и Серко спокойным шагом направился по дороге к дому. Федя пошел за ним, потом побежал, но конь прибавлял ходу, на все призывы лишь мотал головой; останавливался, оглядываясь, слушая детскую ругань и плач, фыркал и отбегал снова, чуть только Федя чаял уже поймать волочившийся конец повода. А вдоволь измучив Федю напрасной погоней – от беготни у того даже шапка стала мокрая, – конь перешел на ровную рысь и совсем оставил его одного, измученного и мокрого, на дороге, с засевшим где-то назади возом. И ему пришлось со стыдом идти домой, полем и лугом, а когда добрался, Серко, как ни в чем не бывало, уже стоял во дворе и подбирал раструженные клочки сена. Жалеть Федю ни мать, ни брат не стали. Впрочем, и у него от усталости прошел уже гнев на коня. Всем приходилось трудно, коню, проделавшему долгий поход, тоже.

Возке, казалось, не будет конца. Сани проваливались, оглобли, как масляные, вылезали из гужей, и мать с братом перепрягали, завертывая гужи с сеном, чтоб крепче держалось. В Никитский монастырь Федя больше не ходил, в пору было добраться до постели.

Как-то раз (уже кончали возить, и лужи стояли на снегу озерами, а на въезде в деревню обнажилась черная земля) Федя, ведя воз, встретил княжескую охоту. Осочники проскакали мимо, гоня лисицу, и Федя не обратил бы внимания, кабы знакомый голос не окликнул его. Он придержал коня. Княжич Данилка, румяный, красивый, на легконогой серой лошадке, глядел на него и весело окликал. Поздоровались. Княжич спросил, почему Федя не ходит в училище? И Федя, дичась, ответил, что недосуг, за дровами, за сеном... Он хотел сказать, что батька убит, но княжич опередил его:

– Слыхал, батьку твою убили? – спросил он просто и участливо, и Федя молча кивнул, сразу как-то оттаяв и перестав сердиться на княжича. Данилка вздохнул, потупился, помолчал, а потом похвастал:

– А мне коня подарили, вишь! – И огладил гриву нарядного коня.

С поля окликали княжича. Он повернул голову, махнул кому-то рукой и сказал, вновь оборотясь к Феде:

– Ты приходи! Как вывозишь дрова – приходи!

И, уже тронув коня, спросил, то ли сам додумав, то ли подражая взрослым:

– С голоду не помираете там?

Федя потряс головой.

– Приходи! – прокричал княжич, пуская коня, и Федя тронул своего, шевельнув поводьями вправо-влево. Он уже, наученный горьким опытом, знал, как лучше стронуть с места грузеный воз, чтобы конь не надрывался, отдирая прилипшие к снегу полозья, чтобы оглобли вдругорядь не выскочили из гужей.

Глава 8

Дмитрий Александрович воротился из-под Раковора с добычей и честью. Юрий, сын покойного дяди Андрея, бежал с поля боя. Он же выстоял и добыл победу. Не посрамили себя и новгородцы. Он еще и теперь, закрыв глаза, мог увидеть несущийся, блистающий доспехами, грозно ревущий клин вражеской «свиньи», опрокинувшей конный новгородский полк, цветные немецкие знамена и вал новгородских пешцев, что, смыкаясь на ходу, шли встречу вражеской конницы. Видел железные шлемы без лиц, слышал гибельный скрежет железа о железо и то, в падающем сердце тревожное – и стыд обернуться! – скажут ли за мной?! Нет, переяславцы не выдали, и Дмитрий был горд победой. Он опять и опять вспоминал тот миг, когда стена, о которую, казалось, сейчас сломаются копья и сомнутся мечи, распалась, и он увидел спины бегущих и уже рубил, рубил и рубил, и его обгоняли, рубя врагов, а разгромленные датчане и пешие чудины бежали от них по всему полю, и рыцарская конница стремительно уходила за холмы.

После Новгорода, его громадных ратей, многолюдства градского, вольного кипения торгового, шума вечевого площади, розовых и белокаменных соборов, возносящихся ввысь теремов, после лиц веселых и дерзких, разноязычной толпы заморских гостей, что, казалось, собрались из всех ведомых земель, после новгородской свободы – платя дань, новгородцы меж тем не держали у себя баскака, да и сами татары не домогались сомнительной чести быть, не ровен час, зарезанными разбушевавшейся северной вольницей, – после всего этого родной терем, даже родной Переяславль казались убоги и тесны. Соломенные кровли и плосковатые мерянские лица наводили уныние.

Он любил Новгород ревнивой и злой любовью. Он вырос в нем и был удален оттуда. Он злобил на новгородских бояр, на посадника, на граждан, изменивших ему, сыну Александра, и не мог забыть этих лиц, этой спокойной осанки вятских, этих уверенных речей и твердых глаз, этого богатства не напоказ, этого достоинства в каждом горожанине, встреченном на тесовой новгородской мостовой, деловитой грамотности посадских людей, строгой красоты иконного письма, гордой свободы горожанок...

У него все было в Новгороде. Была и любовь, когда он понял, что и князя можно отвергнуть здесь, на Новгородской земле (не про него ли сочинили потом обидную песню!), и... Как он понимал дядю Ярослава, что бросил Тверь и великое княжение в придачу к ногам новгородской боярышни! Как понимал, как завидовал... Сам он тогда, в семнадцать лет, при живом отце с матерью не решился, не мог решиться на такое. И она ушла, капризно надсмеявшись над ним (над ним, сыном Невского!). И как он любил тогда! Даже сейчас, едва выдержал... Но выдержал, не стал узнавать. Прошло. Верно, муж, дети. Как и у него теперь.

Жена, сосватанная матерью, – маленькая, едва по плечо мужу, – сияя и робея, встретила его в терему. Вспыхивала, не зная, что сказать, как лучше приветить. Ласкал ее ночью, закрыв глаза. Мятежный Новгород, злой и лукавый, тянул к себе, и не было до конца того чувства, что – дом, что вернулся домой. Дом – желанный, уплывающий, был там, далеко, где чествовали

нынче его, победителя, и вели окольные речи... Нет, против дяди Ярослава, как бы ни хотела Прусская улица и даже вся Славна, он не пойдет!

Литвин Довмонт, новый пришлый псковский воевода, понравился ему. Умен. Видно, что умен. И храбр так, что уму непостижимо. Верно, таким был батюшка в молодые годы... Как умел отец держать всех в своей горсти! Князей, бояр, Великий Новгород, да и они, дети, не посмели бы своевольничать при нем. Не пощадил же он Василия, и после не простил, и уже не допускал на очи до самой смерти. Да, ему, Дмитрию, все-таки далеко до отца. Родного брата, Андрея, что сидит на Городце, уже невозможно заставить слушать себя. Женился на боярской дочери... Княжон не нашел? Да и на чьей? Все ему, Дмитрию, вперекор! А прежние вечные их ссоры с братом! Это Андреево давешнее: «Паче батюшки хочешь быть!» Да, хочу! Они оба с Андреем соревновались, кто из них больше будет походить на отца. Потому и была ярость в бою, и гордое мужество, и восторг, когда исчезает страх в расширяющемся сердце и тело становится легким и тяжелой рука. Потому и были: твердая походка, неспешный поворот головы, прямой взгляд и молчание – рассчитанное, недетское, отцово. Потому и было упорство: задумав, не отступить, не свершив.

Но для того, чтобы сравняться с отцом, нужна была власть. Нужно было великое княжение, нужен был Новгород, своенравный, едва укрощенный отцовой дланью и теперь вновь вырывающийся из узды. И нужны были сейчас, пока сила в руках и жаркая кровь в жилах, пока все еще впереди и прожито только двадцать два года жизни, всего двадцать два!

Он лежал и не спал. Думал. Спать не хотелось. От заморского красного вина, что пили сегодня с боярами, все еще стучало в висках и слегка кружилась голова. Угощали ратников, угощались сами. Утром слушали благодарственный молебен в соборе, единственном каменном на весь Переяславль, строенном еще Юрием Долгоруким. Строить тогда умели. Владимирские соборы, пожалуй, значительнее новгородских, изобильнее белым камнем, богаче резьбой... Владимир и сейчас еще больше Новгорода... Нет, не больше! Пустеет Владимир. Был, говорят, больше – до татар.

Переяславль тогда, верно, тоже был больше, чем ныне. Отсюда, из Переяславля, уходят пути на Ростов, Юрьев, Владимир, Дмитров, Углич. И туда, через Москву, на Смоленск, на Чернигов и Киев... Не зря отец сидел здесь, в сердце страны. И все-таки стремился на север. Радовался, когда к нему шли служить новгородские бояре, давал им земли здесь, в Переяславском краю.

Земли приходилось давать за службу и нынче. Серебра было мало. Серебро требовала Орда. Оно струилось оттуда, из Новгорода, и плыло, уплывало в жадные, ненасытные руки ордынцев. Чтобы тучнели стада и росли дворцы, чтобы царства и языки трепетали при слове «татары», чтобы лстивые франки и сам папа римский слали грамоты и посольства в Сарай и Каракорум... От этого становилось душно. Душно становилось от сытого, широкого и плоского, с узкими умными глазами лица баскака, которому он, князь, должен был после молебна в соборе давать отчет о походе и подарки ему и Орде. Да еще: «Пачему мало даешь?» И не скажи: люди бегут! «Бегут? Пачему бегут? Ты князь! Пашли бояр, верни! Куда бегут? Леса бегут? Все сбегут, тебе тогда плати, свой галава плати! Ханым люди не бегут! Орда не бегут! Палахой князь! Своя боярынь сыми, себя сыми, Орда давай!»

– Падаркам давай! – пробормотал он, скрипнув зубами. И то еще легче, чем при Беркае, когда любой посол татарский творил, что хотел, а смердов толпами угоняли в полон... Как отец терпел! Дмитрий порою больше понимал покойного дядю Андрея. Да, надо драться, спасать древнюю честь и святыни! Спасать древлекиевскую славу, пока она не испаяла на ветру! Спасать храмы и терема, иконы и книги.

Ничего им не объяснишь, ничем не вразумишь, и не примут они никогда христианской веры! У них своя вера, требующая крови врагов!

Погинуть? Пусть! Но в ратном строю! Но не задыхаться еженощно от бессилия, ненависти и унижения, не подлаживаться, не заставлять себя любить своего врага!

Да, они покорили полмира. В мужестве им не откажешь. Да, они честнее других, они не предадут своих и не бросят в беде, не изменяют своим ханам, не завидуют, не лгут, не воруют – там, у себя, в Орде. В походах могут сутками не есть и не спать, не слезая с седла. Они не бегут с поля боя. Они не убивают трусливо послов и не прощают этого никому другому... Да, они такие!

И не так уж они жестоки в бою. В бою – кто не жесток! И кто не зорит захваченных городов и не уводит полона? И... В конце концов! Ежели владимирские князья не сумели удерживать власть, пусть бы сели новые, которые вновь подняли величие страны, воздвигли новые храмы и города, чтобы кипела торговля, строились деревни и села, тучнели и колосились нивы, множились стада, расцветали многочисленные ремесла... Но им же ничего не нужно! Драный тулуп, да чашка кумыса, да бесконечная песня, что тянет монгол в степи... Им не нужны ни наше ремесло, ни наша утварь, ни наша еда. Разве только наша кровь для войны! А что иное? Просо коням?! Смешно! Им не нужны наши книги, и книги эти сгорят. И не от татар сгорят! А от небрежения опустившихся, забывших свое прошлое русичей. Им не нужна красота: храмы, колокольные звоны, священные лики икон... И угаснут колокола, а храмы повергнутся в прах. Они, даже и не желая того, сами собой опустят страну до уровня степной Орды.

Так что же? Воззвать, ринуть рати, одолеть или пасть в бою?! Нельзя! Пока страна не в единых руках, ничего нельзя. Терпят все. Даже Новгород платит ордынскую дань. Да и откуда бы взять силы?

Город хиреет. Ремесленники в низких прокопченных полуземлянках толкуют о том, куда податься. В лесу за озером растут терема. Чего говорить о мужиках, когда княгини правящего дома ищут убежища в лесу за городом? Попробуй собери тут городских мужиков, как в Новгороде, да поведи в бой!

И с тамги, и с мыта, и с конского пятна, с ремесла и торгова – все меньше и меньше доходов. Наместники качают головами. Земля скудеет серебром, пустеет казна.

На что опереться? Где путь? Юрий Владимирский мог кормить дружину у себя в терему! Нынче не прокормишь. Одно спасает – земля. Из отцовых бояр, что пришли за ним из Новгорода, те и остались, у кого поместья под Переяславлем: Гаврило Олексич да Миша Прушанин... Да и то Миша, поговаривают, хочет воротиться к себе в Великий Новгород. А иные отъехали к дяде Ярославу, в Тверь, кто в Костроме, у Василия... Гаврило Олексич, Гаврило Олексич, ты хоть меня не оставь!

Хорошо ли то, что бояре сидят на вотчинах, а не кормятся из рук князя? Те, прежние, были со своими князьями в беде и в бою. И переезжали за ними из города в город. А эти, подика, уже не поедут!

Впрочем, и то сказать: сколько было спеси, пышности, а не удержали кормленные Владимировы бояре земли! Пали рати, погибли воеводы. Русь платит дань Орде. Давно ли степняки давали Руси дани-выходы!

И по-прежнему которы, зависть, споры, нестроения в князьях. Дядя Ярослав давно отступился от Чернигова с Киевом. Удержит ли еще Новгород?! Сейчас поехал туда спорить. Их переспоришь...

Дмитрий наконец почувствовал усталость. Мысли стали мешаться. Он уронил голову на изголовье, обтянутое мисюрской камкой, и уснул. Жена, не размыкая глаз, осторожно натянула повыше шубное одеяло, закрывая плечи Дмитрию, и теснее прижалась к ненаглядному своему красавцу супругу.

Глава 9

Александра со снохою мылись в большой хлебной печи на поварне. Дмитрий поварчивал, а все равно мылись в печах. Александр, покойник, поставил новгородскую баню на дворе. Ходили туда да и перестали. В печи жар словно был суше и разымчивей – до костей пробирало. Всякую болеть, что от воды, или ветра, или иной застуды, снимало как рукой.

Печь вытопили накануне сухими дубовыми дровами. Дали выстояться. На сноп золотистой ржаной соломы постелили чистые рушники. Александра, кряхтя, разоблокалась и полезла первая в пышущее сухим жаром устье. Затянулась, перевернулась на спину, отдыхая, – всю сразу проняло потом. Потом поднялась, села, поерзав, уминая солому. Позвала сноху: «Лезай!» Печь была просторная, хоть троима мойся. Пухленькая Митина жена скоро залезла, устроилась рядом. Александра черпнула ковшом, кинула пар. Сноха ойкнула. Сразу стало нечем дышать и словно огнем охватило, и так же быстро прошло. Горячие кирпичи мигом всосали пар. Александра нынче не заволакивалась заслонкой, сердце стало сдавать. Посидели. Из устья шел легкий воздух, и дышалось легко, тело же было все в банной истоме. Александра снова плеснула на кирпичи. Снова все мгновенно заволокло белым раскаленным паром. Снаружи на ухвате подали горшок с холодянкой. Сноха разбирала волосы. Александра, потыкавшись в ее скользкие ноги, нашарила кусок болгарского привозного мыла. В печной темноте, бабьей, нестыдной близости распаренных тел решила спросить о тайном: не понесла ли? (Ванятка плох, нать бы еще сына-то!) Сноха потупилась. Стесняется али уж и гребует, не хочет говорить... Александра вздохнула. У нее самой пятеро было сыновей! А нынче все врозь. И не соберешь. Василий – тот пьет без ума. Ее винит. А она что? Отец решил, бояре присудили... И Митя с Андрейкой все не ладят. Она уже стала забывать, как умела прикрикнуть на них на всех когда-то, как шлепала – скоро была на руку – и Андрея и Митю, как властно гоняла холопов и бояр. Под рукой у мужа и сама была госпожа... А теперь хотелось покоя. И боязно делалось, когда видела в детях черты покойного мужа. Только младший, Данилушка, смиренный. Обещали Москву, и ладно. Дитя еще! А дадут ли, нет – невесть! Деверь-то, поди, и не даст, кто другой бы!

Снова вздохнув, Александра заговорила о смерти юрьевского князя, Митрия Святославича. Старого Святослава обидели: владимирский стол и Суздаль отобрали у него Александр с Андреем. А Митрий Святославич того в сердце не держал, покойному друг был первый, и на похоронах Александра старался паче прочих.

Юрьевский князь помер нынче, канун Пасхи. Два года уже, как болел и потерял язык. А тут, при епископе Игнатии, посхимившись и получив причастие, обрел язык и выговорил: «Исполни Бог труд твой в Царствии Небесном, владыко! Се покрутил мя еси на долгий путь вечна воина истинному царю, Христу, Богу нашему!»

Александра умиленно, с удовольствием повторила слова покойного (смерть Дмитрия Святославича была еще новостью для всех, Александра узнала о ней первая, и то, что у постели умирающего сидели Мария Ростовская с младшим сыном Глебом и сам ростовский епископ Игнатий причащал юрьевского князя...)

– Святой он, матушка! – убежденно сказала сноха. – Мити-то, жаль, при нем не случилось! – добавила она в простоте.

Александра открыла было рот, поддакнуть, да и смолкла растерянно: «Чего ж это я? И верно: почто Мити-то не случилось? Ведь улестят, обадят ростовчане нового-то юрьевского князя!»

Приметив движение снохи, Александра разрешила:

– Лезай! Я еще посижу. (Беспреренно надо Мите сказать!) – Сын давно уже не советовался с матерью о своих делах. Она еще раз вздохнула. Уже не сиделось. Пора было и самой вылезать.

С трудом – две холопки и боярыня со сеней бережно поддерживали ее за рыхлые бока – Александра вылезла из печи. Опустилась на лавку. Холопки повязали голову княгини убрсом, без конца вытирали спину и грудь. Ее большое студенистое тело после бани стало жемчужно-розовым, тяжелое раздутое лицо – пунцовым. Сноха была уже в рубахе, сенная боярыня тоже, и заплетали просохшие волосы. Александра накинула сорочку, потребовала малинового квасу. Сорочка скоро промокла, принесли другую. Снова говорили про юрьевского князя, вздыхали, жалели. Пили квас и легкий, кисловато-хмельной мед.

Одеваясь, Александра не сняла с головы убруса, только сверху повязалась платом. Так, с пунцовым, обрамленным белым венчиком лицом, и вышла на улицу. После темной печи и полутемной поваренной избы весеннее солнце ослепило. Птичий щебет, близкий шум рыночной площади, голубизна, отраженная в лужах. Голубой, пронзительно свежий воздух разом наполнил грудь. Она шла по двору и радовалась. Дети были взрослые. Уладят уж как-нибудь! И с юрьевским князем, и промеж собой. Андрейка с Митей помирятся, Данилка получит Москву. Весна-то, Господи!

Радостно звонили колокола.

Глава 10

Данилка, вымытый и выруганный матерью, тем часом сидел в светелке и, от нечего делать, возился с двухлетним племянником Ваняткой, которого тоже только что вымыли и одели в чистую рубашонку. Ругала его мать за побег. Все утро Данилка, брошенный взрослыми, бродил по теремам, побывал в челядне, где девки, сидя у станов, ткали, с однообразным щелканьем нажимая на подножки и подбивая очередной ряд, и, перекидывая челноки вправо-влево, пели негромко, хором. Он походил между станов, посмотрел на натянутые полотна, выслушал умильные бабьи похвалы себе, соскучился и пошел в шорную. Здесь стоял густой кожаный дух, мастера-холопы, с подобранными под кожаный ремешок волосами, в фартуках, кроили, резали и шили, тут же наколачивали медные бляхи на сбрую, тут же что-то жгли, стоял гул и чад, и у Данилки скоро заболела голова. Он спустился во двор, обогнул терем и, как был, без шапки, вышел на Красную площадь перед собором.

Александр Невский отодвинул торг подальше от теремов. Не замеченный стражей, Данилка проскользнул мимо молодежной и вышел на улицу, всю в грязи и тающем снеге, по которой, чавкая, шли и ехали с торгового и на торговый. Одет он был просто, по-буднему, и никто не заметил княжича, когда он, замешавшись в толпу, принялся обходить лавки, вдыхая запахи торгового, зыря глазами по сторонам – столько всего тут было выставлено и нагорожено! Данилка начал прицениваться к товарам, выпрашивать купцов, которые снисходительно отвечали мальчику, а то и просто отмахивались от него; прищуриваясь, как взрослый, трогал поставы сукон, отколупывал и жевал воск...

На торгу его и нашел Гаврила Олексич, старый боярин отцов, и, посадив на коня, привез назад. Мать уже хватилась и, ругая девок и няньку на чем свет стоит, искала пропавшего своего младшенького по всему дому.

Данилка дулся. Не такой он маленький, чтобы его на торговый не пускать! Впрочем, племянник, который бормотал первые слова и смешно раскачивал головой, заставил Данилку забыть о дневной обиде.

– Чево у тя голова машется? Ну, чево? Молви! Ну! – говорил он, лежа перед племянником на персидском ковре и то протягивая, то убирая от него деревянного расписного коня, когда двери отворились и в светелку, пригнувшись у притолоки, вошел Дмитрий.

– Смотри, Митя, – закричал Данилка, радуясь брату. – Он уже держит, не роняет!

Дмитрий подхватил сына на руки, поднял, вглядываясь в большие, почему-то печальные глаза первенца, его слишком тонкую шею... Подумалось невольно: долго не проживет! И сам

испугался этой мысли. Охватила острая жалость к сыну, прижал к себе. Тот ручонками тотчас, молча, уцепился ему за шею, не выпуская деревянного коня, которым невольно давил Дмитрию ухо. Дмитрий покрутил головой, передвинул, стараясь не уронить, игрушку, потом, поискав глазами, уселся вместе с Ваняткой на расписной сундук, тоже восточной работы. Сына устроил на коленях.

«Наследник!» – чуть не сказал вслух.

– Митя, а... – Данилка застеснялся, стоя перед братом и любуясь им, потом все же спросил: – А тебя теперича позовут в Новгород князем?

Дмитрий усмехнулся, отвел глаза от его сияющего лица.

– Еще не созвали!

– А созовут, дядя Ярослав пустит тебя тогда?

Дмитрий серьезно взглянул на восьмилетнего братца: наслушался взрослых, что ли? Или подговорил кто? Этого вопроса он и самому себе старался не задавать.

– Мал еще! – хмурясь, отмолвил Дмитрий.

– Нет, ты скажи! – с детским упрямством, все так же восхищенно глядя на брата, повторил Данилка.

– Не знаю, Данил, – ответил Дмитрий и, не заметив сам, как с языка сорвалось, примолвил: – Может и не пустить.

– А что тогда? – не отставал Данилка.

– Много будешь знать, оstarеешь скоро! – решительно прервал разговор Дмитрий. – На вот! – подал он сына младшему брату, стряхивая с колен «божью росу». Вбежавшая мамка (проведала, что князь в светлице, сломя голову мчалась, скажут: дите бросила!) засутилась, подала князю плат, обтереться. Схватила ребенка, стала тискать без нужды. Ванятка заплакал.

– Сорочку смени! – сказал Дмитрий строго и вышел вон.

Данилка остался помогать мамке. У него в руках Ванятка тотчас перестал реветь. Сам Дмитрий не знал, что ему делать с сыном. Потому и заглядывал редко. Видел только, что слабый, больной, а нужен был воин, князь! Нужны были сыновья, много сыновей, чтобы не страшиться случайной беды, чтобы продолжили, когда придет час, дело отца и деда, дело собирания земли русской вокруг... Быть может, даже вокруг Переяславля!

Мысли – через жену и мать – перескочили к юрьевскому князю. Почему мать не могла вызнать, упредить заранее, гонца послать, наконец! Сидят, золотом вышивают... Не на добро обаживали юрьевского князя ростовчане, ой не на добро! Надо скакать к наследнику. Немедленно. Троюродный брат! Почтение оказать. Дороги развезло – все равно. Заодно узнаю, как и что. Юрьев нельзя уступать ростовчанам. Нельзя дать рассыпаться русской земле! Хорошо было Великому Всеволоду! И отцу хорошо... А у него ни власти, ни сил, ни денег!

Глава 11

Гаврило Олексич, великий боярин князя Дмитрия, отвезя пойманного княжича в терема, воротился к торгу. Старый боярин твердо сидел в седле, зорко, с высоты разглядывая запруженную народом площадь. Сын, Окинфий, и несколько человек дружины ехали следом. С утра он уже осмотрел ряды, где торговали сукном, холстом, рыбой, резной и глиняной посудой, кожами и многоразличным кожаным товаром. Мытник, отирая обильный пот, следовал за ним. Боярин сам проверял клейма, считал и писал что-то на воощаную табличку, которую, новгородским обычаем, всегда имел при себе. Доходы все падали и падали, и князь был недоволен. Будут тут доходы, когда по Волге пути нет! Персидского товара совсем не стало на торгу...

Перед ними теперь была конская ярмарка. Приподымаясь в стремянах, Гаврило Олексич вдруг ожег коня, конь прынул, веером взбрызнув снег.

– Держи! – крикнул боярин. Конные холопы кинулись впереимы и скоро привели беглеца с рыжим, золотистой масти, жеребцом, что злился и пробовал укусить.

– Так и есть. Без пятна! – ответил мытник, осмотрев коня. – Виноват, Гаврило Олексич!

– Ищю поищи! – строго молвил боярин. – Раззява! Неклейменных коней будешь в куплю пуцать, князя вконец разоришь!

– Как узнал, батя? – спросил Окинфий, подъезжая к отцу.

– Глаз надо иметь. Учись!

– Отколе сам? – спросил он продавца. Тот низил голову, зло озирался, мямлил. Гаврило Олексич вдруг, подняв плетъ и страшно вытаращив глаза, с размаху хлестнул задержанного так, что тот весь разом выгнулся и кровь брызнула у него поперек лица.

– С Рязани, с Рязани! – быстро забормотал он, пуча испуганные глаза на боярина.

Гаврило Олексич, уже вновь спокойный – будто и не он бил вора, – глядел на него с седла.

– Краденый конь! – отмолвил он и кивнул мытнику: – Клейма зарощены! Не туда смотришь. Вона, гляди! – ткнул концом плети, подъехав вплоть к золотистому коню. – Пото и продает украдом.

Продавец коня заторопился, с сильным рязанским яканьем стал объяснять боярину, что конь не краден, а взят в бою, и тому есть послух у него здесь же, в Переяславле, тоже рязанец...

– Ладно. Мне не первый снег на голову пал! – оборвал его боярин. – А за пятно почто не платил?

– Побоялся... – потупив голову, признался продавец коня.

– Сведи! – бросил Гаврило мытнику, к которому уже подоспели двое стражей. – Коли не брешет, не продаст его послух тот, пуцай платит за пятно да меню, а коня – продает!

Огорошив рязанца неожиданной милостью, боярин отъехал.

– Они все там, на Рязани, воры да буяны. Думают татар перешибить... Татар не перешибешь! Прилаживаться нужно. Ну и зорят ихнюю волость кажен год. Татары их грабят, а они – сами себя! – сказал Гаврило Олексич негромко, оборотясь к сыну. Про татар громко не говорили вообще. – Я бы и отобрал коня, да начни тут... Торг закрывать придется! – прибавил он, помолчав. – А там с бою ли взят... Кто его с бою брал? Видать, что краденый! Добро, хоть не в нашем княжестве!

– Не оголодал? – спросил он сына, помолчав.

– Не!

– Съездить надоть за Клещин-городок. Тамо наши ратные на селе... Вдовы есь. Уведать надобно. Князь наказал. Может – помочь нужна. Коли не оголодал, терпи, тамо и поснидаем с тобой.

У златокузнечных лавок боярин придержал коня. Решил побаловать сына, а заодно и поучить.

– На-ко вот! – Он запустил руку в кожаный кошель. – Высмотри сам, чего тебе любо будет!

Окинфий радостно прыгнул с коня. Миновал две-три лавки. Наконец задержался у одной. Серебряные наборные пояса, чары, нательные кресты, изузоренная серебром сбруя – тут, кажись, стоило поглядеть. Сиделец переводил острый взгляд с Окинфия на Гаврилу Олексича, что, сидя на коне, в отдалении, толковал о чем-то с остолпившими его гостями-суконниками.

Окинф перебрал товар, и радостное возбуждение от вида разложенных сокровищ померкло. Колты и серьги были грубы, зернь никуда не годилась, а подчас вместо зерни было простое литье по старым оттискам. Сканной работы не было, почитай, совсем. Он уже лениво перебирал серебряные крестики, изредка задерживая взгляд на черненном створчатом энколпионе или цепочке граненого серебра, но и то не годилось. Купишь, а опосле батюшка засмеет!

– Доброй работы нету ли?

Сиделец подумал, поглядел по сторонам, потом нагнулся, повозился, посопев, под прилавком, вытащил откуда-то сверточек и, оглянувшись опасливо, начал разворачивать: первую тряпицу, вторую, третью. Наконец что-то проблеснуло.

– Ты мне словно крадено даешь! – пошутил Окинфий.

– Не крадено, а не всем кажу! – возразил купец.

Еще раз зорко оглядев боярина, сиделец выложил перед ним небольшой темно-красного камня крестик, оправленный в золото. Окинфий недоверчиво подержал крестик в ладони, перевернул. Вгляделся. Крупного чекана оправа с толстою перевитью (сперва показалась даже грубой) обличала, однако, руку опытного и зрелого мастера. Тончайший узор по краю, сотканный словно из паутины, чего Окинф и не заметил вначале, дал ему понять, что мастер был далеко не прост.

– Тех еще мастеров! – ответил сиделец на немой вопрос Окинфия. – До разоренья до етово делано, до етих! – Он кивнул головой куда-то вбок, что на всем понятном языке намеков означало: терем ордынского баскака на княжом дворе. – Киевска альбо рязанска.

– Теперича в Рязани энтого не найти! – молвил Окинфий.

– Куда! – Сиделец даже рукой махнул. – Ты бывал ли в Рязани ноне?! – И опять безнадежно махнул рукой.

– Во Владимире и то извелись мастера! – прибавил он погодя, пожевав губами. – И в Ростове, и в Суздале... Всюду извелись. Есь ли еще в Новгороде Великом?! Я старой человек, а ты молод еще, боярин, дак не поверишь, иногда стыдно торговать, пра-слово! Тридцать годов всего и прошло-то, которы и старики живы еще, не уведены в полон, а не работают больше-то! Серебра, бают, того нет, ни золота чистого, ни камней, да и бояться! Чуть что – к баскаку: где взял? Товар отымут и самого уведут...

– Ну, сколь просишь? – прервал его Окинфий.

Старик закрихтел, забрал крестик, подержал его задумчиво, сжал ладонь и, жестко глядя в глаза Окинфию, назвал цену. Начали торговаться...

Уже засовывая крестик за пазуху, Окинфий все думал: не много ли стянул с него купец? Но отец, лишь глянув, одобрил куплю, прибавив:

– Старая работа!

– Старая, – подтвердил Окинфий.

– Видать. Тута, почитай, мастера были лучше, чем в Нове Городе! Поуводили всех... Кого азиятцам попродали, кого в Сибирь, в степи, к кагану, да в ентот, в Китай...

Последние домишки Переяславля остались позади. Холопы отстали. Отец с сыном ехали горой, и озеро, большое, готовое тронуться, широко простерлось перед ними.

– Глянь, батя! Лед уже засинел! Дивно!

– Ты ищо Ладоги не зрел, Окинфий... – отмолвил, усмехнувшись, отец. – Тамо глядишь, и земли не видать! Во весь окоем вода!

– Страшно, чай?

– Не!

Отец молодого глянул на сына:

– Просторно! А нужен человеку простор! Хоть бы и в чем. И жисть, она... Нету простору у нас. То ли при Олександри было! Князь молодой и хорош, а когды великим князем станет, и станет ли еще?! Мыслью, маленько прогадал я тогды! С Ярославом бы нать! Счас не по такому торгу ездили!

Сын молчал, смущенный неожиданною речью отца. После Новгорода (они оба были на рати под Раковором) и ему тесен казался Переяславль.

– Волга, бают, тронулась... – нерешительно произнес он, глядя вдаль, туда, где за синими лесами, за волжской Нерлью текла, ломая лед, великая река.

– Волга завсегда поране, чем здесь, – ответил отец, – вода текучая... Мельницу глядел? – круто перевел он речь.

– Глядел! – встрепенувшись, отозвался сын, не сразу сообразив, что отец спрашивает о вотчинной мельнице, что вот уже который год все больше и больше требовала починки.

– Совсем прохудилась. Летом новую ставить нать! – бросил отец. И погода вздохнул: – Да, от земли просто не уедешь!

Окинфий же всю дорогу вновь и вновь ворочал в голове родительевы слова. Служили отцу, служим сыну. Редко кто, и то из крайней нужды, бежит от князя своего! Это он знал. Это знал всякий. На том держались и честь рода, и место в думе княжой, и чины, и служба по чинам. Спроста ли отец молвил таковые слова? Они побывали в Криушкине и в Княжеве. Обедали, как потом узнал Федя, у дяди Прохора, и боярин совсем не чинился, ел, что и все.

– Простой, простой! – с восторгом сказывали ребята. – А важный какой! Ух!

К ним в избу боярин заглянул тоже. Пролез в дверь медведем. Шуба, каких близко Федя еще не видал, волочилась по полу, прорезные рукава тяжело свисали сзади. Мать засуетилась сперва, потом опомнилась, чинно поклонилась, сложив на груди руки, извинилась, что в затрапезе. От угощения боярин отказался.

– Не обидьте, Гаврило Олексич! – говорила мать, поднося чары с береженным для редких гостей медом.

Боярин улыбнулся, снял шапку, пригубил.

– Не забыла? Оксинья? Нет, Вера?! Ну, за хозяйку, Веру, за веру нашу православную, за чад твоих!

– Ну-ко, молодцы, подойди близь!

Щурясь, он осмотрел Грикшу с Федей с ног до головы, спросил:

– Грамотны?

Мать замялась несколько, дядя Прохор, вошедший следом, подсказал:

– Учатся!

Боярин глянул на дядю Прохора скользом, на мать – внимательно, сказал:

– Грамота – тот же хлеб. Ты их учи, мать. Вырастут, спасибо скажут.

Уже на улице, в седлах, когда выехали со двора, Окинфий решился молвить:

– Добрые ребята!

– Добры! – задумчиво возразил отец. – Не запускает. А учить бросила. В мужики готовит. Малы еще! Старшему, сказывали, двенадцатый год всего. Наделок им сократить надоть, хоть и жаль. Все одно без отца всей пашни им ноне никак не обиходить... Разве мир поможет!

Снова перед ними открылось озеро, на котором уже появились разводья и полыньи. Ехали шагом.

– Ты думаешь, батька твой князю изменить затеял? – негромко сказал Гаврило, не поворачивая головы. Окинфий вздрогнул, едва не выронив повод.

– Мы вон с Олфером Жеребцом были вместе! А теперича он у Андрея, под меня копает, а я здесь! И князья наши не ладят! Коли и умрет Ярослав и Василий Костромской отречется даже, и то: кто из них получит великое княжение?

Гаврило Олексич помолчал и добавил, вздохнув:

– Сумеем мы с тобою посадить Митрия Лексаныча на владимирский стол, самим тоже быть наверху. Только одно дело, как мы решим, а другое – как татары захотят!

Он подобрал поводья, и конь пошел резвее. Уже переходя на рысь, Гаврило бросил сыну через плечо:

– А земля, она держит! Сидишь тут, словно кобель на цепи...

Глава 12

Андрею, младшему брату Дмитрия Переяславского, когда умер отец, шел четырнадцатый. На пятнадцатом году, после смерти дяди Андрея, он получил Городец, сделавшийся его стольным городом, и в придачу Нижний Новгород, отобранные дядей Ярославом у суздальских князей: вдовы и малолетних сыновей покойного Андрея.

Опеку сына Александр Невский, уезжая в Орду, поручил Олферу Жеребцу, одному из своих старших бояр, перебравшихся на Низ вслед за великим князем. В год смерти Невского Олферу немного перевалило за тридцать. Он был высок, широк в плечах, крупноскул и черен, с мощными ладонями длинных бугристых рук. И видом и статью Олфер как нельзя лучше оправдывал свое родовое прозвище. Он ржал, как конь, был грозен в бою и, случалось, ударом кулака валил рослых мужиков в новгородских уличных сшибках. Олфер и сына своего Ивана (младенец был веской, как говорили бабы, и при рождении чуть не стоил жизни матери) нарек Жеребцом, когда малыш однажды в руках у отца потужился и громко «треснул», аж на всю горницу.

– Ну, – расхохотался Олфер, – весь в меня! Тоже добер конь растет, жеребец!

И так и пошло: сына в отца стали звать Жеребцом и в глаза и позаочью.

В Городец они приехали вместе с Андреем. Дмитрий неволею отпустил Олфера, который не ладил с Гаврилой Олексичем, и свары их, при живом Александре сдерживаемые властной великокняжеской дланью, грозили уже возмутить весь Переяславль. Олфер увозил жену с малолетним сынишкой, увозил порты, рухлядь, брони и оружие, гнал коней и коров, уводил холопов и дружину. Ему было легко. Он еще не сел на землю так плотно, как другие, все жил по старине, кормясь от князя, доходами с волостей, что держал как кормленник, собирая оброки и дани. Дом, покинутый в Новгороде, мало заботил его, а переяславские свои хоромы он и вовсе бросил без сожаления. Понимал, что Гаврилу Олексича ему не осилить. При последнем свидании с ним, отводя глаза, пообещал:

– Может, и сквитаемся когда, Олексич!

– Может, и сквитаемся, Олфер! – ответил Гаврило, и только и было меж ними всех сказанных слов.

В думе Дмитрия, когда Жеребец покинул Переяславль, вздохнули свободней.

Пятнадцатилетний городецкий князь был влюблен в своего боярина. Рослый, как все Ярославичи, угловатый и нервно-порывистый, с широко расставленными глазами и ярко вспыхивающим румянцем на худых, одетых первым пухом щеках, Андрей в Жеребце видел образец мужа и воина, первый после покойного отца. Когда Олфер поворачивал к нему красное, одетое черной бородой лицо и, щурясь, сверкал белками глаз или, снисходительно хваля за лихую езду, показывал в улыбке крупные белые зубы, Андрей был вне себя от счастья. Сам не замечая, юный князь старался с тою же ленивой небрежностью сидеть в седле, так же полунасмешливо говорить с дружинниками (у него, впрочем, получалось не так – резче и грубей), так же, спросив о чем ни то встречного мужика, глядеть через голову смерда и отъезжать, едва кивнув и не взглянув в лицо. Он и улыбаться старался широко и презрительно-насмешливо, как Жеребец, и узить глаза в гневе, подобно Олферу, чего у Андрея, впрочем, тоже не получалось.

И по роду, и по месту у покойного Александра, и по дружбе с юным Андреем Жеребец сразу занял среди городецких бояр первое место. Тем паче что Андрей поручил ему должность тысяцкого. Схлестнуться Жеребцу пришлось только с Давыдом Явидовичем, который по богатству, и по чести, и по роду превосходил Жеребца, да, сверх того, был посажен в Городец вдовою Невского, «отдан» Андрею, с чем, при живой Александре, приходилось считаться волей-неволею.

Давыд Явидович был старше Жеребца лет на семь. Когда Андрей сел на княжение, ему уже подходило к сорока. Он был умен и осторожен, но далеко не робок. Умел, ежели надо, показать себя и на коне, в соколиной охоте, и перед дружиною, в броне и шишаке. Но всего внушительней и казался и был он в княжеской думе, в дорогах, веницейского бархата, портах, в соболином опашне, с золотою цепью и сверкающими перстнями на пальцах, свободно и прямо восседая и недвижно сложив руки на наверху трости, резным рыбьим зубом изукрашенной; он казался и ростом больше, и слово его, весомо и вовремя изреченное, почасту одолевало Жеребцово, приводя последнего в бешенство, от коего Жеребец совсем терял власть над собой.

В Городец Давыд Явидович перебрался почти одновременно с Жеребцом. Тогда еще был жив старый Явид (он умер года четыре спустя во Владимире), служивший Невскому, а потом его вдове, и Александра, чувствуя себя виноватой, что почти бросила среднего сына (она, и верно, лишь изредка навещалась в Городец), упростила старого боярина приглядеть за «Андрейкой»:

– Нетерпеливый он, нравный! Олферка-то, чать, и не удовлетит ему! Ты уж послужил бы Андриюше, Явидушко!

Явид кряхтел, кланялся, жаловался на болезнь, на годы. В Городец послал сына, Давыда, сам обещал почасту навещать молодого князя.

Села у них были под Владимиром и на Волге, невдали от Нижнего. Александра еще придала Давыду большую волость под самым Городцом, выкупив ее у вдовы Андрея Ярославича. Давыд устраивался прочно. Сам прикупал земли, строился, снаряжал лоды с товаром. Двор поставил на крутояре над Волгой, с высокою повалушей, со многими горницами, что топились по-белому, с обширными сенями на столбах, для пиров и званых приемов, с тесаными потолками в покаях и галереей, что опоясывала дом по верхнему покою и словно висела в воздухе. Из окошек, забранных слюдою, а кое-где привозным стеклом, далеко виднелись заволжские дали. И бегущая масса воды, то темно-синяя, то серая, то кованная серебром, далеко уходила в зеленые просторы, лелея на себе лоды и насады, купеческие крутобокие учаны и паузки с товаром, сплоченный лес и рыбацкие, черные, под холстинными парусами челны.

Среди городецких бояр Давыд Явидович тоже был свой, не то что Жеребец. У него тут имелись и раньше угоды и земли, его знали и уважали задолго до переезда в Городец. В спорах и на суде чести перед боярскою думою, да еще при поддержке Александры, Давыд Явидович мог, пожалуй, и одолеть Жеребца, во всяком случае, сильно повредить ему перед молодым князем. Но как-то раз, внимательно посмотрев на Андрея, Давыд задумался и начал незаметно все более уступать Жеребцу. Все чаще соглашался с ним в думных делах, перестал обижаться, когда Жеребец лез не в очередь, заговаривал с ним без прежней злобы, и Олфер тоже помягчел к Давыду, не очень задумываясь над причинами уступчивости недавнего своего супротивника.

Однако Давыд все это делал – и уступал, и сближался с Олфером – неспроста. Князь рос, а у Давыда Явидовича росли дочери. И тут надо было очень и очень не ошибиться: настроить старика отца, а через него расположить Александру, да и самого Андрея незаметно приохотить к дому. В этом случае соперничество с Олфером было вовсе ни к чему и могло испортить весь замысел.

К тому часу, когда у Давыда умер отец, дело настолько продвинулось, что даже смерть Явида не могла уже нарушить задуманного. Юный князь всею молодой кровью прикипел к Давыдовым высоким хоромам, вспыхивал и бледнел при виде девушки, что унаследовала легкую походку матери и соколиную статью и выписные брови отца (Давыду было чем прельстить Александрова сына!), а дома, в постели, метался в жару, уже морщась, с юным отвращением, поминал ласки охочих женок, которых ему ненароком подсылал или приводил Жеребец, понимая, с болью и томлением тела, что нужно только ее, ее одну, и никого больше, и нужно до того, что уже казалось: привели бы ее в изложницу, и страшно станет, не смог бы даже прикоснуться рукой – как к чуду, как к диву дивному, как в птице Сирина, птице райской...

Давыд Явидович уже и с великою княгиней говорил, прозрачно обинуясь, и дочь показывал Александре. Довольный, после посещений Андрея, заходил в светелку к Феодоре, глядел, усмехаясь, как та, стараясь не замечать отца, прикусив губу и темнея взором, смотрится в серебряное зеркало; подходил, оглаживал своенравно выгибавшуюся станом девушку, спрашивал:

– По нраву князь?

– Ах, батюшка, уйди! Устала я! – отвечала она, полужакрыв глаза и запрокидывая голову с тяжелой светло-русою косою. И отец выходил, все так же посмеиваясь. Дело и тут было на мази. Оставалось начистоту поговорить с Жеребцом (Олфера требовалось сделать своим ходатаем в деле) и добиться, чтобы князь Андрей сам, первый, а лучше – вкуче с Олфером, попросил у матери согласия на брак.

Жеребцу накануне разговора он подарил новгородского терского сокола редкой красоты, выученного и на боровую и на полевую дичь, а незадолго до того восточную, дамасской работы, саблю и надеялся на успех.

Они ехали по-над Волгой, опередив слуг, и Жеребец первый начал разговор:

– Окрутить парня хошь?

– Любят друг друга! – осторожно ответил Давыд, не любивший прямых подходов.

– Башку ты ему закрутил девкой, это верно! – отозвался Жеребец, показывая зубы и сплевывая.

«Не смеется ли?» – беспокойно подумал Давыд. Молниеносно приподняв бровь, окинул Жеребца, его черную бороду, сощуренные глаза: нет, Олфер не смеялся, думал. Давыд заговорил откровеннее. С недомолвками и оговорками, то и дело быстрыми боковыми взглядами проверяя – не стоит ли прекратить и все свести к шутке, Давыд предложил Олферу поделить власть так, чтобы Олфер взял на себя все дела ратные, а он, Давыд, станет думным советчиком князя. Вдвоем они добудут Андрею владимирский стол и себе первые места в думе великокняжеской.

– Далеко глядишь! – задумчиво, без обычной усмешливости, отозвался Жеребец. – Я думал, ты дале, как девку Андрею в постель сунуть, и не мыслишь, а ты вона куда метнул! Да не осилить нам с тобою! Тверичи, костромичи, переяславцы, сколь их?! Да еще ростовчане вешаются, того гляди!

– Ростовчане не полезут. В Новгороде затевают мятеж противу Ярослава. А ежели Ярослав не усидит, Василий Костромской сцепится с Дмитрием. Они сами себя осилят! – возразил Давыд, и Жеребец внимательней, чем раньше, обозрел своего спутника.

– Сами себя?

– А иначе нам с тобою и ждать нечего! Ярославу сорок лет, Василию тридцать три, Дмитрию едва за двадцать перевалило... По лествичному счету когда еще черед до Андрея дойдет, да и дойдет ли!

– А нашего Андрея, – прибавил он, помолчав, – надо с Семеном Тонильичем, князь Василья воеводой, свести. Тот его разожжет, лучше не нать! И самого Семена на нашу сторону перетянуть не грех. Он роду высокого, старых владимирских великих бояр...

– Чего от меня хошь?! – сурово спросил Олфер.

– Дак без твоей помочи их, молодых-то, и оженить некак! – простодушно отозвался Давыд.

Жеребец вновь расхмылился, блеснув белыми крепкими зубами:

– Лады! Оженим молодца! Так и эдак пора ему в бабий хомут!

В себя Жеребец верил. Давыду без него было и впрямь не обойтись.

Глава 13

Свадьбе Андрея воспротивился было Дмитрий, от чего, однако, упрямство и страсть Андрея лишь разгорелись еще сильнее. Сваты и он сам, наученный Жеребцом, указывали на пример Ярослава, молодая жена которого, даром что боярышня, уже показывала в Твери истинно княжеский нрав. Давыд Явидович сумел обадить и улестить Александру, и Дмитрий махнул рукой. Своих забот хватало. Новгород позвал его воеводой, и Дмитрий с дружиной отправился на войну.

Свадьбу справили в Городце без особого шума и без больших гостей. В досаду отсутствующему Дмитрию Андрей пригласил старшего брата, Василия, что жил у дяди Василия Ярославича на Костроме. Были также стародубский князь Михаил, Федор Ростиславич Ярославский, а дядя Василий Костромской со свадебными поминками послал воеводу Семена Тонильевича.

Семен подолгу беседовал с Давыдом и Жеребцом, внимательно приглядывался к молодому Городецкому князю. У Василия Ярославича наследников не было, и костромские бояре нет-нет да и задумывались о будущем. Впрочем, младший брат Невского был еще не стар, наследники могли и появиться.

Андрей к девятнадцати годам выровнялся. Еще раздался в плечах. Юношеская нескладность ушла. В порывистых движениях, резком повороте головы, широких, легко сходящихся над переносом в гневную складку бровях начал проглядывать характер. Он уже не смотрел так замороженно в рот Жеребцу. В думе, закусив нижнюю губу и пристально глядя на говоривших, что-то решал сам и иногда, сбивая бояр с толку, вдруг резко отвергал всеми принятое или так же резко требовал иного решения.

У Андрея до свадьбы не было времени толком поговорить с Семеном Тонильевичем, чего так хотели Давыд с Жеребцом. Голова кружилась от вина, музыки, шума, томительного ожидания первой супружеской ночи. Вперекор всем обычаям и порядкам он приехал накануне к Давыду один, без слуг и провожатых. Бросив коня на заднем дворе, прошел, минуя столовую палату, прямо на женскую половину хором. Пихнув растерявшуюся мамку, потребовал:

– Вызови!

И когда Феодора, легкими ногами простучав по лестнице, растерянная и рассерженная сбежала к нему на галерею, Андрей, не слушая и не понимая ничего, подхватил девушку, поднял, прижав грудью к своему лицу, одолевая царапающие руки и горячий злой шепот:

– Завтра, завтра же, Господи! Сором, увидят...

Чуть было не понес наверх, опомнился. Подержал еще, стиснув, слушая и не слушая судорожные укоры, всхлипы и жесткие толчки маленьких девичьих рук. Ковшом холодной воды плеснула мысль, что брак – это не только и не столько то, чего добивался он и чего страстно хотел теперь, а и что-то другое, трудное и сложное, и, быть может, не всегда радостное, к чему он совсем не готов и о чем не задумался до сих пор ни на мгновение... И от этой холодной мысли сами разжались руки, и он почти враждебно посмотрел сверху вниз в ее выписные, с капельками злых слез, глаза, увидел обиду и ярость и, совсем отрезвев, отступил на шаг, а она потупила очи, исподлобья, все еще сердито, взглядывая на князя, и вдруг, почуяв, верно, его досаду, жалобно приоткрыла коралловый рот, беззащитно уронила руки, постояв так мгновение, повела закинутой головой в жемчужном очелье, потянулась к нему, легко переступив, коснулась чуть влажными тонкими пальцами в серебряных перстнях его щеки, прошептала:

– Ведь завтра, завтра же, милый!

И, увернувшись от ринувшегося было к ней Андрея, которому кровь снова мгновенно ударила в голову, исчезла. Только плеснул по воздуху голубой шелковый подол да стремительно протоптали по лестнице легкие алые выступки.

Давыд Явидович, что давно уже стоял за дверью галереи, ловя миг, когда надо будет войти, отвалился к стене, облегченно перекрестившись, когда малиновые каблуки зеленых востроносых новгородских сапог молодого князя с грохотом просыпались вниз по ступеням. Андрей, никого и ничего больше не видя, выбежал на двор, пал на коня.

Все, включая венчание в храме и бешеную езду на ковровых расписных санях, Андрей почти не помнил. Где-то пели, где-то толпились и поздравляли, еще прежде мать благословляла его старинной иконой и, благословляя, некрасиво плакала. Немного пришел в себя он, уже только когда приехали от венца, за большим столом.

Феодора в венчальном уборе, в белой шелковой фате, в саяне из серебряной парчи, с серебряными же, сканного дела, пуговицами прежней владимирской работы, в сплошь затканном розовым новгородским жемчугом уборе, с тончайшими, тихо звеневшими золотыми подвесками в волосах и большими, старинными, тоже золотыми колтами над ушами, в которых переливались драгоценные аравитские благовония, была чудно хороша. Глаза ее под выписными бровями сияли, как яхонты, и длинные ресницы, от которых тень падала на матовые щеки, слегка вздрагивали, когда она взглядывала на Андрея восторженным и гордым взглядом.

Пировали на снях княжеского дворца. На улице стоял мороз, и в просторной, без печей, с широкими окнами палате поначалу пар подымался от дыхания гостей, что в шубах и шапках, опашнях, душегреях, вотолах собрались за столом. Постепенно, однако, палата нагревалась от множества собравшихся, да и стоялый мед и красное фряжское, вперемежку с огненной ухой, мясом и дичью, что еще дымились и шипели, доставленные прямо из поварни, делали свое дело. Шубы и опашни расстегивались, сдвигались, а то и сбрасывались шапки, платы боярынь опускались на плечи. Александра, красная, решительно распахнула свой бобровый коротель. Свадебные песни сменились плясовыми, и вместо молодки, что с деревянной тарелью обходила, кланяясь, гостей после каждого очередного величания, в палате явились скоморохи и лихо забренчали и загудели в свои гудки, сопели, домры и балалайки. Крики и здравицы потрясали хоромы, и уже Жеребец, сверкая зубами в черной бороде, выпутался из лавок и столов и пошел вдоль палаты плясом, раскинув длинные руки, озорно и свирепо поводя белками налитых хмелем глаз, и уже обнимались и хлопали друг друга по плечам и спине за столами, и уже иной гость с отуманенным взором съезжал с лавки, пьяно икая, когда Андрей, у которого закружилась голова, покинув новобрачную, вышел из палаты.

Сени с хоромами и теремом соединялись крытым висячим переходом. И тут, на переходе, возвращаясь в сени, Андрей столкнулся со старшим братом, что тоже выбрался из-за стола прохладиться и был, как понял Андрей, уже совершенно пьян. С хмельным упрямством он уцепился за Андрея:

– погоди! Пстой! Гребуешь мной? И ты тоже гребуешь, и мать... Думаешь, пьян? Да, пьян! Пьян!

Он сгреб Андрея за грудь с неожиданной дикою силой, притянул к себе и, жутко и жалобно заглядывая в глаза, выдохнул:

– Ты почто меня пригласил? Думаешь Митьке налить етим? А он на тебя с...! Я труп! От меня смердит! – крикнул он, дыша перегаром в лицо Андрею. – И ты труп, и он! Батя, думаешь, проклял меня одного? Он всех нас проклял! Он вверх нож в ны! – горячно бормотал Василий, сведенными судорогой пальцами сжимая Андрееву грудь. – В нас теперя правды нет, мы – для себя самих! Мы будем резать брат брата, как Каин Авеля. Мы сами себя зарежем!

Андрей вырвал наконец, мало не порвав, бархатный зипун из скрюченных пальцев Василия и оттолкнул брата. Тот качнулся к стене и, видя, что Андрей уходит, бросил ему вслед:

– Митьки берегись! Он больше тебя похож на батю! Хочешь власти под ним – бери Новгород!

Андрей обернулся, сжав кулаки.

– Ты тут с бабой... – глумливо продолжал Василий.

– И с тобой! – гадливо скривясь, оборвал Андрей.

Василий скверно захихикал:

– С бабой и со мной! Вот именно, с бабой и со мной! А он там – стратилат! – Василий шутовски поднял растопыренные ладони. – Он ратью правит! – крикнул Василий вослед уходящему Андрею и сгорбился, цепляясь за оконный косяк.

Отвращение, жалость к погибшему брату и смутный ужас чувствовал Андрей, пробираясь на свое место в красном углу, и опомнился, лишь когда Феодора сжала ему руку своими прохладными пальцами и, тревожно заглядывая в глаза, тихо проговорила:

– Ты что, Андрюша? Осердил ли кто? Светлый мой!

Он даже не сразу понял, что она впервые сейчас назвала его домашним детским именем...

Ночь прошла нелепо и жалко. Ни восторга, ни гордости не испытал он от закушенных губ и сдавленных стонов девушки. И только утром, когда в стену холодной изложницы гулко ударили глиняные горшки и раздались зычный глас Жеребца и веселые выкрики дружек, а сваха гордо понесла казать гостям замаранную сорочку новобрачной, и Андрей, заскрипев зубами, уткнулся лицом в перину, Феодора, уже переодетая, подошла, уселась рядом с ним на постель и, бережно проведя по щеке влажными пальчиками, вдруг ткнулась лицом в разметанные кудри Андрея и задышала, заплакала, жаркими слезами поливая затылок супруга. Андрей перевернулся в постели и, увидев ясные и какие-то новые, смягченные ее глаза, привлек молодую жену лицом к своей груди, и так они и сидели молча несколько мгновений, пока нетерпеливые крики дружины за стеной не заставили их подняться и выйти к гостям. Только тут и почуялось, пожалуй, обоими, что это их первая брачная ночь.

Олфер, приглядевшись к молодому со своим обычным усмешливым прищуром, позже, наедине, проронил:

– Не горюй! Гляди кречетом! Девка не баба, ее когда ищо приохотишь...

И тотчас, не давая Андрею вскипеть, перевел речь на другое:

– Ты с Семеном баял? Повидь! Не то уедет, а мужик крутой! Он и в Литве и в Орде бывал, людей повидал, толмачит по-всякому. При батюшке твоём высоко взлетел, да не усидел... А все ж у Василья нынче главным воеводой!

Глава 14

Путного разговора у Андрея с Семеном Тонильевичем не вышло, однако, и на этот раз. Семен оказался ему не по зубам. Андрей стеснялся, дичился, сидел, напряженно выпрямившись, и не мог позволить себе, как в дружеских беседах с Жеребцом, ни расслабиться, ни повести плечми, ни начать расхаживать по палате. Почему-то упорно припоминалось, что перед ним человек, помнящий пиры и приемы Юрия. Меж тем Семен держался легко, с непринужденной почтительностью, мягкостью движений напоминая большого пардуса.

«Не смеется ли он надо мной?» – беспокойно думал Андрей.

Возраст Семена был так же трудно уловим, как и его душа. В холеном, ладно скроенном теле еще не чуялось ни лишнего жира, ни старческой грузности. Седина почти не угадывалась ни в светлых волосах, ни в золотистой, красиво подстриженной бороде. Гладкое лицо молодил легкий ровный загар, не сошедший за зиму. Лишь мелкие морщинки в наружных уголках глаз не давали слишком ошибиться. Да, этому человеку, который равно разбирался в тонкостях соколиной охоты и византийского украшенного энкомия, было уже немало лет! (Много за сорок, как докладывали Андрею.)

– Я знал вашего батюшку! – сказал он Андрею еще при первой встрече, и непонятно было, то ли «вы» – знак византийской церемонной вежливости перед князем, то ли это намек

на всех них, детей Александра, вкупе. На миг ему показалось даже, что Семен в чем-то уравнил себя с покойным отцом, от чего вся кровь тотчас ударила Андрею в голову...

Досадуя на себя, Андрей не мог все же побороть жадного интереса к тому, что знал Семен Тонильевич об его отце, о сложных и малоизвестных Андреем отношениях Александра с Ордою и Западом. Семен рассказывал, не досказывая, подчас намеками, смысл которых ускользал от Андрея, но ему было стыдно переспросить. «Из-за чего он поссорился с отцом?» – гадал Андрей, но так и не решился спросить.

Семен Тонильевич принадлежал к роду старых владимирских великих бояр, выходцев из Киева, из которых мало кто остался в живых. Чудом спасся во время Батыева погрома; на Сити потерял отца и братьев: сумел подняться и опять чуть не погиб, но вовремя изменил Андреем Ярославичу; долго был в Орде, где научился бегло говорить по-татарски и по-персидски; из-за чего в последние годы поссорился с Александром и снова чуть не погиб; во время Неврюевой рати потерял первую семью; в Орде женился на татарке, которая умерла, оставив ему сына; был послом в Литве и в землях Ливонского ордена; хорошо знал латынь и греческий; мог, не задумываясь, перечислить всех византийских императоров, начиная с божественного Константина и до Юстиниана, и от Юстиниана до последних Палеологов. Он действительно помнил от детских лет пышный двор и торжественные приемы Юрия Владимирского, красно украшенные проповеди тогдашних иерархов церкви; ценил прозрачное плетение словес Кирилла Туровского и соколиную охоту, секретами которой овладел в Сарае; был знатоком восточных булатных клинков, набор которых также вывез из Орды. Среди знатной боярской молодежи Костромы Семен Тонильевич был жестоким идиолом и пользовался славой великого воина, хотя не выиграл (но и не проиграл) ни одного настоящего сражения.

Андрея Городецкого Семен, приглядываясь к нему на свадьбе, а особенно теперь, во время беседы, постиг вполне.

– Молод, а порода видна! – сказал он Олферу Жеребцу, а для себя самого заключил: – Горд и до власти жаден. Может, расшибется, как молодой сокол, но может и воспарить... При умном наставнике... Если я этого захочу! (Захочет ли он – Семен сам про себя, однако, еще не решил.)

Давыд с Жеребцом, как говорится, взяли Семена за бока. Однако на все их подходы и приступы он отмалчивался или переводил речь, соскальзывая на пустяки. В последний день они сидели у Давыда втроем и пили, отослав слуг. Жеребец, багровый от вина, раздраженный Семеновыми недомолвками, пошел напрямую. Не слыша остерегающих покашливаний Давыда, он выложил разом все, что надумали они вдвоем: и о владимирском столе, и о власти, и о том, чтобы объединить страну отсюда, из Городца. Семен, поморщиваясь, откидывался на скамье, тряс головой:

– Ну и переобуетесь из сапогов в лапти! Это же смешно! Что ваш Городец с мерей с этою, с мордвой толстопятой... Ну и торговля ваша туды ж, и Нижний! Одного татарского тумена хватит, чтобы здесь остались одни головни от всей вашей торговли! Сколько ты, Олфер, сможешь выставить ратных?! – Он насмешливо и высокомерно приподнял брови. – Ну, чего ж баять попусту?! Сейчас, ежели собрать в один кулак Владимир, Суздаль, Ростов, Переяславль, Тверь, Новгород да Смоленск с Рязанью... И то не хватит! А кто соберет? Ярослав?! Ему одного Нова Города не собрать!

– Ну и не Василий твой тоже! – вскипел Жеребец. – Недаром квашней прозвали!

Семен пристально поглядел ему в глаза, задержав взгляд. Олфер потупился.

– Налей меду, – спокойно сказал Семен. Жеребец послушно поднял кованый кувшин.

Давыд Явидович, пошевелившись, тихо выронил:

– Выходит, кроме татарского царя и силы нет на Руси?

– Вместо Золотой Руси – Великая Татария! – мрачно прибавил Жеребец.

Семен потянулся ленивым кошачьим движением, закинул руки за спину, поглядел вверх.

– Ты знаешь Восток, Олфер? Эти тысячи попроще пути... Глиняные города... Жара... Бирюзовое небо... Курганы... Ты думал, Олфер, что такое Орда?! Та же мордва, черемисы, болгары, буртасы, татары, аланы, половцы, кыргызы, ойраты – кого там только нет! Бесермен полным-полно. Но все – в кулаке!

Восток безмерен. Он бесконечен, как песок.

Ты знаешь, Олфер, почему Александр вынимал очи этим дурням, что затеяли с новгородскими шильниками противустать хану? Почему выгнал Андрея, отрекся от Даниила Галицкого, не принял папских послов? Он понял, что такое Восток!

Запад вседневен. Города, городки, в каждом свой герцог или граф, господа рыцари, господа купцы, господа суконщики... А там – море. Тьмы тем. Тысячелетия. Без имен, без лиц.

Оттуда исходит дух силы. Закручивает столбом и несет, и рушит все на пути, и вздымает народы, словно сухой песок, и уносит с собой...

Это смерч. Пройдет, и на месте городов – холмы, и дворцы повержены в прах, и иссохли арыки, и ворон каркает над черепами владык, и караваны идут по иному пути...

А погляди туда, за Турфан, за Джунгарию, в степи, откуда зачинается, век за веком, этот великий исход, – и не узришь ничего. Пустота. Редкая трава. Юрта. Пасется конь. Над кизячным костром мунгалка варит хурт. И до края неба – ни второй юрты, ни другого коня, ничего! И из пустоты, из тишины степей исходят тьмы и тьмы и катятся по земле, неостановимые, как само время...

Это смерч. Сгустившийся воздух. Дух силы. Сгустившаяся пустота степей.

Жеребец, не понявший и половины сказанного, долго и мрачно вперялся горячечным зрачком в гладкое лицо Семена. Наконец, двинув желваками скул, отмолвил хрипло:

– Так что ж? Подчиниться Орде? Опустить руки?!

Семен медленно улыбнулся, полускрыв глаза, и, все так же закинув руки за голову, глядя вдаль, сквозь стены, суженными, потемневшими зрачками, тихо произнес:

– Орду надо крестить!

Давыд с Жеребцом переглянулись, едва не ахнув.

– Под татарским царем, хошь и крещеным...

Семен опять поморщился, встряхнулся, разом переменяя положение холеного тела.

– Брось, Олфер! Не одно тебе: по-русски али по-мерянски лопочут смерды, абы давали дань! Ну, переженимся на татарках! У меня у самого была жена татарка, сын растет... А как назвать? Хоть Татария, хоть союз, что ли, товарищество, империя, хоть Великая Скуфь! Владимир крестил Русь и утвердил язык словенск пред всеми иными. Крести Орду – будет то же самое! Нам нужна эта сила! Сила степей, одолившая мир! А князя вашего свозите в Ростов, не то совсем задичает...

– Ну, увернулся! – обтирая пот, толковал Жеребец, проводив Семена.

– Не скажи! – возразил Давыд. – Я слышал, что Семен князю Александру советовал поднять татар на совместный поход против Запада. Баял так: мол, католики подымаются, на Святой земле ожглись, теперича на Русь, на славянски земли полезли. Орденски немцы, свея, а там енти, латины, кои Цареград-то было забрали... Их нонь, толковал, бить надо, докуль поздно не станет! Нет, он тут не темнит!

– А все же не сказал, с нами он ай нет?

– И не скажет. Не столь прост! – Давыд подумал, склонив голову, потом поглядел на Жеребца: – Одно сказал все же! В Ростов Андрея свозить!

– Думаешь...

– Семен ничего зря не бает! – решительно подтвердил Давыд.

Глава 15

За свадьбой Андрея Жеребец припозднился с обычным своим объездом княжеских волостей и воротился из полудня уже по весеннему, рыхло проваливающемуся снегу.

Гнали скот. Волочили телеги с добром, мехами, портками, хлебом и медом. Гнали связанных полоняников, нахвачанных в лесах за Волгой. Кони вымотались, холопы и дружина тоже. Все не чаяли, как и добраться до бани, до родимых хоромин, до постелей и женок, что заждались своих мужиков, до жирных шей, пирогов и доброго городецкого пива.

Олфериха охнула, увидя мужа с рукой на перевязи. С мгновенным страхом подумала о сыне: Олфер возил десятилетнего Ивана с собой. Но тот был цел и сейчас, весь лучась обветренной докрасна веснушчатой рожией, косолапо слезал с коня. В пути, от усталости, вечерами глотал слезы – Жеребец сына не баловал, – теперь же был горд до ушей: как же, дружинник, из похода прибыл!

Жеребец, невзирая на рану, дождался, когда заведут телеги, загонят полон и спешатся ратники. Убедился, что людей накормят, что баня готова для всех (бани здесь, в Городце, рубили на новгородский лад, в печах мылись редко), выслушал, не слезая с седла, ключника и дворского, послал холопов доправить до места княжой обоз и только тогда тяжело спешился и, пошатываясь, полез на крыльцо. Жена, успевшая послать за бабкой-костоправкой, семенила следом, хотела и не решалась поддержать мужа под локоть: Жеребец слабости не любил ни в ком, в том числе и в себе.

В горницу, едва уселись, ворвался младший «жеребенок» – Фомка Глуздырь, ринулся к отцу. Жеребец едва успел подхватить сорванца здоровой рукой. Мать заругалась:

– Батка раненый, а ты прыгаешь, дикой!

Фомка отступил и исподлобья следил, как отец, с помощью матери, распоясывается, сдирает зипун и стягивает серую, в бурых разводях, волглую от пота, грязи и крови рубаху.

Девка внесла лохань с горячей водой. Олфериха сама стала обмывать руку вокруг раны.

– Ладно! В бане пропарюсь! – отмахивался Олфер.

Скоро привели костоправку. Жеребец, сжав зубы, сам рванул заскорузлую, коричневую от присохшей руды тряпицу. Гной и кровь ударили из распухшей руки. Старуха, жуя морщинистым ртом, щупала и мяла предплечье, наконец, поковыряв в ране костяной зазубренной иглой, вытащила кремневый наконечник стрелы.

В дверь просунулась голова дворского, Еремки. Холоп попятился было, но Жеребец окликнул его:

– Лезай, лезай!

Еремей, согнувшись в дверях, вошел и стал, переминаясь, переводя глаза с лица господина на рану.

– Вон еще какими о сю пору садят! – усмехнулся Жеребец, кивая на вытасненный кремь. – Добро, не железный еще!

– Камень хуже! – возразила старуха. – Камень-кибол, камень-латырь, камень твердый, камень мертвый, камень заклят, синь камень у края мира лежит...

– Ну ты, наговоришь – на кони не вывезти будет! – прервал ее Жеребец.

Старуха ополоснула кремь, сунула его под нос боярину:

– Гляди!

На острие наконечника виднелся свежий отлом. Она вновь начала тискать и мять руку, и Жеребец, изредка прерывая разговор с Еремеем, поскрипывал зубами. Могучие плечевые мышцы боярина вздрагивали, непроизвольно напрягаясь, черная курчавая шерсть на груди бисерилась потом. Наконец, вдосталь побродив в ране своим крючком, костоправка вытянула

отломок стрелы и, отложив крючок, принялась густо мазать руку мазью, накладывать травы и шептать заклинания.

– Кого убили-то? – спрашивала Олфериха, помогая старухе.

– Сеньку Булдыря. Ну, мы их тоже проучили! Я сам четверых повалил. Более не сунутся. Все мордва проклятая, язычники. Прав Семен, давно бы надо окрестить в нашу веру!

– Мордва да меря – хуже зверя! – поддержал разговор Еремей.

– Меря ничего, мордва хуже! – возразил Олфер. – Меря своя, почитай! Ты сказывай, сказывай, чего без меня тут?

Еремей уже доложил вкратце о делах домашних и теперь передавал ордынские и владимирские новости. Досказав, осмелился и сам спросить, удачен ли был поход?

– Князя удоволим! – ответил Жеребец, которому старуха начала уже заматывать руку свежим полотняным лоскутом. – Далече зашли нонь, за Керженец, до самой Ветлуги, и еще по Ветлуге прошли!

– На Светлом озере не бывал ли, боярин? – спросила старуха, собирая в кожаный мешок свою снасть, берестяные туюски с мазями и травы. – Где град Китеж невидимый пребывает?

– Врут, нету там города! – отверг Жеребец.

– Ой, боярин, – покачала головой старуха, – не всем он себя показывает! Татары тож узреть не змогли! В ком святость есь, те и видят. На Купальский день о полночь звон колокольный слышен и хоромы явственно видать. Вот тогды поезжай, только не со грехом, а с молитвою, и тут узришь.

Олфериха проводила старуху, вручив ей серебряное кольцо и объемистый мешок со снедью. Костоправка приняла и то и другое спокойно, взвесив мешок, потребовала:

– Пошли какого ни то молодца до дому донести!

Слава костоправки шла далеко, и плата была соответственной.

– Как с бани придет, перевязь смени, да мази той положишь еще! – строго наказала она боярыне. – А к ночи не полегчает, зови!

Олфер не успел изготавиться к бане, как прискакал князь. Прослышал, что Жеребец ранен в схватке. Запыхавшись, вошел в покой. Жеребец встал поклониться.

– Сиди, сиди! – остановил его Андрей. – В плечо? Как давно?

– Пятый день. Дурень, без брони сунулся!

– Цела будет рука-то?

– Чего ей! Вона!

Жеребец трудно пошевелил пальцами. На немой вопрос князя успокоил:

– Вызывали уже! Ковыряла тут добрый час.

– Все ж ты осторожней, Олфер. Мне без тебя... – хмурясь, промолвил Андрей.

Жеребец весело показал зубы:

– Еще поживем, княже!

– Ну, ты в банюходишь? – догадался Андрей. – Не держу!

Жеребец поднялся, придерживая руку. Перед тем как кликнуть холопа, спросил:

– Митрий Лексаныч, сказывают, с полоном из чудской земли воротилсе? Как там, в Новгороде, не гонят Ярослава еще?

Андрей посмотрел в глаза своему воеводе, не понимая.

– Мыслю, – понизив голос, пояснил Олфер, – ордынский выход придержать нать. Как оно чего... Куды повернет!

И вновь показал, осклабясь, крупные лошадиные зубы.

Глава 16

Четверо голодных сорванцов сидели, поджав ноги, в самодельном шалаше в дубняке на склоне оврага и спорили. Они уже твердо решили бежать в Новгород, и остановка была лишь за тем, как добыть лодку и где достать хлеба на дорогу. И то и другое требовалось украсть, и воровство это было серьезное, для которого у ребят не хватало ни сноровки, ни дерзости. Матери-то и за чужую морковь готовы были кажинный раз уши оборвать!

– А чего! До Усолья можно и на плоту! А там у кого ни то стянем! – тараторит Козел, зыркая глазами на товарищей.

– Шею намнут в Усолье, тем и кончитце! – остуживает его Яша, крупный, толстогубый, с угрями на добром широком лице.

Рябой Степка Линёк, младший из сыновей Прохора, слушает их полунасмешливо, насмешливая. Предлагает:

– У кухмерьских у кого угнать, чай?

– Или у твоего батьки! – горячился Козел.

– Мово батька лодью трогать нельзя, сам знашь, – спокойно отвергает Линёк и прибавляет: – Хлеба где взять? Из дому много не унесешь!

– С княжой пристани... – нерешительно предлагает Яша. – Там кули лежат с рожью и сторож один. Он когда спит, можно с берегу пролезть и куль тиснуть. Нам куля, знашь, на сколь хватит!

Федю такие мелочи, как лодка и хлеб, интересуют мало. Он откидывается на спину, подложив под голову руки, и, вздохнув, роняет:

– А что, братва, примут нас новгородские?

– А чего не принять?! – Козел поворачивается к нему еще более заострившейся за последний год мордочкой с оттопыренными ушами. – Мы в дружину пойдем, немцев зорить будем!

– В дружину мальцов не берут! – отверг Линь. – Тебя любой немец долонью хлопнет, ты и сдохнешь!

– Да?! А это видел?

– Чего?

– А чего!

– А ничего!

Козел с Линем задираются уже без толку. Кончается тем, что Козел кидается на Линя и опрокидывает его на спину, но Линь вывертывается и, в свою очередь, прижимает Козла к земле.

– Дело говорим, а вы тут! – кричит на драчунов Яша.

Линь наконец отпускает Козла, предварительно щелкнув его три раза по лбу.

Успокоившись, еще дуясь друг на друга, приятели вновь усаживаются кружком, и Федя начинает рассказывать, полузакрыв глаза, и ребята стихают, завороженные.

Федя сам не ведал, где узнал все то, о чем сейчас, мешая быль с вымыслом, баял приятелям. Одно – приносили калики-странники, другое сказывала бабушка в Мелетове, куда они с матерью ходили на Успенев день, иное вспоминали старики, побывавшие в дальних городах и землях... Но все это в Фединой голове перемешалось, соединясь в причудливый сплав, и получилась одна, растянутая на много дней, постоянно обновляемая Федей сказка-мечта.

И вот уже отпадают досадные домашние злоключения, и что нет хлеба и лоды, и мало-мало лет жизни... Уж прошли годы, уже собрали они дружину удалцов и плывут в Студеное море, где живут одноглазые люди аримаспы с одной рукой и одной ногой, и темно, только сполохи играют, бегают по небу огни, а еще там есть народы, замкнутые в горе, которые просят железа, а за железо дают рыбий зуб и меха. И они там торгуют и сражаются, и вся дружина гиб-

нет от холода и одноглазых людей, и только они одни остаются и плывут назад, и у них полная лодья соболей и горностаблей, и серебра, и рыбьего зуба, и всего-всего! И потом они снаряжают новую дружину, куплют себе красные сапоги, и новгородские брони, и шапки с алым верхом, как у самого князя...

– Не, мне зеленые! – перебивает Козел.

– Ну, тебе зеленые, – соглашается Федя и добавляет: – Жемчугом шиты! Вот так, по краю, и тут, от носка, – показывает он на своей босой ноге.

Козел, подавленный, умолкает. Он-то и не видал еще ни разу близко шитых жемчугом сапог.

– Молчи, Козел! Вот, Козлище, вечно ты! – шипят Яша с Линьком. Потому что не от лодки и не от хлеба, а от Фединых рассказов возникла у них эта мечта – плыть в далекий Новгород за добычей и славой.

...Потом они плыли на Запад, в немецкие земли, продавали соболей, покупали ипский бархат и золотую парчу, и на них нападали свеи, и начинался бой. Свеи все были в железных кованых заговоренных бронях, и их нельзя было ранить ни копьем, ни мечом, но наши стаскивали их крюками с лодей в море, и свеи тонули, захлебываясь в холодных волнах, а они возвращались с полоном и добычей.

– А затем мы вернемся в Переяславль!

– Девки-то бегать начнут! – восклицает Яша.

– Девки вырастут. Уже пройдет много лет, и нас никто не узнает! – важно поправляет Федя.

...Все уже станут старые, дядя Прохор потерял глаза, и они привозят ему волшебной воды. «Ты ли это, сынок?» – спрашивает дядя Прохор Линя, и Линёк мажет ему глаза волшебной водой, и дядя Прохор прозревает, но боится признать сына в такой богатой среде...

Федя побледнел от вдохновения. Не важно, что третьеводни его с позором побили криушкинские, а вчера, когда играли в горелки, он никого не сумел поймать и над ним смеялись... Тут он делит и награждает, щедро раздает звания, и Яша, поскольку не знает грамоты, только потому и не становится у него боярином.

Затем они вновь отправляются на войну в далекие земли, помогают князю Дмитрию, добираются до Киева и гибнут в бою с татарами, победив самого храброго татарского богатыря...

– Други, а ежели Борискину лодью увести? – предлагает Линёк. – Стоит без призору, а?

– Задаст!

– Не задаст! Бориско мужик смиренной.

– Мы вернемся из Новгорода и подарим ему лодью с красным товаром! – решает Федя, еще не очнувшись, сам замороженный своею повестью.

В это время слышится сердитый крик:

– Ироды, неслухи окаянные! Домой подьте! Живо!

– Матка зовет! – мрачно заключает Линёк.

Ребята еще сидят поджавшись, гадая, авось пронесет, однако сердитый зов не прекращается, и к нему присоединился визгливый голос Яшкиной старшей сестры.

Яша вылезает первый из шалаша, за ним, с неохотой, следуют остальные...

Они так и не собрались в свое путешествие, ни в этом году, ни потом, хотя даже бегали на княжую пристань, глядели на бочки и кули с товаром, суету мужиков, что носили, катали, таскали и перегружали, не обращая никакого внимания на будущих храбрых воинов. По дороге домой их ловили криушкинские, и приятели спасались от них по кустам...

Подошла осень. Бежать, куда бы то ни было, стало поздно. А тем часом Яшку отдали в Переяславль к сапожнику, учиться ремеслу. Степка Линь все деятельнее помогал отцу, втя-

гивался в хозяйство – все они, прохорчата, были работающие – и все реже вспоминал ихние с Федей замыслы.

Феде, который изредка продолжал посещать монастырь, а больше читал дома с братом, тоже некогда стало бегать по оврагам. Грикша учился упорно и в свободное время помогал священнику в церкви, так что matka все чаще перекладывала хозяйственные работы с него на Федора. Федя и вовсе бы бросил книгу, кабы не Грикша. Он нет-нет да и говорил матери, строго сдвигая брови:

– Федора тоже учить нать!

Нрав у матки со смерти отца заметно испортился. Она сердито швыряла поленья, ворча на Грикшу, как когда-то ворчала на батю: «Ирод, на мою голову!» – дала подзатыльник Проське, та завывала.

– Да что ты така поперечная! – срывая сердце, закричала мать. – Ягод не принесла, где-ка слонялась полдня!

– Они там испугались все, русалку увидели! – пояснил Грикша.

– Да! А мы с девками пошли, – всхлипывая и утирая нос, зарасказывала Проська, – пошли до кухмерьских пожен, а дождик пошел, мы и сели под елку, а потом побежали, глядим, а она-то и вышла из-под елки, и мы бяжим, а она так идет плавно...

– Кто ни то из кухмерьских и был-то!

– Да! А высокая, с елку вышины, и коса до сих пор. Мы и побежали, и эта русалка дошла до осинника и пропала там. Мы и не смели никуда пойти.

– Выдумываешь все! Стойно Федора! – ворчливо отозвалась мать. Присев и горестно подпершись рукой, она неподвижно уставилась перед собою, мысленно пересчитывая нынешний небогатый урожай.

– Не знай, нонче баранов резать али додержать до Покрова! Чего делать будем? Как дожить-то до новины?

– Доживем! – солидно отозвался Грикша. Он сидел у окошка, ловя скудный свет, разбирал «Устав праздничной службы». – Никанор ищет паренька. Может, Федю отдать ему? – предложил он, не отрываясь от книги.

Глава 17

Никанор был старик сосед, тоже княжовский, знакомый и добрый. Он иногда заходил к ним посидеть, побалакать и необидно подшучивал над Федей. Дети у Никанора были уже взрослые мужики и все «в разгоне»: один по кирпичному делу, другой по кровельному, третий кузнечил в Переяславле, и собирались домой они только на праздники.

Как потом, много лет спустя, понял Федя, в ту пору Никанор еще не был так стар, как ему казалось. Он просто рано поседел и рано начал лысеть. Но десятилетнему мальчишке Никанор, с его круглой, как у Николы-угодника, бородою, большелобый и морщинистый, казался уже дряхлым старцем. Никанор ходил косолапя, на кривоватых коротких ногах, и так же косолапо, носками внутрь, слегка переваливаясь, ходили-бегали его взрослые сыновья. Когда они, жаркие от выпитого пива, веселые, с женами и детьми набивались в Никанорову избу, хлопали по спине Никанориху, а та, притворно гневаясь, лупила их чем попадая, подымался шум и гам, а Никанор лучился весь, вскрикивая, правил застольем и весело сыпал неподобные слова. А напившись, свирепо тарачил светло-голубые глаза в красных прожилках и начинал спорить и хвастать:

– Мы с Шалаем вон какие бревна здымали! Только двое!

– Молчи ты! – обрывала его Никанориха. – Шалай был мужик, дак трое нужно мужиков, што медведь! Он и один бревно здымет!

– И я! – тряс головой Никанор. – И я, когда молодой был, меня на селе только Чуха кривой обарывал! А боле никто!

Он закашливался, выжимая слезы из глаз, крепко сплевывал себе под ноги и растирал лаптем. А Никанориха опять ругала деда, что не отойдет плевать к печному углу.

Федю он полюбил, и Федор привязался к старику. Никанор прежде осмотрел Федин топор, пощелкал, похвалил, спросил:

– Батькин? Отец еще, поди, правил? (Плотницкий батин топор со смерти отца лежал в коробьи без дела.) Не сильно ярый топор! – заключил Никанор. – Ярый топор хуже...

Потом Федя, надрываясь, вертел тяжелое точило, а дед, взобравшись на скамью и вложив топор в держалку, водил и водил по крутящемуся камню, словно очищая топором с точила бегущую ленту воды, подымая лезвие к носу, проверяя, снова опускал, наконец, когда Федя уже совсем вымотался, разрешал:

– Да ты отдохни! Мастеров по топору да по топоричу признают! Мы еще при князь Александре на Клещине терем клали, дак боярин первым делом: «Покажь топоры!» Топор поглядит, похвалит: «Мастер!» Вот! – Никанор клал топор лезвием и кончиком рукояти на бревно. – Так нужно! Помни! Без снаряду нет мастера! – И, усмехаясь, добавлял: – Без снаряду и вошь не убьешь, нёготь нужен!

Они клали новую житницу у боярина Феофана. Никанор учил Федю, как хитро, вагами, поворачивать тяжелые стволы, закатывая их друг на друга и легко вращая на весу. Сразу поставил затесывать комли, «сомить».

– Вот ето сом! А вот ето называтца залапка, – говорил он, делая легкую зарубку-затес на бревне. – Счас оборотим, обрубим, а потом будем налажать второе дерево...

Укладывая первые бревна, Никанор долго щурился, приседал, сказывал, как криушкински плотники ровняют ряд «по воды» – глядя на озеро...

– Напарью, напарью подай! – кричал он Феде и тут же хвастал: – Видал, Федюха, какая у меня напарья? Ни у кого такой нет!

– Через оглоблю смотришь! – окликал его Никанор спустя час. Федя не сразу понимал, вопросительно взглядывал в доброе, хитро сморщенное лицо старика.

– С изнутри, от себя надо глядеть, тогда николи не подгадишь! – пояснял Никанор. – А так, через топор, не гляди, накривишь!

С Никанором работать было занятно и весело. Федя старался изо всех сил.

– Не смял жало? – спрашивал старик. – Гляди, етот сук вырубать будешь, не сомни топора!

Доставая сточенный брус – поправить топор, – он каждый раз говорил Феде:

– Дай направлю и твой!

Первое бревно, в котором Федя кое-как сумел выбрать паз, Никанор похвалил, за третье выругал:

– Мелко берешь! Только поцеловать придется! Черту подай!

Чертой была двоезубая вилка с загнутыми концами. Ею Никанор проскребал след, докуда рубить.

– Ежель углем... – несмело предложил Федя. – Виднее!

– Черту надо видеть и так! – строго отверг Никанор.

– Как кладывашь! – уже орал он на Федора к концу первого дня, и тот готовно брался опять за вагу.

Федя был мокрый после работы, но довольный. Хитрое плотницкое дело нравилось ему и раньше. Теперь же, когда открывались потаенные трудности ремесла, о которых, глядя со стороны, он и не догадывался, начинало нравиться еще сильнее. И, глядя на положенные ими три венца, он уже и сам видел будущую клеть как бы готовой и говорил дома, что житница у них

«красовитая будет!». А потом повторял к месту и не к месту любимую Никанорову пословицу: «Не клин да не мох, дак и плотник сдох!»

Между делом старик сказывал ему плотничьи бывальщины, поминал хороших мастеров, и тех, кто жил в соседних деревнях, и покойных, «старопрежних». Он, кажется, помнил про каждый большой дом: кто, когда и с кем его клал, какие мастера что рубили... Рассказывал, как еще в Никаноровой молодости клали они терем богатому купцу на Переяславле и хозяин сам проверял – ощупывая руками каждый ряд, – хорошо ли уложен мох.

– А надоело! Ряд положим – хозяина зови. Кака работа! Дрын положили ему в паз, мохом прикрыли, он и не почуял, хитро сделали. Ну, погода говорим: «Глянь, хозяин, што у тя тут!» Он помолчал, ушел к себе. Погода несет корчагу с медом. Вот, говорит, мужики. Сегодня пейтя, а потом уж на вашу совесть, говорит... И боле не проверял.

Они кончали, когда уже подмерзла земля и начали кружиться первые снежинки. Никанор хотел обязательно свести кровлю до снегов, да и уговор такой был с боярином.

Заваливать верх, для тепла, порешили муравейником.

– Муравейник кладоваешь, николи гнить не будет! – пояснил Никанор.

По первому морозу они со стариком ездили в лес, прозрачно-серый и сквозистый в ожидании снега, нагребали муравьиные кучи.

– Об эту пору только и берут! – объяснил Никанор Феде. – Мураши куды-то там уходят в землю, у них там и еда и все. Видал белые яйца? Это ихний корм. Муравейник и зимой можно брать, николи не промокает, сверху только корка у его сделатся. Медведь-шатун, бывает, пробьет сбоку дыру лапой, выгребет, залезет туда и спит. Мы о прошлом годе за Мауриным пятнали деревья, и большо-ой муравейник! Ну и его дерево тоже запятнали. А потом Санька Шевляга пошел да и видит: следы-то идут, он там, в муравейнике и сидел! Знатье бы, говорит, обухами забить можно! Зимой у его мясо сладкое, а вот летом уж не такой вкус в ём. Большо-ой зверь! А не ест всю зиму и не худеет он! Он лапу сосет, жир у его к осени на подошвах, и его у него там переходит как-то, тем и пропитывает себя.

С княжичем Данилкой нынче Федя совсем не встречался и вспомнил о нем зимой, когда они работали уже у другого хозяина, в городе, доканчивая обвязку верхней галереи, и услышали, как сосед что-то кричит им со своего двора. Никанор освободил ухо от шапки, и Федя опустил топор, вслушиваясь.

– Князь Ярослав помер! Из Орды шел! – прокричал сосед.

– Теперь кто ж? – подумал вслух Федя (тут-то и вспомнив «своего» княжича).

– Нас не спросят! – отозвался Никанор. Помолчал, тюкнул и, задержав топор, сердито прибавил: – Тут теперь слушать надо: татары бы не пришли!

Глава 18

Вскоре Федя узнал, что князь Дмитрий Александрович вновь собирает дружину. Его позвали новгородцы на княжение. Полузабытые мечты вспыхнули в нем с прежнею силой, и Федя горько позавидовал ратникам, что уходили в Новгород, в город-сказку, в город, где остался отцов дом. Дядя Прохор баял про это. А matka как-то в раздражении обмолвилась перед Фросей, не зная, что Федя торчал в избе:

– У него там сударушка была, новгороцка, пото надо мной и лютовал! Прости ему, Господи, царствие ему небесное...

Все это вызывало у Федора острое любопытство. И то, что у покойного бати была где-то там, в Новгороде, «сударушка», тоже по-новому занимало Федю, рождая к отцу какое-то странное теплое чувство.

Он очень вытянулся за год, что работал с Никанором, и уже таскался с приятелями на беседы, где они, «стригунки», чаще всего толпились в углу, завистливо поглядывая, как старшие ребята задирают девок.

Однажды Козел предложил ему новую озорную проделку: попужать девок в овине во время гадания.

– Они ждут, что их овинник погладит лапой по тому месту, ну а мы возьмем рукавицы да и мазанем! – заранее ликовал Козел.

Феде стало страшно предстоящей забавы, когда они притаились в темноте под слегами, в пахнувшей угольной горечью овинной яме. Дрожь пробирала не шутя: а вдруг овинник схватит? Но еще больше хотелось напужать девок.

Наконец раздались шаги, робкий пересмех.

– Кто да кто? – одними губами спросил Федя.

– Фенька с Машухой! – тихим шепотом отозвался Козел.

Ребята затихли, стараясь не дышать. Вот слеги зашевелились, заскрипели, послышалось пыхтение и ойканье девок, укладывавшихся вверху, на жердях. Козел больно ткнул Федьку под бок, сунул в руку рукавицу.

– Ой, кто тут? – спросила Фенька заполошным голосом.

Ребята разом словно умерли.

– Дышит кто-то, Фень!

И опять тишина. Наконец девки отдышались, заговорили:

– Никого нет, показалось...

– Фень, как будет-то? Стыдно чего-то!

– Молчи! Овинника испугашь!

Девчонки захихикали, и тут ребята стали вставать на дрожащих, напряженных ногах, а Федя, забыв рукавицу, с разом пересохшим ртом, потянулся голой рукой наверх, туда, где смутно чуялось живое тело.

– Ой! – вскрикнула Фенька. Козел первый тронул ее рукавицей.

Жерди затрещали. Федя стремительно встал и, сунув руку между жердин, поймал голую ногу девушки. Просунув руку дальше, он ощутил ласковое тепло, от чего его разом кинуло в жар, и тотчас Машуха завизжала в голос и подпрыгнула, а Феде больно сдавило руку жердинами, и он вырвал ее, ободрав в кровь. Девки уже стремглав, с воплями, летели в деревню.

Козел вдруг схватил Федьку и кинул его на дно ямы. Федька вскочил, отбиваясь. Так, пыхтя, они возились некоторое время, пока запыхавшийся Козел не вымолвил:

– Будя!

– А лихо мы их! – выдохнул он погодя и шлепнул Федю по спине. Федя был как в полусне. Он невпопад отвечал Козлу, когда шли домой, постарался скорее, выхлебав кашу с молоком, забраться в клеть, под овчину, и в душной темноте постели крепко прижал счастливую ладонь к щеке да так и заснул своим первым недетским сном.

Странно, что это ощущение воротилось к нему через год, весной, уже не связанное с Машей. На нее он долго стыдился смотреть, а потом как-то и совсем забыл. Маша через весну вышла замуж в Купань и, говорили, хорошо, так что Федя не испортил ей судьбы, тронув девушку голой, а не мохнатой рукой...

Глава 19

Иные, грозные события захватили всех, и старых и малых, в том беспокойном году. Неожиданно воротились переяславские дружинники из Великого Новгорода. Федор на дворе запрягал Лыску, когда в ворота зашел дядя Прохор и, на ходу подергав чересседельник, молвил:

– Отпусти! Хомут давить будет!

– Воротились?! – У Федора рот растянулся до ушей. Прохор качнул головой, с промельком улыбки. Румянец на его щеках был темно-красен, почти коричневым, глаза, утонувшие под прямыми, выгоревшими добела бровями, щурились с чуть заметной грустинкой.

– Хуже, Федюх! – отозвался он. – Гонят нас из Нова Города в шею, а мы опять идем!

В Переяславле собирали новую рать. Бояре вооружали холопов, горожан, созывали народ из деревень.

Грикша на этот раз тоже отправлялся в поход. Грикша взял молодого коня, которого, как и старого отцова коня, называли Серым. Во дворе у них стоял теперь новый жеребенок, кобылка Белянка, и они уже не раз судили и рядили, продавать ли ее или держать про себя.

Переяславские полки ушли на север. Вести от них доходили смутные и разноречивые, потом перестали приходить совсем. Потом, как-то разом и неожиданно для всех, в Переяславль вступили костромичи. Говорили, что это дядя князя Митрия, Василий, со своею ратью.

В Княжеве костромичи побывали тоже. У них со двора свели Лыску, и мать выла и цеплялась за стремяна ратников. Хорошо, оставили Серка и молодую кобылу.

Костромские мужики лихо разъезжали на конях, со свистом и гиканьем, задирали баб, в Мелетове подожгли скирду хлеба, и огонь полыхал высоко над кровлями, и все бегали смотреть и боялись, что пламя перекинется на сараи, а там и вся деревня сгорит.

– Где наши-то ратники?! – зло толковали мужики.

Вторая, наспех собранная переяславская рать стояла за Горицким монастырем и не двигалась, костромичи тоже не совались к Горицам, только изредка перестреливалась сторожа с той и другой стороны.

Василий Костромской въехал на княжой двор под ругань, плач и беготню всей дворни. Его встречали испуганные дворский с ключниками и трое бояр. Александра отказалась выйти к деверю на крыльцо и встретила Василия уже в теремах. Бабы и мужики-холопы высыпали во двор – смотреть костромских дружинников. Потом обедали в столовой палате, князь Василий с боярами. А дружину кормили в молодечной и на сенях.

До вечера Васильевы воеводы пересылались с Горицкой ратью. О чем-то князь Василий говорил с татарами на ордынском дворе. Ночевали в теремах, выставив у ворот, по стенам и по-за городом сторожу.

Когда Василий отъезжал, Данилка вышел на крыльцо вместе с Ваней, показав на костромского князя, сказал:

– Это твой дедушка!

Князь Василий остановился, поглядел внимательно в большие, недетские глаза Ивана, поискал взглядом сноху-двоюродницу, что-то хотел сказать, не сказал ничего, махнул рукой. Высокий, он сел на коня, а Данилка глядел с крыльца и как-то все не мог понять своего младшего, когда-то веселого и простого дядю.

Дома потом долго горевали, ругмя ругали какого-то Семена, боярина Васильева, считали убытки, что было проедено, пропито и растащено костромскою ратью.

Василий, как слышно, от Переяславля пошел к Торжку, посадил там своих тиунов и ушел в Кострому, а воевода его, Семен Тонильевич, принялся пустошить новгородские волости. На Костроме, в Твери и по другим низовским городам хватили новгородских купцов, отбирали товар, заворачивали назад обозы с хлебом.

В Княжево ратные слухи доходили с запозданием. Уже весной, по раскисшему снегу, на отошавших лошадях воротились ушедшие в Новгород переяславские полки и принесли весть, что Василий Костромской сел на новгородский стол.

Мужики возвращались злые, усталые. Прохор, так тот прямо заявил:

– Друг друга только лупим! Лучше в крестьяне запишусь! Василий князь сам не мог, дак татар созвал Новгородчину грабить! Тыпфу!

Грикша мало рассказывал о Новгороде. Больше горевал, что загубил коня и теперь его придется продать. Феде на все его настойчивые расспросы только и сказал:

– Живут, как и у нас. А земля тут ищю и лучше!

Постепенно узнавалось, как было дело. Василий Ярославич зарился на Новгород сразу, как получил великое княжение, но потребовал от новгородцев черную и печерскую дани, а также княжой суд, отобранные у Ярослава по прежнему договору. Тогда-то новгородцы и позвали Дмитрия. Василий, однако, дал племяннику просидеть спокойно лишь одну зиму. Нынче он вызвал татарскую рать, и татары с воеводой Семеном и Святославом Тверским принялись пустошить Новгородчину. Семен, набрав полону, воротился во Владимир, а Святослав Тверской с татарскою помощью разорил Волок, Бежичи и Вологду. Дмитрий с новгородскою ратью пошел на Тверь, а к дяде послал грамоту о мире. Василий отпустил послов с честью, но мира не взял.

Новгородцы с Дмитрием меж тем дошли до Торжка и тут задумались. Вместо того чтобы из Торжка идти к Твери, стали пересылаться, спорить, собралось вече. В Новгороде вздорожал хлеб, и, видя против себя почти всю низовскую землю да татар в придачу, самые осторожные начали говорить о мире.

Дмитрий, видя замятию и нестроение в полках, сам добровольно отрекся от новгородского стола и был отпущен в Переяславль «с любовью». Приверженцы Дмитрия провожали его со стыдом, просили не гневаться, но говорили: «Не твое время, князь!» Дмитрию снова приходилось ждать. Впрочем, старший брат Александровичей, Василий, умер в один год с Ярославом Тверским, и хотя бы эта постоянная семейная язва, рождавшая между братьями ссоры, недомолвки и тяжелое молчание, минула. Александра тихо убивалась на похоронах, виня себя в смерти старшего сына. Однако и она почувствовала облегчение, что так это кончилось. А скоро ратные события отодвинули воспоминания и раскаянье посторонь.

Глава 20

О том, что будет второе «число» от татар, что снова будут пересчитывать дворы и налагать дань (и потому, что людей стало больше, дань, конечно, увеличат!), в Княжеве стали поговаривать еще с осени. Неясно, кто и принес злую весть, но все как-то не верилось, пока наконец к самой Масленице не пригнали верхами из Переяславля Гавря Сухой с Мелентием Ослябей, крича, что едут!

Народ, оставя веселье, заволновался. Выходили, собирались кучками. Кто-то погнал было в лес, но неожиданно скоро явились княжие холопы, делюи и ордынцы, заворотили с руганью беглых и начали сбивать народ и вызывать старост и понятых.

Татары в остроконечных шапках, не переяславские, а иные какие-то, злые и подобранные, зорко озирающиеся по сторонам, ехали вереницею, один за другим, их кони сторожко и легко бежали след в след, как волки, вышедшие на добычу. С ними, посторонь, рядом с тропой, проваливаясь в рыхлый снег, скакали переяславские и владимирские ратные, торопились, сбиваясь с рыси, что-то объясняя, и один татарин, то ли не поняв, то ли не желая слушать, вяло, не поворачивая головы, махнул плетью – и ратник, ожегшись, шатнулся, дернулся вбок и отстал, утирая разбитое лицо.

По деревне поднялся вой. Хлопали двери изб, что-то несли, тащили, вели скотину. Марья Микитиха волочилась по земле, вцепившись зубами в веревочный повод своей пестро-белой коровы, а двое переяславцев толклись, не зная, что делать. Один тянул корову, другой пытался оторвать Микитиху, а потом, махнув рукою, достал нож и отмахнул повод ножом. Микитиха еще лежала, а потом, вскочив, побежала вслед. Ее схватывали раза три, она вырывалась с истошным воплем.

К ним тоже пришли, и Федор, бледный, стоял, глядя на Грикшу, который совсем по-отцовски жевал челюстью и вытаращенными глазами глядел то на ратных, что выносили кули с зерном, то на соблазнительно торчавший у крыльца дровокольный топор. Грикшу так и дергало, и Федя тоже примеривался к крайнему мужику, ожидая только первого братнего движения, когда во двор вошел бледный дядя Прохор и, строго бросив Грикше: «Охолонь!» – сам взял у ратного куль и понес назад. Переяславец распрямился, обвел глазами двор, дернулся за Прохором – глаза у него были бегающие и тоже одичалые – и вдруг, плюнув, поворотил и побежал со двора. У ворот остановились сани. Незнакомый мужик – по платью боярин – вылез из саней. Прохор воротился, встречая. «Здесь чисто!» – отрывисто сказал он и повел боярина в дом.

– Постелишь, мать! – велел он, заходя за боярином в избу, куда Федя уже успел заскочить. Мать сурово поклонилась гостю.

В избу зашли потом еще четверо ратных. Их кони во дворе хрупали зерном. Ужинали в тяжелом молчании. Мать, не садясь, подавала на стол. Переяславцы дружно грызли вареную баранину, уминали пироги и кашу, пили, отдуваясь, квас, изредка роняя малопонятные для Феде замечания.

Татары остановились в Княжеве, и им каждый день резали лошадей. Мать надеялась, что ее минуют, но дошел черед и до их двора, до того, страшного для крестьянина часа, когда рабочую лошадь, в силе, холеную, береженую, или – как у них – будущую рабочую лошадь ведут на убой. И Беянка – видно было по глазам – знала, куда ее ведут, и жалобно глядела и ржала, упираясь с дрожью всей кожи, а Грикша ушел в клеть, и там Федя нашел его, плачущего по-отцовски, молча: мелко тряслись плечи и шея. Он яростно поглядел на Федю и с ненавистью прошипел:

– Уйди!

Беянку забили на задах, чуть ли не за домом. Забивал кухмерьской мужик, коротенький и большеголовый, со скверною улыбкою на лице, и потом они все зашли в избу: боярин, и другой боярин, знакомый, Гаврило Олексич, что приехал только что из Маурина, и ратники, и коротенький кухмерьской, и дядя Прохор, про которого Федя сперва подумал, что он пьян, – так пристально, иногда весь вздрагивая, глядел он, так горячечно пылали щеки.

– Ето дело – рабочих коней бить?

– Конь не рабочий! Пошто врешь? Кобыла и не езжена еще! Вас тут, таких крикунов, поучить хорошо, самому чтоб мало не было! – спесиво отмолвил боярин.

– Ты, боярин, мне не грози! Я тоже на ратях бывал, с князь Александрой ходил, дружинами правил! – с угрозой отозвался Прохор.

Боярин засопел и сбавил тон.

– Чтой-то ты не то баешь! – пропел, покачивая головой, кухмерьский мужик, ладясь польстить начальству.

– А тебе сколь заплатили? – кинулся на него Прохор. – Скажи!

– У нас кобылу свели уже князь Василья ратные, дак опеть! – высоким голосом сказал Федя.

– А оставлен вам конь! У вас тут еще есь добра! Наши вот места совсем запустели! – возразил владимирец.

– Страшно ето, когда рабочих лошадей... И пригнали бы коней своих! – не унимался Прохор. – У нас конины не едят! Чего народ злобите! Коней бить, дак ето всюю жисть рушить!

Прохор порывался, вскрикивал, и Федя снова подумал, что он пьян. (Потом узнал, что кухмерьской не смог сразу убить Беянку и валил ее дядя Прохор.)

– А вы зачем? Татарам, ежели... Ежели татары – власть, дак и вас не нужно!

– Ты, Прохор, осторожнее! – сердито вмешался Гаврило Олексич, – сам живешь, я знаю, как! Вконец еще не разорили тебя!

– Разорили не разорили... Ты, Гаврило Олексич, не то рек! Ты то... Пущай... Вот шапка одна, да знать, что с головы не сымут!

– Пото и плотим, чтобы не сняли с вас шапок, да и голов дурных в придачу! – возразил, прикрикнув, Гаврило.

– Я вот походом ходил... – не уступал Прохор, – Новгород зорили, с костромичами ратились... Почто?!

– Великого князя прошай!

Федя, не в силах смотреть, как убивают Белянку, вечером все-таки вышел на зады. Внутренности кобылы лежали в кучке, и собаки уже бродили около. Деревенские кони вереницей, осторожно ступая, подходили и нюхали снег.

– Товарища свою чувят! – скорбно прозвучал над ухом чей-то голос. – Теперича и не запрещь будет...

Федор поворотился и, спотыкаясь, побрел домой.

Татары, перебив избу и людей по всей округе, уезжали на другой день, опять друг за другом, тою же волчьей тропой. Оба боярина уселись в широкие, под ковром, на кованых полозьях, сани. Запряженная тройка с ходу виляя, понесла, и ратники запрыгали на седлах, вытягиваясь в ряд.

На выезде, когда сани, мало не вывернув седоков, скатились с бугра и по наезженной санной дороге вылетели на лед озера, Гаврило Олексич поворотился, пробормотал:

– Так-то вот! – Хотел что-то сказать, подвигал кадыком, но сказал только: – Завтра в Вески!

– В Вески! – отозвался владимирский боярин.

Вечером того же дня в избу Михалкиных собрались бабы. Дядя Прохор только взглянул, вызвав мать, сказал, что весной даст им жеребенка, когда его карая кобыла ожеребится.

– Я заплачу, – отвечала мать.

Прохор как-то резко махнул рукой и, кривясь лицом, быстро ушел.

Мать поставила на стол миску с репой и квас, резала хлеб. Бабы черпали квас, чинно отпивали. Вздыхая, сказывали, у кого что отобрали.

– Татары тоже люди! – помолчав, молвила Олена. – Сказывали, когда громили их, по князь Лександровой грамоте, по всем городам, и на Устюге был тогда ясащик Буга-богатырь, и взял он прежде у одного крестьянина дочь, девушку, понасильничал, за ясак, себе на постелю взял. А как пришла грамота, что татар бити, и девка сказала ему... Уж невесть почто, верно, слюбились там! И он пришел на вече, и народу всему кланялся: не убивайте, мол! И принял веру христианску, и на девке женился на той, сором снял с ей, овенчались.

Рассказывая, Олена смотрела задумчиво прямо себя. У нее свели четырех овец, забрали портна, овес да две кади ржи...

Потрескивала лучина, бабы вздыхали. Фрося, что сидела ближе к светцу, вздымая жирную грудь, наклонялась, брала новую лучину и вставляла в светец. Мать вымолвила в сердцах:

– Княжесьво большое, хорошее, ето не дело – у вдовицы последнее отымать!

Сноха Дарья, помолчав, отозвалась:

– Власть-то какая ни будь, животам бы полегче!

Грикши не было. Где-то пропадал уже день, и мать не спрашивала где. Федя вышел в звездную стыдь. Постоял, потом сами ноги отвели его под навес, где одиноко стоял Серко, их последний конь, последняя надежда, и беспокойно переминался, не чуя рядом привычного дыхания Белянки.

Федор так и не лег спать. Когда небо слегка посветлело, он, издрогнув от холода, пошел запрягать коня. Пока татары стояли в деревне, никто не ездил ни за дровами, ни за сеном.

Грикша появился о полдень, и они возили вдвоем, молча накладывая, по дороге соскакивая и трусая рядом, чтобы облегчить воз, на взъемах дружно наваливались, помогая коню. Было

страшно, что Серко без смены не выдержит, и верно, пока возили, стало видать проступившие ребра и спекшийся, засохший след от седелки на холке коня. К тому же боярские кони сильно подъели овес и ячмень, и Федор с беспокойством подумал, что Серка, пожалуй, не пришлось бы ставить на сено, а сенной конь так не потянет, как ячменной, и еще весна, и пахать...

Федор подтянул чересседельник, покачал за оглобли и шевельнул вожжой. Серко, горбатясь, переставлял копыта, а он угрюмо думал, что все это – Василий Костромской или ихний князь Митрий одолеет в борьбе за Новгород, кто будет великим князем и будет ли им после Василия Дмитрий Лексаныч или кто другой – совершенно не важно, а страшнее всего, ежели станет конь и не потянет больше. «Власть-то какая бы ни была – животам бы полегче!» – вспомнил он Дарьины слова.

Серко мотнул шеей и стал, и у Феде захолонуло сердце. Но конь, разведя и напружив задние ноги, потужился и оросил снег желтой пенистой струей. Постояв, он без зова вытянул шею и, сдернув с места тяжелый воз, тронулся дальше. Конь был хороший. Ежели дядя Прохор еще даст им жеребенка, так они, пожалуй, огорюют и эту беду.

Глава 21

Зимою во Владимире митрополит Кирилл, незадолго до того воротившийся из Киева, где он объезжал галицкие и волынские епархии, устроил церковный съезд иерархов всей земли. Из Переяславля собиралось большое выборное посольство. Грикша ехал в числе монастырских слуг и сумел уговорить келаря взять также и Федора.

К этой зиме они поправились. Пашню вспахали и собрали неплохой урожай. Дядя Прохор жеребенка отдал задешево, почти подарил. Федя, научившийся ремеслу, приработал в плотницкой дружине на починке большой монастырской церкви. С Козлом они дружили по-прежнему, но встречались изредка. Козел сумел попасть на Клещино, в слуги под дворским, и теперь все что-то доставал, привозил, летал куда-то с поручениями. Сходясь, они все чаще говорили о девках, бегали на беседы, провожали, а потом хвастали один перед другим. У Федора завелась уже постоянная любовь на Кухмере, с которой они и ходили по-за деревней, и целовались, и на сеновал лазали, где, впрочем, только сидели рядом в опасной, соблазнительной темноте...

Узнав про поездку, Федя был вне себя от счастья: увидеть Владимир, церковный съезд, князей и бояр, соборы... Мать снарядила его в отцову просторную шубу – не замерз бы дорогою. Федя едва не забыл сбегать накануне в Кухмерь, к своей девушке, проститься. Они постояли за сараем, прижавшись друг к другу, слушая (пала ростепель), как капает с сосулек вода, и она впервые не противилась, не била его по пальцам, а только прижималась к нему и тихонько спрашивала:

– Забудешь тамо во Владимире?

Под ногами был талый снег, по улице кто-то шел, чавкали шаги, и – только что некуда было деться – и так осталось... Он шел домой, не разбирая пути, пьяный от счастья, смурной от взбаламученной и неутешенной крови, почти не спал, и только утром, когда соседские сани остановились у ворот, мысли перекинулись к желанной поездке. Он круто собрался, поклонился матери, которая для такого случая благословила Федю иконой, потянул за нос Проську и выбежал, на ходу натягивая тулуп. Сунув в сено мешок с дорожными, он повалился в розвальни, и они помчались, в солнце, снежных и водяных брызгах из-под копыт, в радостном благовесте далеких переяславских колоколен. Сосед все оглядывался на Федора, подмигивал, жег и жег коня, спрашивая то и дело в сотый раз:

– Не бывал ищю?

Во дворе Никитского монастыря было необычайнолюдно. Сани, возки, возы стояли рядами, монахи и миряне сновали и толпились на растоптанном, перемешанном с водою снегу. Ржание, гомон – оглушали. Федя долго разыскивал брата и уже отчаялся, когда тот сам

его окликнул. Потом они толкались по монастырским закоулкам и Грикша долго уговаривал какого-то боярина, который подозрительно взглядывал на оробевшего Федю в его большой, порядком вытертой шубе, с холщовой торбою за плечом.

Его свели к старшому. Грикша горячился, бегал куда-то и наконец-то устроил брата на сани. Потом еще принес ему миску щей, и проголодавшийся Федор хлебал, сидя прямо на снях, а Грикша стоял перед ним и торопил.

Впрочем, когда разобрались, все устроилось хорошо. Старшой оказался веселый мужик, он свел подзябнувшего Федора в клеть, битком набитую ратными, пропихнул, крикнув кому-то: «С нами будет!» И тут Федор подремал до того раннего часа, когда в сереющих сумерках весь большой обоз зашевелился под благовест больших монастырских колоколов.

Важные бояре и церковные сановники усаживались в возки, прошел архимандрит в бобровой долгой шубе. Попы выносили иконы и книги, потом благословляли весь поезд, и наконец возки и сани, запряженные одвуконь и гусем, по одной и тройками, потянулись друг за другом в монастырские ворота, и Федя, замотанный в отцову шубу, привалясь к кулям, уложенным у него за спиной, с забившимся сердцем следил, как передние сани скатывались перед ним с бугра меж рядов знакомых – и уже незнакомых – изб, ибо за ними сейчас начиналась дорога в далекий, неведомый стольный Владимир.

До Юрьева добрались только к закату следующего дня. Дневали и ночевали в пути. Федя резво бегал, рубил дрова, разводил огонь, таскал в избу и назад попоны и кладь. Все горело у него в руках, и старшой, что сперва окликал его: «Эй, ты!» или: «Эй, малец!» – к вечеру звал его уже Федюхой, а за ужином, подмигнув, плеснул ему монастырского меду в кружку. Грикша только раз подъехал. Узрев, что Федя освоился, он больше не занимался младшим братом, хватало своих забот. Тоже надо было вовремя соскакивать с коня, открывая дверцы, стелить дорожный половичок перед настоятелем, когда тому была нужда выйти, подавать и то и другое, следить за возами и прислугой – не стянули б чего невзначай.

В крытом возке настоятеля было тепло, нутро обили волчьим мехом. Колыхаясь, изредка поглядывая в слюдяное оконце, путники вели неспешный разговор. Игумен беседовал с протопопом, пристрастно расспрашивая про берендеевских попов, что были ставлены по мзде и даже не рукоположены. Кто получил мзду, о том оба старались не вспоминать, но имя нового владимирского епископа Серапиона, что стараниями митрополита Кирилла перешел во Владимир из Киева, то и дело поминалось обоими.

– Муж учителен зело! – с воздыханием говорил игумен, и оба кивали, думая об одном: как снять берендеевских попов, не оскорбив княжого боярина Онтоня и не затронув горицкого игумена, который в этом случае очень даже может поиметь обиду и запомнить.

– Зело учителен и неподкупен! – уточнял протопоп, сурово глядя перед собой и изредка шевелясь всем большим телом в тяжелой черной шубе.

– Божествен и духом выше страстей мира сего! – поправлял игумен, быстро взглядывая на дородного протопопа снизу вверх. Он сам приходился спутнику по плечо.

Оба были грешны, ежели не помочью, то попустительством, и, отдавая должное и митрополиту и новому епископу, скорбели о тех трудах, а паче того – осложнениях с думными боярами и другими иерархами Переяславской земли, которых потребует от них исправление дел церковных.

Были и в службе упущения, и сокращения противу древлего чина, и слишком снисходительно, как виделось теперь, глядели они на языческие игрища, что происходили под самым монастырем, у Синего камня, а также на самоуправства и насилия боярские... Прещать! Хорошо митрополиту, а как он может запретить что-либо самому Гавриле Олексичу?! И думая так, и извиняя в душе свою слабость, игумен все же с запоздалым раскаянием признавал, что должен, обязан быть тверже с сильными мира сего, ибо пред Господом все равны: и раб, и смерд, и великий боярин, цари и вельможи... Но по одну сторону был Господь, а по другую

– трудно нажитое добро монастырское, дела и труды братии и хрупкая милость князя, что могла перемениться на злобу и гонения. Добро мужам, свыше вдохновенным от Бога, как многого разумному и красноречивому Серапиону! Добро и тем инокам, что в железах, во власянице, скудно хлебом и водою пропитахуся, дерзают молвить правду сильным мира сего, ибо нечего отобрать у них, кроме жизни сей мимолетной и брэнной, коею мученический конец даже и украсит, отворив праведнику врата в Царство Божие!

И, думая так, завидовал он сейчас нищим инокам, святым затворникам, и вздыхал, и быстро взглядывал на сурово застывшего протопопу. Тяжел крест, на раменах несомый к Голгофе, тяжел и наш крест, в суе и скорби дел и страстей земных!

И были мелкие мысли о горицком настоятеле, о доходах; и даже о праведнике Никите, именем коего была наречена их обитель, подумал часом игумен грешно. О Никите, которого некогда растерзала толпа за старый грех мздоимства; Бог простил, миряне не простили прежней неправедной жизни! Изнесли из кельи затворника и разорвали на куски. Не было ли и то также от Бога: конец мученический прият за передняя?

Сам Дмитрий Александрович усакал во Владимир налегке, но младшего княжича, Данилку, везли с собой, и вдова, Александра, ехала с обозом.

Гаврило Олексич тоже ехал с церковным поездом. Бранил нашкодившего сына:

– А ну как до митрополита дойдет? Там и я тебя от церковного покаяния не спасу!

Умолкая, он прикладывался к немецкой стеклянной фляге с греческим вином, гасил раздражение. Их возок был широк и обит иноземным бархатом – княжому не уступал.

Боярам церковный съезд был важнее, чем другим. Статьи о рабах, о судах церковных и покаяниях касались каждого из них кровно. При завещаниях, сделках и менах духовная власть почиталась паче прочей. Любую важную грамоту скрепляли у архимандрита. Свои поминальники были у каждого боярского рода при излюбленных монастырях. Сюда ходили исповедоваться, здесь каялись и оставляли вклады «по душе». На смертном одре в присутствии священника отпускали на волю «души ради» холопов, иногда наделяя добром... Как и что решат на соборе во Владимире? Как потом поворотится все, что по пьяной горячности случилось и проходило: и от гнева тяжко поднявшаяся на нечаянное увечье рука, и иные неправды, и скоромные забавы, о которых потом бормотали, наливаясь бурой кровью, на исповеди, а от холопок понасиленных откупались владимирским платом да парой серег, а то и прищипнув на дуру, что обиделась господской лаской... Но тут была власть высшая, митрополичья, не свой духовник, что все простит и забудет. Тут могли постановить такое, что придет после и оглядываться! Думали и о том, кому, какому князю и княжеству будет больше мирволить – и будет ли – старый Кирилл? То всё были заботы боярские.

Низовые служки, причт церковный и миряне тоже толковали о владимирском епископе Серапионе, слава которого уже разнеслась широко, горели желанием узреть и услышать масти того проповедника. Толковали и о возможных перемещениях после епископского съезда. Купаньский поп обиженно изъяснял дьякону, с которым вместе ехали они на открытых санях:

– Аз не учен... Своим умом боле... То, иное возглашай... а неведомо как! И книги ветхи. Боярину недосуг, мужики тож торопятце, ну и подмахнешь, иное пропускаешь, иное кратко скажешь... Я чем виноват?!

Дьякон кивал молча, согласительно и гадал про себя: лишат или не лишат места купаньского попа и, ежели лишат, кто будет заместо него, или пришлют кого из Владимира? То были заботы святительские.

Миряне, что провожали поезд, попросту радовались пути и дорожным развлечениям. В избе, куда вечером набилось – не продохнуть, за кашей и квасом мужики солено шутили. Один вспоминал, как умял девку под Владимиром и, чтобы не ревела, обещал жениться.

– О сю пору ждет!

– Эй, Федюх, девок тискашь?

– Ты их под поповским возком! Замолит!

Федор, красный, не знал, куда деваться.

– Брось парня! – вступился старшой.

Сказывали бывальщину, обсуждали виды на урожай, поминали летошнее «число». Заспорили о татарах, но скоро тоже свели на многоженство:

– Наставит каждой по юрте и ходит...

– Моя бы баба! Не приведи, все горшки побьет!

– О твою башку!

– Уж не о печь, вестимо!

Гоготали... Спать заняли весь пол, лавки, полати. Храп наполнил избу. Федор лег ближе к двери. Отцова шуба грела, и он тепло подумал об отце, засыпая.

В Юрьеве, в зимних сумерках, ничего не удалось толком разглядеть, и резной белокаменный собор только промаячил перед ним в отдалении. Убирая коней, он завистливо думал о старших возчиках, что могли позволить себе пройти по посаду. Ему приходилось задавать корм, чистить, распрягать и запрягать коней, исполнять работу за себя и за старшого и, как ни хотелось сбегать поглядеть Юрьев, отойти от возов так и не удалось. Приметил лишь, что частокол на городском валу обветшал и среди посада было мало новых строений.

На выезде его изумили поля, холмистые, далекие. Лесу не было видать до самого окоема. Розовые и голубые снега слились с белесым небом.

Мела поземка. Мелкое ледяное крошево больно секло щеки и лоб. Вороны и сороки вились над лошадьми, жадно набрасываясь на комья свежего навоза. Церкви, оснеженные соломенные кровли деревень, изредка рощи и опять снега под ясным, холодно-звонким небом. Он смотрел, смотрел... Уже сиреневые сумерки облегли небо, и солнце, снизившись, озолотило снега и утонуло за холмом, а он все не мог насмотреться.

Ночевали снова в пути, под Владимиром. Часть обоза ушла вперед: боярские и княжеские возки, возок архимандрита. Федору пришлось оставаться с обозом, зато он был вознагражден тем, что подъезжали к Владимиру на заре.

Сверкали снега. Голубело небо. Звонко кричали птицы. Воздух, хоть и подморозило, чуялся весенний. Чаше пошли деревеньки, потянулись встречные и попутные обозы, и вот – Федя даже привстал – вдали стал промелькивать скоплением крыш и острыми верха́ми башен великий город. И уже с какого-то бугра проблеснуло, и вот появились и уже не пропадали вновь золотые главы владимирских соборов, и росли, и приближались... Кто постарше, стали снимать шапки и креститься, и Федя тоже, с расширенными от счастья глазами, снял шапку и перекрестился, вдыхая тонкий запах дыма из многих труб и дымоходов в морозном воздухе, вслушиваясь в неясный шум городского многолюдья и тонкие, вдалеке, звоны владимирских колоколов.

Город надвинулся высоченными валами, по которым, в вышине, нависали рубленые городни. Удивляли терема с острыми крутыми кровлями, а более всего – густые толпы народу. Федя подумал, что в городе ярмарка, и только потом понял, что так тут – каждый день.

Шеломы соборов еще только проглядывали издали, скрываясь за кручами, густо обсаженными клетями и отыненными сосновою городьбой. Но вот обоз по широкой улице поднялся на гору, раздвинулись терема и показались вышки и гульбища, широкие кровли поварен, трапезных, гридниц, поварен, клетей, анбаров, теремов и палат митрополичья и княжого дворов, а над ними над всеми – белокаменные дива в резных львах и грифонах, в перевитых каменных трав, в круглящихся гранях закомар и высоких длинных окон, в вереницах святых мужей, тоже изваянных в камне на безмерных просторах соборных стен.

Федя глядел с раскрытым ртом, плохо соображая, что ему говорят, и как во сне – старшому пришлось сильно пихнуть парня, чтоб опамятовался, – начал делать свое дело: таскать кули и полсти с саней в хоромы, заводить и распрягать лошадей. Когда появился невесть откуда

Грикша и что-то спросил у него, Федя посмотрел на брата отуманенно восторженными глазами и выдохнул:

– Гриш, краса-то, диво-то!

Разделаться с работой и вырваться в город ему удалось только к вечеру. Солнце уже низилось, стены храмов розовели. Темные бревна городни стали рыжими. Обойдя большой собор – служба кончилась, и Федя только сумел заглянуть, сняв шапку, дальше порога его не пустили, – он вышел на угор и долго смотрел за Клязьму, где в снежных полях и разливе лесов курились далекие крыши деревень. Потом дошел до Золотых ворот и долго упрашивал ратного мужика пустить его наверх. Тот все выпрашивал, кто да откуда, пока из сторожевой избы не вышел молодой боярин. О чем-то спросив ратника, он оглядел Федю:

– Переяславской? Князя Митрия? – спросил он и, подумав, махнул рукавицей: – Вали! Недолго там!

Федя, не чуя ног, понесся вверх по узкой каменной лестнице. Задышавшись, достиг наконец верха, прошел вдоль галерейки, куда легкая пороша уже нанесла тонкий слой снега. Веник стоял прислоненный к заборолам, а ворота в надвратную церковь были затворены цепью. Он поглядел в щелку на мерцающий в свете редких свечей иконостас и оборотился весь к безмерному воздушному простору, открывшемуся ему с заборол.

Отсюда, со страшной каменной высоты, люди и кони внизу выглядели как мураши на снегу. Отмеченные желтым, текли дороги. Рядками, как снопы, стояли домики. И далеко-далеко уходила вечеряющая равнина в седых лесах с белой полосой реки. Он посилился представить татар, там, внизу, на ихних косматых конях. «Тут и стрела-то не долетит!» – подумалось ему. Солнце село, и быстро начало темнеть. Сзади с кряхтеньем выполз на заборол старик прислужник.

– Тебя давно тамо кличут, молодец! – укоризненно попенял он. И Федя с сожалением начал спускаться, все оглядываясь, задерживаясь на каждой ступеньке, водя рукой по холодному шероховатому камню стен с давними, процарапанными там и сям надписями, верно тех, кто стоял тут, когда Батыевы рати окружали город.

Грикша наведася к нему вечером. Они вышли на улицу из дымной, набитой мужиками избы под высокие владимирские звезды и долго говорили, и Федя все спрашивал, не в силах понять:

– Нет, ты молви! Я стоял тамо, на вратах, дак инда голова кружится! Сколь высоко! Как мураши внизу люди-то! Камень скрозь: тут не то что взять – и подступить немислимо! Как же татары наших одолели? Как же город-то пал? И не измором забрали! Хотя бы с голоду сдались, а приступом! Ну не тут, не у Золотых ворот... Все одно, валы-то какие! Нет, ты скажи, молви! Как же так?

С княжичем Данилой Федя встретился случайно, на третий день. Данилка первый узнал и окликнул Федю. Федор и не знал, что княжич ехал тем же санным поездом, что и он, а и узнал бы, не стал, наверно, казать себя. В Юрьеве, где Федя только с посада, издали, глядел на собор, Данилу с матерью принимал и чествовал у себя в тереме сам юрьевский князь Ярослав Дмитрич, и спали они в княжьем тереме на пуховых постелях. Здесь, во Владимире, Данил тоже остановился на княжьем подворье, и только потому, что Александра днями пропадала в митрополичьих хоромаш, оказался без дела тут, на дворе, где и узнал, взглядевшись, Федю, сильно выросшего, но с тем же застенчиво-жадным выражением свежего лица и широко раскрытых, сияющих глаз. Они поздоровались. В большом чужом городе, вдали от домашних забот, Федя неложно обрадовался Данилке, не чувствуя той постоянной насмешливо-завистливой остуды сторонних, которую ощущал всегда мальчишкой, водясь с княжичем. Тем паче что не виделись они несколько лет.

Подростки, не сговариваясь, пошли за ворота, один в простом, другой в дорогом платье, и, перебивая друг друга, торопились рассказать, что с ними было за протекшие годы.

– Митю новгородцы бросили, а то бы он не уступил! – говорил Данилка горячо, с новыми, властными переливами ломающегося голоса, которых у него не было раньше. – А дядя Василий татар созвал. Он у нас был, обедал. Матка его ругала даже!

– А у нас костромичи кобылу свели, Лыску, – рассказывал в свою очередь Федя. – И Белянку татары съели, когда нас числили.

– И у нас забрали сорок коней со двора, – отвечал Данилка, – да ратным подарки, и порты им давали, и сбрую, и ячмень, и сено, и кормили их. А Феофан с Павшей с дружиною у Гориц стояли, и ничего тоже не сделали им! А «число» когда клали, тоже полон двор был татар у нас, и тоже с наших жеребят конину варили! Им конина – первая еда.

Приятельи шли по пути, избранному Федей в первый день. Так же подошли к Успенскому собору и зашли внутрь и служитель безмолвно пропустил их, покосившись на Федю, но Данила прошел, будто и не видя никого, кроме Федора. Они постояли в соборе, обошли боковые притворы и осмотрели иконостас, причем Данила купил свечей и расставил перед иконами. Потом оба постояли над Клязьмой, поглядели на юг, туда, где терялась в лесах дорога на Муром, и пошли к Золотым воротам. Княжич уже бывал тут не раз, и сторож – опять только покосился на Федора – пропустил безмолвно. Мальчики поднялись на глядень.

– Мой батя города бы не сдал! – серьезно сказал Данила, выпрямясь и озирая дорогу, откуда почти сорок лет назад подходили бесчисленные татарские рати. Федя глянул сбоку на княжича. Данил смотрел строго, и впрямь казалось, что будь Невский на месте Юрия, все бы поворотилось по-иному. «Зачем же тогда князь Александр кланялся татарам?» – подумал, но не сказал Федор.

– Ты с девками не знался еще? – вдруг, порозовев, спросил Данилка, и Федя, тоже краснея и стыдясь, отчаянно привирая стал рассказывать про свою зазнобу и, желая прихвастнуть, намекнул, что уже знал девушку.

– А я еще ни разу! – простодушно признался княжич, и Феде пришлось, спасая свою ложь, в которой он успел горько раскаяться, сочинить целую нелепую историю, присовокупив в конце, что все это пакость и лучше с бабами дела не иметь.

Вспомнил княжич и Проську. Узнав, что сестренка выросла и уже ходит на беседы, сам рассказал про племянша, Ванятку, который так и рос под Даниловым надзором. Митина женка родила с тех пор второго сына, но Данилка привязался к старшему и продолжал возиться только с ним.

Федя все хотел, но так и не решился спросить княжича, дают ли ему Москву и бывал ли он в ней? Сам Данилка, «московский князь», – вспомнил Федя насмешливое прозвище – о том не поминал, и Федя тоже решил не спрашивать.

Их разыскали у ворот Княгинина монастыря. Пожилой боярин с несколькими холопами верхами подъехали к ним. Боярин спешил, и с ним подросток, ихних лет, в боярском платье. Данилка приятельски кивнул обоим, без смущения назвав боярина по имени, Федором.

– Как и тебя зовут! – присовокупил он, поворачясь к Феде. Затем представил Федю боярам: – Приятель мой, вместех учились с ним! – сказал он и, снова указав на боярина, прибавил, уже для Феде: – А его мне батя покойный поручил, со мною быть!

Княжичу подвели коня, и, после мгновенной заминки, один из холопов, подъехав, принял Федю к себе на седло. Они воротились к Детинцу, и Данилка еще пожелал проводить Федора до самой его избы, сердечно распростиаясь на глазах удивленного старшего, которому бросил совсем уже по-княжески:

– Не брани, со мною был!

У Феде хватило ума не хвастать дружбой, объяснив старшему только, что княжич, по переяславскому знакомству, брал его в провожатые и он не мог отказать сыну Александра. Старшой похмыкал, покачал головой, и лишь когда Федя с готовностью, даже не евши, пошел обихаживать лошадей, успокоился и предложил:

– Да ты выхлебай щи сперва, простынут!

В избе ратные спорили о возчицких доходах. Какой-то местный, владимирец, сидел с ними и жалился, что одолели ростовщики, берут с живого и мертвого, серебра нет, а возьмешь в рост – не расплатиться, лихвы и то не оправдать...

Федя так и уснул в углу, на своей овчине, под монотонные жалобы гостя, который все никак не хотел уходить, а сидел, глядя тоскливо на огонек одинокой свечи, перед чашкой квасу и бормотал, бормотал, когда уже переяславцы, почитай, все поукладывались и только старшой да еще двое мужиков клевали носами, жалея выгнать владимирца...

Глава 22

Данилка был во Владимире уже второй раз, вернее третий, но первого раза, когда хоронили отца, не помнил совсем, а от второго посещения, пять лет назад, у него остались только сбивчивые воспоминания о долгих службах, пространных и чужих покаях с массою незнакомых лиц да уличной пыли. Теперь он впервые по-настоящему знакомился с Владимиром.

Сам, испытывая гордость перед собою, побывал в соборе Рождественского монастыря, пустом и строгом (не в пример пышно изукрашенному Дмитровскому, где была могила прадедушки Всеволода Великого), чем-то странно похожем на их родной Переяславский собор, и долго стоял перед гробницей отца. Хмурился, стараясь вызвать слезы, слез не было. Мешали восчувствовать шепоты, доносившиеся сзади:

– Сынок Александра, последний!

Он приложился к холодному камню, расставил и зажег свечи. Постоял еще, подумав, как жаль, что батя не видит его сейчас, и оттого вдруг защипало глаза. Стало обидно, что и Андрей, и Митя, и покойный Василий – все знали и видели отца, и только он не видел и не запомнил ничего, даже похорон. Он расплакался и даже не мог объяснить ничего боярину Федору, который нынче опекал его с особым тщанием, всюду провожая, и с сыном которого, Протасием, или Веньямином (последнее имя было крестильное), Данила теперь бывал все чаще и чаще. Вместе катались верхом, вместе побывали на охоте. Венька учился во Владимире и знал кое-что неизвестное Даниле. Он рассказывал иногда про римских кесарей, про древних киевских князей, про Владимира Мономаха, который громил половцев, ходил на Царьград, строил города и соборы. И Данилка молча слушал, испытывая уважение и легкую зависть. Иногда спрашивал:

– От Олега Святославича Черниговского – рязанские князья?

– Рязанские от его брата, от Ярослава Святославича, а от него черниговские!

Данил кивал головой, запоминая.

– И Михаил Святой тоже от него?.. А Мария Ростовская, вдова Василька, она дочь Михаила?

– Дочь.

– Родная?

– Да.

– Стало, и ростовские князи по роду от Олега?

– Род от отца идет! Не по матери! – возражал Венька.

Впрочем, уважая ученость, сам Данилка больше тянулся к делам хозяйственным. Ему нравилось бывать в торгу, заходить в лавки, трогать оружие, посуду и ткани. Во Владимире он упросил монастырского келаря пустить его в ризницу и долго разглядывал сионы и облачения, посохи, наручи, митры, шитое золотом и жемчугом богатство епископского двора, премного оскудевшее, как говорили ему, после татарского разгрома. Митрополит, хоть и подолгу жил во Владимире и даже покои себе выстроил, но кафедра по-прежнему считалась и была в Киеве, и самые древние священные одеяния, реликвии и сосуды тоже хранились там, как передавали, в пещерах под горой.

Так же внимательно Данила обходил всегда конюшни и мастерские. Еще маленьким он подолгу мог смотреть, как варят сыр или перетапливают коровье масло, как коптят рыбу и мясо, трогал туши, запускал руки в зерно и уже мог правильно сказать, почти не задумываясь: сухое или влажное, готово или нет, – про всякую приготавливавшуюся дома впрок и про запас снедь, зерно, крупу, рыбу или овощ.

Венька был высокий, выше Данилы, костистый, с большой головой. У него уже пробивалась светлая бородка и усы. Утром другого дня, как Данил встретился с Федором, они выехали верхами прогуляться, и Ориниными воротами выскакали за городские валы. Данила запомнил вопрос Федора и про себя повертывал его и так и эдак. Батя жил в мире с Ордой, и Федя, конечно, был прав, хоть Данила ни за что бы в том перед ним не признался. Батя тоже не мог, видно, справиться с татарами, потому и платил им дань...

«Почему тятя не собрал всех воедино, как когда-то Владимир Мономах, чтобы разгромить татар?» – думал Данила, озирая окрестные поля в перелесках, в путанице дорог и крыши там и сям, курящиеся белым дымом. Он не выдержал наконец, спросил Веньку, но не про отца, а про Юрия Владимировского. Почему тот ушел, бросил город, не собрал всех вместе против Батыя?

Венька пожал плечами и отвел глаза. Он знал из рассказов и летописи, что Ярослав Всеволодич, дед Данилы, не помог Юрию. Но Юрий и сам не помог рязанским князьям!

Древние киевские князья были великие, они держали всю землю, ходили на Византию, били печенегов и половцев. Почему теперь не достало сил – он не знал сам. И отец его не знал, и не знали другие бояре, когда приезжали к отцу и ненароком, после судов-пересудов о родичах, хлебе, скотине и прочих хозяйственных делах, поминали татар, ордынский выход или подарки баскакам. Не устояли! Половцы тоже были разгромлены татарами!

Вениамин поводит плечами, не знал, что ответить княжичу.

А Данила не отставал: почему да почему? И верно, почему они разбиты? Почему платят дань? Кони лучше у татар – дак в лесах с конем не развернешься! Луки дальше бьют – дак на что и города со стенами? Много их было? Даки половцев, что бил Мономах, тоже было не мало! Поди, не меньше, чем татар!

– У их и пороки, и тараны, все-все было! Они и не такие, бают, брали города! – ответил Венька без уверенности в голосе.

Данила смолк. В самом деле, зачем пытаться Протасия! Все это должны решать дядя Василий, старшие братья, бояре, митрополит, и все-таки? Как же так? И что делать теперь?

Глава 23

Дядю Василия, нынешнего великого князя, Данила нынче видел каждый день за трапезой. Василий приехал почтить старого митрополита, ветхого и, казалось, уже бессмертного, так как умирали князья и княгини, менялись епископы и игумены монастырей, а он все жил, и хватало сил на долгие пути отселе в Киев и по южным градам русским, хватало сил на долгие службы, и труды церковные, и наставления. Принимали благословение у него даже с некоторым страхом.

Василий сильно сдал за последний год. Резче пролегли морщины, голову обнесло седой. Он был бездетен – двое ребят, что принесла было жена, умерли во младенчестве – и начал уставать от власти. Старая обида на брата Ярослава, что когда-то распоряжался у него на Костроме, как в своей вотчине, угасла. Заботы вечные, как собрать и выплатить ордынский выход, порядком измучили его. Князья только и глядели, как бы переложить неминуемую дань на плечи соседа. Постоянная вражда новгородских бояр, запутанные дела владимирского княжения – все это утомляло. Он с великой неохотой нынче внимал своему воеводе, Семену Тонильевичу, толкнувшему его на борьбу за власть со старшим братом, а затем – с племянни-

ком Дмитрием. И... не то что хотел бы отказаться от власти – слишком и он был Ярославич, чтобы выпустить из рук великое княжение владимирское, – но неприметно все более долила его пустота власти. Дома – жалобы больной жены, вечные заботы, отхлынувшее куда-то веселье прежних беззаботных лет. Даже давнюю мечту свою: получив великое княжение, облегчить княжью дань своим костромичам – даже и того он не сумел сделать. Орда сосала Русь, и брать приходилось со всех неукоснительно. Добро было и то, что костромские купцы наживались на волжской торговле. Лодейные караваны ходили в Сарай, опускались даже и до Хвалынского моря, добирались до гор Кавказских... А все было как-то непрочно! И власть, и доходы, и милость хана...

Даже здесь, во Владимире, все шло и так и сяк. Ключник жаловался, что неостанет запаса. Мало было хорошей рыбы. Мороженых судаков, клейменных осетров и мешки воibly спешно везли из Костромы. Масло даже за княжью трапезой попадалось кислое – перележалось. Василий сам заходил в медовуши, тряс за шивороты ключников, проверял, бранил. Гостей было по случаю церковного съезда не впрокорот, и он холодел при мысли, что его прием окажется беднее Александровых и даже брата Ярослава. Тем паче что из Твери прикатила целая куча гостей, и Святослав, сын покойного, недавний союзник противу Новгорода, был среди них. Да, не так представлял он себе когда-то великое княжение владимирское!

И с Александрой после похода на Переяславль было нелегко встречаться, и Данил, младший Александров сын, что тогда казал его с крыльца внуку Ивану, выросший, ясноглазый, тревожил его каждодневным присутствием за столом. Впрочем, гостей было много. Миряне и иереи, ростовчане, тверичи, и свои костромичи, и переяславцы, и владимирцы. Боярынь и княгинь кормили в иной палате, отдельно от мужиков. И духовных ради, и того ради, что за столом сидели татарские послы: великий баскак и с ним еще неколико татар княжеских родов. Сидели хозяева, и чем выше было его место – нынче самое высокое на Руси, – тем обиднее было, что хозяин все-таки не он, а эти: в своих тюбетейках или меховых шапках, в пестроцветных халатах, важные, красные, евшие досыта и пившие допьяна за его столом, как за своим собственным, и их, упившихся, бережно вели под руки его, Васильевы, холопы до опочивальни, и несли вино, и посылали дворовых баб стелить постели. И ему, князю, и боярам его было обидно и стыдно: кто у кого в гостях?

А город шумел за стенами княжеского двора, сходил на игрища и кулачные бои, торговал и строил, ковал, шил, чеботарил, мастерил, божился и плакал – стольный град Владимирской земли!

Глава 24

Александра водила Данила к митрополиту Кириллу в первый же день по приезде, к вечеру. Кирилл, ветхий и весь как бы светящийся, долго смотрел на юного князя, младшего сына Александрова, на расплзшуюся, поседевшую вдову, что когда-то ратовала за этого княжича, тогда еще младенца суца, и отмечал про себя течение времени, безостановочный бег, уносящий годы и людей и рождающий новые жизни, что, в свою очередь, отцветут и угаснут для новых и новых поколений. Вот уже нет Андрея и нет Ярослава. И из братьев князя Александра ныне остался лишь самый младший... Что единое, как не вера, не заветы отцов и прадедов, возможет связать нерасторжимою нитью эти проходящие жизни? Он перебирал свои дела и труды, давно уже загодя подводя итог жизни и готовясь отойти к престолу Господа.

От Менгу-Тимура, хана ордынского, он сам получил ярлык, охраняющий церковь от грабежа, насилия и ордынской дани. Он рукополагал епископов, утвердил епископию в Сарае, а ныне упрочивал православие на Западе, где католики грозили вторгнуться с мечом и крестом на русские земли.

Теперь надлежало укрепить саму православную церковь, почему он и уговорил знаменитого киевского проповедника Серапиона перейти во Владимир. Здесь, в лесной и северной Ростовской молодой земле, еще не утвердился крепко свет веры, еще меря и мордва, да и русичи иные держались языческих треб, и учительное слово мудрого мужа было паки и паки необходимо.

И ныне здание церкви увенчивалось. Надлежало утвердить обряды и правила – то, что пройдет в века, что не будет поколеблено ни войнами, ни мором, ни голодом, ни лихолетьем, ни раздорами князей. Таинства причащения и ясные символы веры, правила ведения службы, ограждающие православную церковь от лести католиков, суды церковные, «Номоканон» и те дополнения к нему, коих он неукоснительно добивался и добился: о рабах и рабынях, и о прещении инокам имети холопов в услужении своем, и о том, что господин за обиду должен отпустить рабу свою на волю, – чего не было в византийских правилах утвержденных и что разыскал он в древних книгах, и даже едва ли не сам измыслил, ибо то, чего жаждешь найти – и в злом и в добром, – находится для тебя всегда...

Благословив юного княжича и отпустив его и вдову, Кирилл позвонил в колокольчик. Вошел служка. Еда и прочие телесные блага мало занимали места в жизни престарелого митрополита. Его трапеза и в обычные дни почти не отличалась от постов. Красота облачений, дорогие потиры и митры, груз золота, серебра и камней на священных реликвиях – тоже уже не воспринимались им и были несомы привычно, как крест жизни, как вериги, к коим за долгие годы привыкает тело. Впрочем, престарелый митрополит не истязал себя ни веригами, ни власницею.

Испив воды, едва одобренной брусничным соком и несколькими каплями меда, – хлеба на ночь митрополит давно уже не вкушал, – и помолясь, он приказал разоблачить себя. Служка поставил ночную посудину с крышкой, помог омыть руки и лицо. Наконец, оставшись в нижнем тонком льняном облачении, Кирилл улегся на прохладную и скользкую, набитую свежей соломой постель, откинул голову в ночной скуфейке на взбитое пуховое взголовье, подтянул легкое, тоже пуховое одеяло и сделал разрешающий знак службе. Тот вопрошающе глянул на митрополита, имевшего обыкновение читать перед сном, но митрополит едва повел глазами. Он слишком устал за сегодняшний день, и следовало беречь силы для завтрашнего долгого и трудного прения с иерархами. Ему было уже известно о многих и многих нестроениях, кои надлежало исправить властно, без пагубной жалости к немощи и лукавству человеческому, и после уже, соборно, полагать правила на будущие, скрытые завесою неведомого времени.

Он лежал, и тихое довольство разливалось по телу. Вот и снова он во Владимирской, ставшей уже почти родною, земле. Быть может, ей, а не старинному, ныне зело умалившемуся Киеву и суждено величие в веках; и свет православия, быть может, именно здесь, в пределах лесных и северных, воссияет ярче всего?

Кирилл чуть-чуть пошевелился, погружаясь в сон. Лампада горела ровно, чуть освещая гладко тесанные янтарные стены покоя. Печи топили внизу, и изложницу митрополита обогревали через отдушину теплым воздухом, так что ни дыма, ни копоти не было на стенах и на тесаном невысоком потолке. Было тепло, хорошо, покойно. Надлежало собраться с силами к завтрашнему трудному дню. Он уснул, не задерживая полога, и спал легко, не шевелясь и едва заметно дыша. И мир и покой были на его отененном краем полога сухопрозрачном, со смеженными веждами лице.

Глава 25

Грикша прибежал за Федором чуть свет и поволок его за собою. Дворами и по-за клетями вывел к собору. Успели. По улицам, от многолюдства, уже было бы не пробиться. Грикша спешил. Поговорив с кем-то из служек, сунул Федора на паперть у боковых дверей:

– Стой тут! А как пойдут, туда пролезай зараз! Мне недосуг с тобой, смотри, зараз лезай, не мешкай!

Он убежал рысью. Народ прибывал и прибывал, как море. Бабы в платках и киках, странники, молодые и старые горожане, мужики, парни, женки. Федора затолкали совсем. Памятуя братние слова, он держался дверей, боясь, что и верно: задавят – не попадешь и в собор. Бабы судачили, поругивались, старались пропихнуться поближе ко входу и тут же покаянно вздыхали.

– Согрешили! Жизни никому нет, – говорила одна, цепляясь за плечи и изо всех сил стараясь удержаться на верхних ступенях, – кто и хорошо живет, а жизни нет. Не у самого, дак у сясстры, тетки, своюродника кого... И живут хорошо, а все одно – жизни нет!

– Он в монашеском, – поясняла другая, где-то за спиною у Федора (он слушал, поворачивая ухо, но не мог обернуться, толпа мешала, совсем притиснув). – Тут вот белое, на голове, клобук, бают, а тут черное, как бы оболочина, накидка. Вроде опашня, широкая. И сколько его идет встречать духовенства, послушников! У дверей сымают накидку ту и одевают манатью, длинную такую, и несет хвост-от мальчик... Да не давите так, православные!.. И уже ему дают посох в руку, а потом уйдет на возвышение, и там облачают, и дьякон дает возглас: «И, как невесту, украсить тебя!» ...Батюшки, куды и прет, куды и прет!.. Молодушка, али ты без глаз?.. Сюда стань!.. А еще как посвящают-то в епископы... Марья, Марья, к нам! Это наша, я ей место заняла! И у тебя не куплено!..И вот духовенства тут наставят рядами от олтаря до возвышения. Избранника, как клятбу дает, ведут от олтаря по орлецам. И митрополит над ним читает. И тут пение красиво! А потом скажет митрополит-то ему: «Иди, весь народ благослови, они за тебя молились!» И он уж тут рук лишится: все к нему подходят...

– И все ты путашь, молодушка, – вмешалась третья баба. Начался спор.

– А ты хитра больно, я-то почадче тебя! Я ровня твоей матери!

– Как ты постишься? – спрашивали в другой стороне. – Вот ты скажи: пост, а ребенка как кормить, молоком-то?

– Думаю, не в еде дело! Знашь, как преосвященный Серапион объяснял: надо духом очиститься. Иная стоит прилежно и платочком накрыта, глаза опустив, а изнутри у нее бес. Возлюбить надо!

– Сам будет ли?

– Будет! И митрополит, и владыка...

Федя, кося глазом, наконец увидел молодку с истовым и чистым лицом, что говорила про посвящение. Рядом старухи толковали про Серапиона:

– Толь красиво говорит проповеди, так и льется речь, так и льется!

– Языки знает!

– Из Киева он приведен.

– А ты в Киеве бывала?

– Там не так!

– Одна вера! Это у католиков...

– А они какой веры, католики?

– Какой-то не нашей.

– Тоже христианской, бают!

– А уж не такой! У них вера неправая, что у етих, махметов, магометов, – а не выговоришь! Там по десяти жен наберут...

Народу все прибывало. Толпа тяжело покачивалась, уплотняясь так, что становилось трудно дышать. Наконец пронеслось:

– Идут!

Федор изо всех сил вытянул шею, тут до конца оценив братнину предусмотрительность. Шествие выходило из-за палат, огибая собор. Алые и золотые ризы лучились на солнце. Он

совсем близко увидел улыбающееся лицо невысокого и полного, с пролысинами надо лбом, епископа Серапиона (шепотом, как ветер, передавали, указывая на него, в толпе: «Вот он, вот!»). Лицо у епископа было в припухлостях, он что-то говорил, улыбаясь спутнику, что шествовал рядом, и лицо в улыбке становилось очень добрым и приятным, жизнеприемным. Следом шел соборный протодьякон Неплюй, высокий, слегка заплывший. Крепкий затылок круглился под гривой волос. Ризы колебались в лад шагам, стройные сухощавые юноши послушники и молодые священники несли иконы и хоругви. Монахи, дьяконы, священники шли и шли, изливаясь ало-золотым и бело-серебряным шествием, и, огибая собор, направлялись ко главному входу.

Засмотревшись, Федя чуть было не оказался сброшен со ступеней, так все хлынули внутрь. Но, отчаянно нажав плечом, он успел втиснуться тоже, и толпой его вынесло прямо к середине собора. Он увидел череду служек в белом и проходящую к алтарю процессию, епископов и самого митрополита. Воспринимая больше глазами, чем слухом, Федя старался не упустить, как надевали облачения, как выносили дорогие, сверкающие камнями, панагии. Он услышал даже, как Кирилл сказал тихо прислужнику, что держал перед ним раскрытый служебник: «Выше!» И чудно показалось ему от этого простого слова во время почти уже неземной красоты обряда.

Федор плохо слушал службу. Все было знакомо, хоть и пышней, чем у них, и хор был оглушающе грозен, и умирительно чисты верхние голоса маленьких певчих. Но весь обратился в слух, когда епископ Серапион вышел на амвон, и повернулся к народу, и воздел руки, и стало тихо и трепетно в храме, и когда он глубоким, ясным и, правда, каким-то льющимся голосом заговорил:

– Мал час порадовался о вас, чада, видя вашу любовь и послушание, и мнил уже, яко утвердились и с радостью приемлете Божественное Писание. Но увы! Все еще поганского обычая держитесь, волхвованию веруете, пожигая огнем неповинных! Аще кто из вас и не причастен к убийству, но единой мысли с убийцами – убийца есть!

По толпе прошел шорох. Недавно за Ветчаным концом, на Лыбеди, опять сожгли ведьму, о чем наместник судачил весь город. Какая-то баба шепотом, за спиной у Федора, принялась объяснять:

– Баяли им, что неправду деют! Может, она и не ведьма была! Сожгли женку ни за что!

– Тише ты! – зашикали на нее со всех сторон.

– Кто верует Богу истинно, тому и чародейцы не вредят! – твердо добавил Серапион, озирая плотную толпу прихожан, и новый ропот, ропот смущения, рябью пробежал по людскому морю.

Он помедлил, поднял руки, казалось – подавая их всем сразу, и мужикам и бабам внизу, и князьям с княгинями вверху, на хорах собора.

– Не тако скорбит мать, видящи чада своя боляща, яко же аз, грешный отец ваш, понеже не переменишася от дел пагубных!

Аще кто из вас разбойник – от разбоя не отстанет; кто крадет – татьбы не лишится; аще кто ненависть на друга своего имеет – не оставит вражды; грабящий не насытится; резы и лихву емлющий и того не перестанет! Кому собираете богатства свои? Кто, окаянный, помыслит, яко наг родился и наг отходит, ничто же с собою не возможет унести? Кто любодей из вас – не престанет и того деяти; сквернословец и пьяница своего обычая не покинут... Как же утешусь, видя вас от Бога отлучаемых? Како обрадуюсь?

Сею в ниву сердец ваших семя божественное, но не вижу ни ростков прозябнувших, ни плода!

Голос Серапиона все рос, и слова его, простые и горькие, тяжело упали в замолкшую людскую массу.

И Феде, зажатому в толпе, и Данилке на хорах собора, тоже притиснутому к самым перилам, равно казалось, что епископ Серапион обращается именно к нему и говорит с ним одним, умоляя обновиться душою и убояться кары Господней.

– Кому грядем? Кому приближаемся, отходя света сего? Что речем? Что отвещаем? – спрашивал Серапион, после каждого вопроса умолкая и обводя очами собор, точно ожидал ответа. – Страшно есть, чада, впасти в гнев Божий!

Он вновь простер руки, как бы обнимая любимую и грешную паству свою, и голосом еще более глубоким и проникновенным заговорил о каре Господней:

– Многим учаше ны, и ни единого из глагол его не прияша! Тогда наведе на ны язык немилостив, язык лют, язык не щадящ красоты юных, немощи старец, младости детей:..

У Федора холод прошел по спине. Он ждал всего, но не этого прямого слова о бедах родимой земли. Все, заслышав о татарах, молчали, оглядывались, понижая голос. И тут – с амвона, всенародно – эти падающие, как светочи, золотые и жгучие слова! И Данила замер на хорах, оцепенев от восторга, и замерли, выпрямляясь и сдвигая брови, бояре, и, потупив очи, слушал святителя князь Василий, поминая, что и он наводил иноплеменных на родную землю.

– Не пленена ли бысть земля наша? Не взяты ли грады наши? Не вскоре ли падеша отцы и братья наша трупием на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены ли быхом оставшие горькою работою от иноплеменник?

Се уже сорока лет приближает томление и мука, и дани тяжкие на нас не престанут! И глады, и морове. И всласть хлеба своего изъести не можем, воздыхание и печаль сушат кости наши!

Замер собор. Мертвая тишина, так что слышно потрескивали свечи, повисла под сводами. Перестали толкать друг друга, прекратились шепоты. Только голос Серапиона заполнял вышину:

– Разрушены божественные церкви, осквернены сосуды священные, потоптаны святыни, святители повержены в пищу мечам и плоть преподобных мнихов – птицам на съедение! Кровь отцов и братья нашей, аки вода многая, землю напои. Князей наших и воевод крепость исчезла, храбрые наши, страха наполнишесь, бежали, братья и чада множицею в плен сведены.

Села наши лядиною поростоша, и величество наше смирися, красота наша погибе, богатство наше иным в корысть бысть, труд наш поганые наследовали. Земля наша, русская, иноплеменникам в достояние бысть и в поношение стала живущим о край земли, в посмешище врагам нашим. Ибо сведох на себя, аки дождь с небеси, гнев Господень!

...И ныне беспрестанно казимы есмы, ибо не обратились ко Господу, не покаяться о беззаконьях наших, не отступили от злых обычаев своих: но аки зверье жадают насытитесь плотью, тако и мы жадаем поработити друг друга и погубити, а горькое то именье и кровавое себе пограбити.

Звери, ядше, насыщаются, мы же насытитися не можем!

За праведное богатство, трудом добытое, Бог не гневается на нас. Но отступите, братие, от дел злых и темных! Помяните честно написанное в божественных книгах, еже есть самого владыки Господа нашего большая заповедь: любите друг друга! Возлюбите милость ко всякому человеку, любите ближнего своего, яко и себя!

Ничто так не ненавидит Бог, яко злопамятства человека. Како речем: «Отче наш, остави нам грехи наша», а сами не оставляюще? В ту же бо, рече, меру мерите, отмерится вам!

Серапион умолк, и молчал собор, потрясенный словом владыки. Он оглядел паству, добавил тише, с грустною укоризной:

– Взгляните на бесермен, на жидовин, среди вас сущих! Поганые бо, закона Божия не ведуще, не убивают единовверных своих, не ограбляют, не обадят, не поклепят, не украдут, не заспорят из-за чужого. Всяк поганый брата своего не предаст, но кого из них постигнет беда, то выкупят его и на промысел дадут ему, а найденное в торгу возвращают, а мы что творим,

вернии?! Во имя Божье крещены есмы и заповеди его слышаша – а всегда неправды исполнены, и зависти, и немилосердия. Братью свою изграбляем, в погань продаем, кабы мощно, съели друг друга!

Окаянный, кого снедаеши? Не таков же ли человек, яко же и ты? Не зверь есть, не иноверец, такой же русин и брат твой во Христе! Или бессмертен еси? Или не чаеши суда Божия?

Молчали. Иные утирали слезы. Долог путь от слова к сердцу и от сердца к деянию. И сколь легче откупиться от совести свечой, вкладом или иным приношением, чем жить по завету Христову, по завету братней любви!

Но блажен народ, у коего есть святители, могущие сказать слово, и блажен тот, кто услышал слово в юности, когда ум и душа открыты правде и слово падет не на камень и не в пучину морскую, а на ниву благодатную и, рано или поздно, произрастет в ней семенами добра!

Два мальчика, один внизу, другой на хорах собора, поверяли сейчас свою совесть по слову святителя, отмечая благие порывы от дел, и дел оказывалось совсем немного, много меньше, чем хотелось тому и другому. Просветит ли им за жизнью, с ее бедами, трудами и прельстительными радостями, днесь услышанное слово, даст ли оно плоды добрые, и когда, и как?

Часть вторая

Глава 26

Семейная жизнь не заладилась у Андрея. Вспышки страсти перемежались ссорами, когда Феодора холодно молчала, упорно отводя непроницаемые глаза, а князь в гневе пушил слуг или кидался наконь, носился по полям, загоняя скакунов и себя бешеною охотой. Однако с тестем они сошлись. Давыд умел не замечать капризов старшей дочери, а князя увлекал далеко идущими планами, которым Андрей внимал все с большим и большим интересом.

Сразу после свадьбы, и еще до смерти великого князя Ярослава Тверского, Давыд Явиевич и повез его в Ростов, сперва одного, а потом с молодой женой, прихватив и вторую свою дочь, Олимпиаду, только-только еще выходящую из детского возраста.

Ростов являлся некогда старейшим градом Владимирской земли, и князья ростовские поднесь пользовались особым уважением среди потомков Всеволода Великого. Память прошлого величия, а также древние споры о старшинстве и старинная, дедовская обида отделяли их от прочих Всеволодичей. Некогда старший сын Всеволода, Константин, вопреки воле родительской, «не восхоте оставить Ростова», и Всеволод, опалась на первенца, передал великокняжеский престол второму сыну, Юрию. Константин, оставшийся в Ростовской земле, по словам летописца, «воздвиже брови своя с гневом» на советников отца и вскоре после смерти Всеволода, в 1216 году, в грозной сече на Липице, наголову разгромил соединенные войска братьев, Юрия с Ярославом, воротив себе княжение владимирское.

Спор, впрочем, стал уже стариною глубокой. Константин умер, не просидев на великом княжении и трех лет. Свою волость, Ростовскую землю, куда входили Ростов, Ярославль, Углич и Белозерск, он оставил детям, Васильку, Владимиру и Всеволоду (и те вскоре разделили ее на три удела), а владимирский стол перед смертью воротил Юрию, заповедав сыновьям во всем слушаться дядю. Почему он так сделал? По лестничному счету это было правильно: младший брат наследует после старшего. Но самому же ему пришлось отстаивать это право оружием – поизветшала великая киевская старина! Каждый князь старался оставлять добытое в роду. Возможно, Константин предвидел, что Юрий с Ярославом не успокоятся (а дети были еще малы, старшему, Васильку, сравнялось только девять лет), и, избегая кровавых ужасов, решил уступить сам. Или, взвесив все и глядя на мир сквозь мудрость веков, взвесив и примирясь, счел право выше силы; или просто устал от борьбы, от глухой вражды бояр, соболезнающих Юрию, и махнул рукой... Впрочем, иногда глубокая мудрость нужна именно для того, чтобы поступить самым простым образом.

Ныне все, кто тогда ревновали о власти, умерли или погибли под саблями татар. Юрий, воротивший престол после смерти Константина, бесславно погиб на Сити, умер и Ярослав Всеволодич. Из ратников, которые дрались на Липице вкуче с Константином и видели его, высокого, с порозовевшим лицом, упрятым глубоко под высоким граненым шоломом, в час, когда новгородские пешцы пошли на приступ, пометав шубы и сапоги, и когда он, оглянув из-под ладони поле боя, веселым голосом бросил: «Спаси Бог, надо помочь этим добрым людям!» – и сам, с дружиною, врубился в разрушенный новгородцами строй Юрьевых полков, довершая разгром суздальской рати, – из тех воев теперь, через полвека, мало кто и остался в живых. Лица деда не помнили ни Борис, ни Глеб, родившиеся много спустя после его смерти, ни невестка, вдовствующая мать ростовских князей, вышедшая замуж за Васильку, когда Константина уже не было на свете. Лишь старик книгохранитель в Ростове помнил старого князя: сухощавого, с высоко возведенными бровями на длинном, с нездоровою желтизной, породистом лице, когда он, кутаясь в бархатный, подбитый соболями охабень, сиживал в княжеской

книжнице, перебирая свои рукописные сокровища и, слегка шевеля губами и далеко отодвигая книгу от дальнорзких глаз, читал про себя, по-гречески, еллинских древних мудрецов, труды Хорикия, Оригена или отреченные церковью сочинения Ария.

Библиотека Константина, огромная, в тысячу томов, и поднесь вызывала уважение всех просвещенных людей от Киева до Новгорода. Здесь было собрано старым ростовским князем чуть ли не все, что могло быть в ту пору на русском, греческом, а также еврейском и латинском языках: полное собрание библейских книг, жития и поучения отцов церкви, сочинения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Назианзина, Палладия, Феодорита, Григория Нисского, Афанасия Александрийского, Синесия, Иоанна Дамаскина, Фотия, Евгениана и других; хроники, труды Пселла и Константина Багрянородного, Геродота, Фукидита и Ливия; отреченные писания еретиков, проклятых на Соборах, русские летописи, начиная от творения божественного Нестора, проповеди и «слова», жития русских святых и «хождения» паломников в Царьград и Святую землю. Были тут служебники и крюковые рукописи, по которым пели в Ростовском соборе; были книги законов, сборники старых грамот и актов, пергаментные свитки с позолоченными печатями и берестяные грамоты из отдаленных уголков страны. Были книги толстые, в тисненых кожах, украшенные серебром, золотом и драгоценными камнями, были маленькие, засаленные и ветхие, прошедшие через тысячи рук и через много веков, было даже несколько книг на папирусе, и одна из них с непонятными знаками-рисунками, как говорили, колдовская, сочинение древних египетских жрецов, прочесть которую уже никто не мог...

Ростов, вовемя сдавшийся Батыю, не подвергся разгрому, и библиотека Константина осталась цела. Ее растаскивали потихоньку по монастырям (во время осмотра хранилища епископом, после смерти князя, были сожжены, яко отреченные, сочинения Ария и богомилов), книги таяли неприметно, как тают годы спокойной жизни, но все же собрание продолжало изумлять знатоков, и Ростов теперь, после разгрома Киева, Чернигова и Владимира, оказался средоточием учености, куда приезжали книжники из иных градов и весей, где оставлялась, несмотря на разгром и запустение страны, общерусская летопись, куда ехали учиться церковные иерархи и миряне, посвятившие себя книжной премудрости...

Андрей не был в Ростове с раннего детства, и все виделось ему внове: и огромный собор, не уступающий владимирским, обвитый каменными поясами резного узорочья, с цветными мозаичными полами, блистающий золотою утварью, с драгоценными паникадилами и хорошами литого серебра; и краснокирпичная палата Константина среди просторных и затейливых расписных хором княжеского двора; и пышные усадьбы богатых горожан; и обилие часовен и храмов. То, что Ростов не был сожжен татарами Батыя, сказывалось на всем. Густое и благополучное население наполняло улицы, на торгу прилавки ломились от товаров, своих и иноземных, снесь громоздилась кучами.

Озеро Неро напомнило ему переяславское Клешино. С теми же зелеными далями, с теми же черными полосками рыбачьих лодей. Только город гуще и плотнее оступал берег. Прибрежные монастыри, казалось, вставали прямо из воды и смотрелись в свои отражения. Прямо к воде подступала городская стена, а за ней и над нею толпились кровли, кровли и кровли древнего города.

Звонили колокола. Борис Василькович хлебосольно и торжественно встречал Александра сына. Андрей был счастлив. Тут, в Ростове, ничто не напоминало ему, что он не самый старший в семье. Не было непроходящей внутренней обиды от постоянного соперничества с Дмитрием, отравлявшей ему каждое возвращение в отчий дом, в Переяславль.

Князь Борис, красивый, статный, с чуть намечающейся сединой по вискам и на кончиках усов, встретил его на крыльце, раскрыв объятия, и приветствовал как равного. Облобызав Андрея, церемонно отступил, склонив благородную голову – пригласил в терема. Княгиня, Марья Ярославна, тоже вышла к гостю, приветила городецкого князя с веселым неотяготительным радушием. Чередой подходили дети и подростки, в которых Андрей не сразу разобрался,

и, кажется, нарушал в чем-то чин встречи. Впрочем, вот этот, с холодными серыми глазами – старший сын Бориса Васильковича, Дмитрий, а тот, голенастый, с живым лицом – младший, Константин.

Андрея проводили в горничный покой и представили вдовствующей великой княгине. Престарелая Мария Михайловна, благостно-легкая, с прозрачными руками и темно-коричневыми кругами у глаз, все еще прекрасных, несмотря на высохшую шею и обострившийся, словно подъяденный временем очерк лица, также приняла князя Андрея ласково и сердечно. Приподнявшись из точеного, с полукруглой спинкой старинного креслица, она протянула ему руку, и Андрей, принявший ее прозрачные пальцы в свои твердые широкие ладони, смутился, не зная, что делать. Впрочем, старая княгиня тут же с легкой улыбкой отняла руку, произнеся несколько уставных приветственных слов.

Андрею не дали заметить его неловкости. Только уже когда городецкого князя провели в предназначенный для него покой, княжич Дмитрий, подняв холодные глаза на отца, спросил негромко:

– У Дмитрия Алексанчы, батюшка, больше вежества?

– Не надо об этом, сын! – поморщась и зябко переведя плечами, несколько беспокойно прервал его Борис Василькович. – С Андреем Санычем тебе, мой друг, когда ты станешь князем, придет иметь дело – и... и не надо, пожалуйста, не надо замечать... Будь добрей, ради... Ради меня!

Дмитрий в ответ молча кивнул и опустил глаза.

Впрочем, самолюбие Андрея щадили, и Борис Василькович мог не бояться какого-либо отчуждения со стороны гостя. Сыновья ростовского князя, и Дмитрий и Константин, были достаточно младше городецкого князя, чтобы уважать в Андрее старшего, но и не настолько, чтобы начать чуждаться, как молодежь чуждается стариков. Дети и подростки, собравшиеся вместе, затевали игры, гурьбой, с веселыми возгласами и смехом, бегали по лесенкам и переходам дворца, и от их веселой возни становилось легко и просто.

Здесь, за семейным столом в княжьем тереме, Андрей лучше оценил свою молодую жену. Феодора держалась с ровным нестесненным достоинством. То, что дома порою казалось заносчивостью и капризами от вздорного нрава, здесь и очень пригodiлось, и отнюдь не казалось церемонным или смешным. И ее гордые, чуть приподнятые плечи, царственный поворот головы, писанные дуги бровей и полуопущенные ресницы, сдержанная – больше глазами, чем ртом, – улыбка, и легкая плавная поступь, и то, как она сидела, прямо и легко касаясь скамьи, как брала, отламывая маленькими кусочками, хлеб, как свободно пользовалась двоезубой цареградской вилкой, как ела, лишь слегка приоткрывая рот, словно только отведывала и вместе опрятно, без обидной брезгливости, отдавая должное изысканным блюдам ростовской княжеской кухни, как беседовала с княгинями, как почтительно, опустив ресницы, внимала Марии Михайловне; и Андрей, глядя со стороны, узнавал и не узнавал жену в строгой красавице, чьи точеные черты по странному сходству перекликались с сухими стремительными чертами Марии. Феодора сумела очаровать старую Марию Михайловну до того, что та, расчувствовавшись, сказала Андрею наедине:

– Ну, не прогадал, племянник! Хотя и боярского роду, а норов княжеский. Мы ее полюбили! Не забывай!

Давыд Явидович тоже лицом в грязь не ударил. Держался с достоинством, не забывая, что боярин, но и не унижая себя как княжеского тестя. За столом сидел скромно, но, однако, постепенно сумел речами и рассказами расположить и к себе тоже ростовских князей и княгинь. А маленькая Олимпиада всюю любезничала с Константином, с хохотом убегала от него, играя в горелки, и пятнадцатилетний Борисович тоже хохотал и краснел, хватая девушку за плечи.

Андрей оттаивал душой, видя, как Мария Ярославна возится с двухлетним малышом Василием, как неложно любит и любитесь она своим супругом, как и Борис Василькович отвечает ей тем же, не стыдясь на людях оказывать постоянные знаки внимания жене: подаст платок, похвалит шитье, заботливо спросит о здоровье или за обедом сам, прежде слуги, придвинет серебряную уксусницу. Брат Бориса, Глеб Василькович, был в отъезде, но маленький сын Глебов, Миша, «татарчонок» (князь Глеб был женат на ордынке), тоже находился здесь и играл, и бегал, неотличимый от прочих членов княжеской семьи.

Андрей, пока гостил в Ростове, начал понимать, как он еще груб и лишен «вежества», и тихо досадовал на мать, не обучившую его тому, что так необходимо для князя и в чем даже Феодора его далеко превосходила. Кажется, в первый день еще он, усталый с пути, оставшись вечером в покое, о чем-то с грубой заносчивостью попросил слугу-ростовчанина так, как привык дома, у себя. Тот, однако, ответил почтительно, без подлой холуйской усмешечки, и тотчас принес просимое, а принеся, замер в бесстрастной готовности услужить высокому гостю в любой прихоти. И Андрей понял, что гневаться на слуг было глупо. Их просто можно было не замечать.

Катаясь на конях с Дмитрием Борисовичем, Андрей невольно пробовал перенимать свободную легкость движений, сдержанную гордость без заносчивости, но с полным ощущением превосходства над людьми не своего круга. Дмитрий, спрашивая встречного смерда, не глядел поверх головы, как Олфер Жеребец, не чванился, но в ясном холоде его глаз читалось такое отстояние, такая бесконечная, бездонная пропасть между ним и простолюдинами, что и вежливый наклон головы, коим он неизменно оканчивал разговор, казалось, отодвигал смердов от Дмитрия Борисовича гораздо далее, чем Жеребцова брань.

Теперь Андрей и Семена Тонильевича начал воспринимать иначе и невольно отдавал дань уважения ростовскому воеводе, который первым начал учить его соблюдению княжеского достоинства всегда и везде, а не только на боярском совете и в думе да на приемах послов.

Словом, поездка удалась. С ростовскими князьями завязалась дружба, тешившая самолюбие Андрея, а еще более его тестя, который верил и не верил пробрезжившей возможности пристроить свою меньшую, Олимпиаду, тоже в княжескую, да еще в такую старинную и уважаемую, как ростовская, семью.

Последний раз Андрей с Дмитрием Борисовичем, выехав верхами на прогулку, забрались особенно далеко. Они проехали Чудским концом, и Дмитрий показал место, где стоял некогда древний идол Велеса, сокрушенный тростью подвижника Авраамия.

Ехали бок о бок, и Дмитрий рассказывал, что идол, сотворенный из камня многоцветного, долго стоял у княжого двора, наконец при епископе Исаяе, во время большого пожара, когда страшная громовая туча зажгла град и капище, сам вышел из своего пылающего храма и пошел по берегу, среди горящих хором, а озеро кипело у него под ногами и выбрасывало на берег рыбу.

Андрей спросил было, по какой дороге шел идол. Дмитрий показал, сдерживая улыбку. Андрей вдруг понял, густо покраснел. Сбоку, сердито, глянул на спутника. Но Дмитрий Борисович внимательно глядел в другую сторону, узя глаза, и небрежно прибавил: «Так бают!» — разом отрекаясь от древнего сказания, в истину коего христианину, да к тому же князю, верить было бы зазорно. Они миновали городские ворота, последние избы околгородья, и по полого выющейся вверх дороге углубились в поля. Дружинники ехали много сзади, чтобы не мешать беседе князей.

Перед ними возвышалась роща раскидистых древних дубов. Зеленые облака листвы тяжелыми массами вздымались ввысь, птичий щебет и пронзительный свет солнца, полуприкрытого тяжелым клубящимся грозovým облаком, наполняли вершины деревьев. Впереди и чуть отступя стоял неохватный великан, протянув в стороны из своей зеленой ризы две огромные сухие и зловеще извитые ветви, словно громадные руки, задранные вверх.

– Велесов дуб! – сказал Дмитрий все тем же насмешливо-торжественным тоном, каким только что повестил старинное предание.

Тут и Андрей увидел развешанные на ветвях какие-то тряпочки, увядшие и свежие венки и несколько конских черепов, добела отмытых дождями и солнцем. А когда подъехали ближе, то от темного пятна на траве под дубом потянуло к ним тяжелым духом свернувшейся крови и изумрудные мухи потревоженно загудели в воздухе.

В этот миг солнце зашло за тучу и листва потускнела.

– До сих пор?! – удивившись, спросил Андрей. Привыкнув к языческим требам у себя, под Городцом, он не ожидал, однако, что такие же радения справляют столь близко от города, где уже почти три века воздвигнут епископский престол.

– Да, и требы служат Велесу! – надменно подтвердил Дмитрий. Они шагом подъехали к дубу и остановились под его сенью, глядя, как далекий дождь косыми столбами медленно волочится по земле и озеро белеет под ним, словно закипевшее молоко.

– Владыка Игнатий не единожды покушался срубить эту мерзость. Но отец воспретил, – уронил Дмитрий. – Бает, хватает нам и ордынских забот! Смердам не объяснишь, что с ханом опасно спорить. Татарского выхода никто из них не желает платить. Уже не раз собиралось вече, от отца требуют разрыва с Ордой.

Он усмехнулся, глядя на далекий город отвердевшим взором холодных княжеских глаз.

– Я не признаю воли веча! – медленно произнес он. В этот миг Дмитрий казался гораздо старше своих семнадцати лет. – Батюшка полагает, что прежде достоин просветить малых сих... А по мне – что может понять эта мера, которая о сю пору молится древням и камням? Смерды! Трава, не ведающая ни путей грядущего, ни прадедней славы! Власть – свыше. Князь должен мочь все и не глядеть на... малых сих.

В голосе Дмитрия вновь прозвучала снисходительная сдержанная усмешка.

– Трогаем! – прибавил он, помолчав. – Дождь миновал.

Они выехали опять на вьющуюся полевою дорогу. Гроза, и верно, прошла стороной, едва прибрызнув пыль на дороге. Лиловая туча свалилась за город, а под нею золотистой желтизной вновь загорался далекий окоем. Дышалось легко и молодо, как бывает после грозы. Тяжелые хлеба клонились долу, освеженные ветром и влагой. Вдали, за хлебами, вставали, приближаясь с каждым витком пути, башни и купола ростовских церквей.

Мария Ростовская, старая княгиня-мать, умерла на следующий год. Хоронил ее и сидел у постели Борис Василькович. Глеб в это время был в Орде.

Умирала она в полном сознании. Борис, когда мать после недолгого сна открыла глаза и сказала: «Скоро уже!» – зарыдал, как ребенок, ткнувшись лицом в материну сухую грудь. Мария с усилием подняла холодеющую руку и благословила сына. Умиравшая, она утешала его, живого.

С нею кончалась целая эпоха, эпоха величия, гордых деяний и славы, время, когда возводились белокаменные соборы, росли города, множились книги и заселялась земля. Время, ставшее развеянным дымом, ставшее звуком угасшей былой старины. Еще доживали люди, воспитанные и выросшие тогда, и люди эти были значительнее, богаче духом людей новых, пришедших на смену им. Почему же они не удержали власть? Почему согнулись, сломались, почему, в раздорах и усобицах наводя поганых на землю Русскую, погубили сами себя? Почему же все, что сумели они завещать своим детям, это только хранить внутри себя память и веру старины, а вовне – склоняться и не спорить с тем, грубым и страшным, что пришло и прошло по земле победным смерчем и развеяло славу прошлых времен по ковылю степей...

Горе детям великих отцов! Могут ли они, не отведав величия прадедов, сохранить память о нем и пронести через свою жизнь? Да и можно ли сберечь хоть что-нибудь, склонясь и не споря? Рука умирающей матери бессильно падает на постель. Сын продолжает рыдать...

Глава 27

У Давыда Явидовича с Жеребцом хватило ума не ввязывать своего князя в уособицы, поднявшиеся со смертью Ярослава Тверского и вокняжением Василия Ярославича. Земля наконец успокоилась, и вскоре, стараниями митрополита Кирилла, состоялся церковный собор. Помирившиеся Ярославичи съехались во Владимире. Дмитрий приезжал накоротко, почтить митрополита и урядить с дядей Василием. Андрей задержался дольше.

Так же, как и все, Андрей слушал нового владимирского епископа Серапиона и был потрясен его проповедью.

С Семеном Тонильевичем, который нынче перебрался во Владимир и вершил делами от лица своего князя, Андрей встретился через несколько дней.

Костромской воевода забрал нынче великую силу. Он выезжал пышно, всегда с дружиною, в окружении бирючей и холопов, вызывая зависть всех прочих владимирских бояр. Злые языки говорили о его пристрастии к мальчикам, перечисляли богатства костромского боярина, якобы присвоенные Семеном из сокровищ великокняжеского двора, а также привезенные после грабежа Новгородчины.

Князя Андрея Семен встретил со спокойным достоинством, словно расстались вчера. Когда от первых обрядовых приветственных слов перешли на личное, посочувствовал домашним бедам городецкого князя. Феодора уже дважды была на сносях и дважды рожала мертвых детей. Расспрашивая, осведомился о Жеребце. Андрей был во Владимире с Давыдом Явидовичем, который сумел-таки выдать Олимпиаду за Константина Борисовича Ростовского и нынче был в силе. Тесть двух князей, он сильнел, покупал земли, богател и строился. Жеребец же в последний год стал что-то сдавать здоровьем, а нынче и вовсе расхворался, чуть не впервые в жизни, и потому во Владимир не поехал – послал сына Ивана.

Все эти новости, впрочем, не столь уж и интересовали Семена. Гораздо больше его занимал сам Андрей. В Василии Костромском Семен успел окончательно разочароваться. Перейти на службу к Дмитрию ему не позволяла гордость, да он и понимал, что Дмитрия не придется водить за собой на поводу. Он же хотел для себя свершений и дел. Даже не почетного места в думе великокняжеской, чего хватило бы какому-нибудь Давыду, – нет! Ему мечталось возродить роскошь владимирского двора, быть может – объединить Орду с Русью, дерзать и творить, самому стать новым Олегом при Игоре... А для того князь ему нужен был честолюбивый и жадный к власти, но неспособный обойтись без его, Семенов, головы, без его замыслов и знаний. Покойный Александр пренебрег Семенов помощью. Что ж! Невский мертв, а он, Семен, и жив, и набирает силу. Василия Костромского, «квашни», увы, хватило лишь на то, чтобы забраться на владимирский стол. Мельчающие ростовские князья тоже не годились для дальних Семеновых замыслов... Таким мог стать Андрей Городецкий, и, пожалуй, раз уж не получилось с Василием, только один Андрей.

Семен Тонильевич пригласил Андрея к себе. Щадя его самолюбие, извинился, пояснил, что у него в хоромы спокойнее поговорить без лишних ушей и глаз, чем на великокняжеском подворье, битком набитом по случаю съезда.

Он как-то сумел тотчас сбросить излишнюю важность. Кликнул холопа-ордынца, внесшего кувшины и блюда, умеренно посуетился, отпустив холопа, сам расставил вино и закуски, сам притворил дверь в тесный, богато убранный покой, весь устланный и завешанный бухарским ковром, с набором великолепных восточных клинков по стенам. Андрей рассматривал клинки, узоры на стали, драгоценные рукояти, клейма мастеров и совершенно влюбился в один кинжал, который хозяин сперва повесил обратно на стену, рассказав его родословную: от кого и к кому переходил этот кинжал, побывавший у двух шахов и нескольких эмиров, и как закаляют подобные лезвия, погружая в тело здорового раба, так что уже при своем рождении кин-

жал отведал человеческой крови и стоил одной жизни. А в конце беседы, уже провожая князя, Семен незаметно снял кинжал со стены и вручил, с легким небрежным жестом, улыбнувшись: «Больше нечем!» – словно извиняясь за ничтожность подарка.

Андрей к двадцати пяти годам сумел многому научиться и теперь вспоминал свою давешнюю застенчивость со снисходительной усмешкой. Ему теперь было очень интересно встретиться с Семеном и уже самому хотелось о многом расспросить костромского воеводу.

Семен несколько сдал за протекшие четыре года. Лицо покрыла легкая желтизна, стали заметны отеки под глазами, уже явственной проглядывала седина на висках. Движения, по-прежнему плавные, как у большого барса, стали еще мягче, словно бы осторожнее.

Они коснулись проповеди владимирского епископа, о которой в эти дни, не переставая, только и твердил весь город.

– Владыка Серапион для простецов! – ответил Семен, чуть заметно пожимая плечами и хмурясь. – Честно говоря, я больше люблю слог Кирилла Туровского: «Днесь весна красуется, оживляючи земное естество: бурные ветры, тихо повевающе, плоды умножают, и земля, семена питаючи, травы зеленые рождает. Ныне вся доброгласная птица славит Бога гласы немолчными...»

Семен приостановился, как бы сам с удовольствием вслушиваясь в драгоценную словесную ткань знаменитого проповедника прежних времен.

– Это все так, так! – перебил он с досадливым движением руки, когда Андрей пытался возразить, что проповедь Серапиона взволновала всех не столько красотой слога, сколько мужественным словом о бедах земли. – Мыслию, однако, доживи такой проповедник, как Иларион или Кирилл Туровский, до наших дней, его слово о бедах Руси прозвучало бы еще полновочудней...

Семен вновь приодержался и нахмурил брови.

– Но есть иное, о чем можно говорить лишь избранным. Тайна власти! Беды и скорби, ордынское иго – посланы нам за грехи?! Богом, значит, допущены и гибель детей, и глад, и разорение храмов – все то, о чем глаголал Серапион, – и запустение сел наших, и горький плен, и прочая, и прочая? Бог не только милует, но и казнит, и этим он выше Христовой заповеди о любви, им же самим данной человеку. Всякая кара есть насилие, и насилием является всякая власть! Но ведь земная власть – от Бога?!

Семен стоял, выпрямившись, и сейчас казался уже не пардусом, а византийским вельможей. Взгляд его был высокомерен и презрительно мановение руки, коим он отодвинул невысказанные слова возможных возражений:

– Божественности власти никто и никогда не опровергал. Никто! Лишь бессмысленные скоты, гады и птицы пребывают в безвластии! Но ежели есть разум человеческий, уже есть и власть! И спорят лишь о том – какая власть? Кесаря, дуки, хана, шаха, римского папы, князя, короля или посадника, как в Новгороде? Но в безвластии не может жить человек ни в доме своем, ни в роде своем, ни в княжестве, ни в земле! Божественность власти – закон, данный Господом. И всякому властителю от Бога же дано право карать. Взгляни! Право суда, и самого тяжкого суда – за убийство, татьбу, грабление – дано князю! Каждый смерд в душе своей понимает, что не можно право суда и казни вручить такому, как он, соседу или сябру своему, что должен быти судья, и судья строгий и немилостивый. И Господа нашего называют судией!

Что держит княжества и царства, что съединяет? Могли бы вот эти вшивые смерды сами одержать землю, когда они и в едином граде не могут поладить друг с другом? «Не ведуще, иде же закон, тут и обид много».

Что собирает народы? Вера! И власть! Владимир Святой повелел, и вот: повержены идолы, смерды крещены, и стала Великая Русь!

Властью кесарей поднят Рим, властью греческих басилеев стоит разноязычная Византия!

– Да, быть властителем, – продолжал Семен с мрачною страстью, – значит быть Богом! Для властителя нет воздаяния за грехи. Каин убил Авеля и положил начало роду людскому. Власть рождена братоубийством. И Владимир Святой убил старшего брата, Ярополка, и Чингис, покоривший мир, еще в детстве совершил братоубийство. К власти всегда идут через преступление. В борьбе познаются достойные власти!

Взгляни и помысли! Кто обвинял властителей за убийства и казни? Обвиняют лишь за неудачи, за слабость, за поражение в бою. Лишь слабости не прощали властителю никогда!

Ты думаешь, княже, власть легка? Вот, смотри сюда! Это греческая книга о деяниях базилия Алексея Комнена... – Семен быстрым движением поднял и перелистал проблеснувший золотом и пурпуром фолиант. – Вот здесь! Это не битвы, не подвиги в ратном строю, нет! Это ежедневный и еженощный труд царя, когда ему приходилось словом смирять болтливых и суетных наемников своих. Да! Он восседал на золотом престоле. Да, казалось, он был в величии славы своей! Так вот: «Вечеру сущю, Алексей, не снидавший хлеба, ни пития целый день (ибо сидел на престоле и непрестанно глаголал!), подымался с трона, дабы удалиться в опочивальню, однако и здесь к нему шли чередою наемные вожди... И как кованное из бронзы или каленого харалуга изваяние, еженощно стоял базилей с вечера до полуночи, а нередко и до третьих петухов или даже до ярких солнечных лучей. Все остальные, не выдержав усталости, переменялись, уходили на отдых и возвращались вновь, и лишь один царь мужественно выносил этот труд... Коими глаголами возможно описать его долготерпение?»

Любой смерд – да что смерд! – любой боярин не выдержал бы и дня сих царственных забот, пал бы в ноги, моля освободить, отрекаясь от славы и почестей...

Семен медленно закрыл тяжелую книгу и бережно положил ее на аналой.

– Царьград пал только из-за разномыслия кесарей! – прибавил он, помолчав. И страстно произнес: – Но тысячелетие власти! Но весь мир, замороженный величием града Константина! Но еллинская мудрость, Аристотеля и Платона и иных мудрецов, сохраненная Византией доднесь! Но знание, книги! Свет истинной веры, пролившийся на тьмы и тьмы! Дела и писания святых отец: Григория Назианзина и Василия Великого, Иоанна Златоустого и Иоанна Дамаскина и иных многих! Но драгоценная утварь и ткани, и храмы, и сама неземная София, со сводом, что повторяет небесный, словно парящим в аэре, где камень, одушевленный именем Бога, потерял плоть и вознесся в зенит! Но слава Византии! Но зависть народов! Но палаты кесарей, коим нет сравнения на земле! Во всем мире порфирородный значит царственный, порфирию же называется палата цареградского дворца, в коей рожали царицы будущих царей и царевен... Еще и теперь, едва возрожденный после гнусных грабежей и погрома варваров, град Константина остался столицею мира для многих и многих...

– Вот почему, – сказал Семен сурово, – и нужен золотой престол, и пышность, и божественная красота палат, и трон, в небеса воздымаемый, и львы у престола, и ужас, внушаемый черни!

Семен помолчал и вдруг улыбнулся Андрею:

– Поэтому я и тогда, при первой нашей встрече, не мог позволить себе быть равным с тобою, чего ты тогда хотел по некоему юному неразумию! Ваш батюшка, великий князь Александр Ярославич, это понимал.

Семен умолк, и тишина продолжала звенеть.

– Но как узнать, – спросил Андрей хрипло, – но как узнать, достоин ли ты власти?!

– Единственная мера – успех, – холодно ответил Семен. – Пригоден ли сеятель, судим по ниве и плодам ее. Недостойный власти гибнет, как погиб Святополк Окаянный или рязанский князь Глеб, зарезавший братию свою и впавший потом в безумие от страха содеянного...

У Андрея голова горела, словно от вина: «Значит, нужно не ждать власти, а драться за нее?! Так вот он какой, Семен Тонильевич!.. Но имею ли я право на власть? Проверится успе-

хом... А ежели нет? А отец? Каким был отец? А Русь? Земля, гибнущая от княжеских раздоров?»

Заранее краснея, боясь узреть холодную усмешку Семена, Андрей все же задал этот вопрос. Но Семен лишь мягко улыбнулся и ответил с неожиданной простотой:

– Но ведь и я в конце концов хочу не войны, а единства Руси во главе с сильным князем! Слабые – погубят раздорами и себя и землю. Пусть уж лучше русичи режут не друг друга, а вкупе с Ордой кого-нибудь на стороне!

Последние слова он произнес, провожая Андрея, уже на пороге.

Глава 28

И снова они стоят, хоронясь за стеной сарая, и капель, теперь уже весенняя, опадает с мохнатой кровли чередой прозрачных звонких колокольчиков. Ему и ей кажется, что прошло невесть сколько времени, и девушка, чуя перемену в Федоре, вздрагивает, молча, послушно отдавая себя, свое тело его рукам. Он поднимает за подбородок ее склоненное лицо, долго смотрит на расплывающиеся в весенних сумерках черты, широко расставленные пугливо убегающие от него глаза, короткий широкий нос, припухлые, словно вывороченные, большие, темно-вишневые губы.

– Телушка моя! Ярочка! – шепчет он, задыхаясь. – Коротконосая моя!

Он наклоняется к ней и целует долго-долго, взасос, словно бы и этому научился во Владимире. Губы у нее сочные и мягкие и теплой дрожью отвечают на поцелуй. Иногда, когда Федор уже совсем переходит всякую меру, она просит:

– Не нать, Федя, Федюша, милый... Соколик, не нать!

У него кружится голова, и он с трудом на минуту отрывается от девушки, и опять его руки тянутся к ней, к ее телу, и губы к губам, и ее мерянское, широкоскулое, с полуприкрытыми глазами и распухшими темными губами лицо откидывается, прижимаясь к его лицу, и два дыхания опять надолго сливаются в одно...

Небо уже начинает светлеть и четко отлипать от земли, от мягко изломанной череды княжеских кровель, когда он, стараясь не скрипнуть дверью, пробирается домой. Мать таки просыпается, хрипло окликает его с лавки:

– Федюха? – и ворчит, укладываясь на другой бок: – Полуношник-то, осподи! Щи в печи оставлены, поешь...

Она засыпает. А Федя, в котором разгорается волчий голод, нашарив в темноте горшок, ложку и прибереженный для него кусок хлеба, жадно ест, сдерживаясь, чтобы не расхохотаться или не начать прыгать от счастья, а потом пробирается в клеть, лезет под полог, осторожно отодвигая разметающуюся сонную Проську, и, натянув на себя край шубы, валится в мгновенный, каменный сон.

С утра Федор запрягает Серка, отправляясь возить овершья. Нога привычно помогает затянуть хомут, пальцы продергивают в клещи хомута конец супони и закрепляют отцовым, никогда не развязывающимся узлом, руки привычно подтягивают чересседельник, покачивают оглобли, проверяя запряжку, ладони оглаживают морду коня и несут сено в сани, а в голове – солнечный цветной туман, и тепло мягких вишневых губ, и гибкое податливое движение тонкого стана девушки, и ее горячее дыхание у лица...

В сереющих сумерках знакомая, в лужах воды, тропинка на Кухмерь. У огорожи переминается девчушка в платке:

– Федька!

Он узнает сестренку любимой. Что-то случилось, верно, послала сказать.

– Федька, бяжи, наши парни тебя бить хотят!

– Ладно, сама бяжи!

Ноги противно слабнут, и сердце толчками ходит в груди... На беседе, конечно, одни кух-мерьские парни, девок почти нет, криушкинских всего трое, а княжевский один – те не вступятся. Кое-кто уже хватил хмельного. Федя проглатывает упрямый комок – только не робеть! Парни, неприметно окружив его, начинают задираться.

– В Володимери был, чего привез? – громко спрашивает рыжий Мизгирь.

– Свою московска князя видал, поди? – раздвигая парней, глумливо осведомляется Петюха Долгий.

– Видел, ходили с им! – как можно тверже и спокойнее отвечает Федор. – А вот, коли хошь знатя, дак я в собори был, Успенском, епископа нового слышал!

– Какой такой пискуп?

– Серапион. Из Киева. Он когда говорит, дак в собори тишина, слышать, как свечи трещат. А там народу – тут со всех деревень собрать, половины не будет!

– Погодь! – Мизгирь надвигается на Федю, обнимая Петюху за плечи. «Погодь» сказано одновременно и Феде и Долгому, который уже начинает учащенно дышать, как всегда перед дракой.

– Чего он баял-то? – спрашивает Мизгирь. («Сейчас начнут», – думает Федор, подбира-ясь.) Он отвечает сурово:

– Про татар, как нашу землю зорят, и про все про ето!

– В церкви?! – ахает кто-то из парней.

– Врешь! – рубит Мизгирь.

Федя бледнеет от обиды уже не за себя, за Серапиона.

– «Поля наши лядиною заросли, храбрые наши, страха наполнившеся, бежали, сестры и матери наши в плен сведены, богатство наше погибло и красота и величие смирися!» – говорит он, и голос его, поначалу готовый сорваться, крепнет и уже не дрожит. Федор, приодержавшись, заносчиво смотрит на Мизгира (сейчас он уже совсем его не боится) и звонко режет в ответ: – Мне таких слов и не выдумать. Вот!

В парнях движение. Кто-то сзади:

– Как у нас словно, когда «число» налагали!

– Постой! – Мизгирь, морщась, кидает в толпу несколько мерянских слов. – Да ты говори, говори! – подторапливает он Федю уже без прежней издевки в голосе.

– Все, что ль, сказывать? – спрашивает Федя, строго оглядывая ребят. Он еще ждет под-воха, да и они не решили, отложить ли им расправу над Федором или нет, но Сенька Тума деловито решает за всех:

– Вали порядку!

И Федя начинает порядку: про то, как епископ сначала срамил владимирцев за сожженную ведьму и за грехи – что в церкву ходят, а то же и делают одно старо-прежнее, словно бы и не ходили совсем; и про гнев Божий, наставший немилостивую рать татарскую, и про заповеди Христовы... Его перебивают, горячатся:

– Колдунов не знашь! Лонись Ильку утопили!

– Сам утоп!

– Нет, не сам!

– Сам!

– Окстись! Марья Кривая чегось-то исделала ему! И все говорят, что она! Боле и некому!

– Как свадьба, дак тут они и шевелятся, у церкви на папёрках, бегают, редкой свадьбы не бывает, чтобы не испортили кого!

– А кто сильно верит, тому не сделают! Ничё!

– Сделают!

– Не сделают!

– Деда Якима знал? Нет, ты скажи, знал? Кого ему сделали?

- Дак он ко всякому делу с молитвой!
- То-то!
- Деда не тронь! Он б-б-божественный был д-дед!
- Ты постой, ополоснись холодянкой.
- «Кости праведных выброшены из гробов» – это как в Переяславле было, говорят, когда Батый зорил...
- Согрешили...
- Про грех и наш поп ягреневский бает!
- Постой!
- «Кто резы берет»... Чего тако резы?
- Ну, лихву, не понимаешь! В займы под рост серебро дает!
- Дак и етим, как разбойникам?
- В одно уравнил, что тать, что лихоимец! Вот ето верно! Одна масть!
- Кто ворует...
- А нужны дела, а не слова! Стало, и того ся лишить!
- Он всех назвал, и любодеев и пьяниц!
- Я не п-пьян!
- Не пьян, не пьян, ложись только!
- А я во-в-в Владимир-р не ездил!
- Плесни ему, вот так, за ушами потри!
- Ну?!
- И там дальше: князьям и всем, что друг друга зорят, имение отбирают.
- Вот, как и у нас с вашими, княжевецкими, из-за покосов!
- А скажи нет, скажи нет! Ведь вы наши пожни отобрали!
- Первая заповедь: возлюбить друг друга – самая главная. Быть един язык, един народ.
- Ну, мы тут мера!
- А тоже православные, поп-то один! Что в Ягрене, что в Княжеви, что тут!
- Ну, постой...
- А и верно, дядя Микифор баял: в Орде у их нету воровсва, промеж собой татары честные...
- Ну, хорошо! А дале, еще чего баял ли?
- И все? Возлюбить друг друга, а тогда само, что ли...
- Нет, скажи! Вот теперича, ежели и наши бояра – дань-то берут!
- А разница есь! Кому и помочь... Может, и так и едак. Вот, Фофан был: надо баранов. А овца не ягнилась еще, у матки. Дак он завсегда подождет! Всего и пождать-то каких недели три, может, пять. А иной: давай – и никаких! А в Орду мало ли наших угнали?
- Посбавить бы дани... Ну, скажем, нельзя. Татарам да своим много нать, а только ты посочувствуй своим-то, своих не зори!
- Ну, спасибо, парень. Как звать-то пискупа? Серапион? Он на Владимир, Суздаль, Нижний... Не у нас! А то бы послушали когды!
- Гуляй! Мы ведь тебя бить хотели...
- Знаю.
- Отколь?
- А понял.
- Ты не серчай!
- А с чего...
- Мы когда и подеремсе, помиримсе. Все свои!
- Мизгирь хлопает его по плечу с маху, так, что Федора чуток перекашивает. Все же дает понять, что было бы, начнись драка, а не разговор...

Федор возвращается домой вприпрыжку, радостный и гордый собой, и уже слегка досадует, что не подумал рассказать о слышанном в Володимере заранее: не для него ж одного говорил все это епископ Серапион!

Глава 29

Серапион Владимирский умер в исходе того же года. О смерти епископа похода сообщил Грикша. Возили снопы с поля, и у Федора не было даже времени, чтобы присесть и одному, в тишине и одиночестве, пережить и обдумать известие, а было так на душе, словно бы погиб кто-то из родных или очень-очень близких людей.

В это лето дядя Прохор записался в деревенскую вервь, взял надел и стал крестьянствовать.

– В походы боле не пойду, ну их! Своих зорить – это не дело. Да и от хозяйства не будешь так отрываться...

Мужики – кто одобрял Прохора, иные качали головами. Приезжал боярин, спорил с Прохором – не переубедил.

– Детей не держу! Пушай сами решают, как способней. А беда придет, и нас, мужиков, вспомнят! Так-то, Гаврила Олексич!

Прохор вышел проводить сердитого боярина во двор, поддержал стремя. Следил, усмехаясь, как тот едет со двора. Кирпичный румянец плитами лежал на щеках Прохора и был словно гуще, чем всегда. Прямые светлые брови совсем нависли над глазами, и непонятно было, то ли с издевкой, то ли с горечью смотрит он боярину вслед.

Мать Прохора не одобрила:

– По его уму-разуму дак в воеводах быть али при казне сидеть при золотой, а он эвон что учудил! – Помолчала, продергивая ряд в мережке: – Ходу ему не дают, вот что!

С любимой Федя встречался урывками. Как-то во время страды она заскочила к нему на телегу. Лошадь сама свернула в кусты... Девушка была вся горячая от солнца, работы, и пахло от нее хлебом и солнцем, как и от снопов.

– Ты поговори с матерью, Федя! – просила она. Федор отводил глаза:

– Пока не велит. Хлеб не вывезен, да...

С матерью он говорил еще прежде. Сжав рот, она отмолвила:

– И думать не смей! Кухмерьская родня!

– Ведь бабушка была с Кухмеря.

– Бабушка была, а я не велю! Кто мы, и кто они! Мужичек и без ней хватает! Ни хлеб не вывезен, ни коня – какой ты жених?! В дом не приму, а выделить нечем. Едва поправились! Глень, старший брат не женится! Да тебе и непочто!

Подходила осень, и встречаться становилось все трудней и трудней.

Как-то они не виделись близко месяца. Федор уже начал запрягать Рыжего. Конек был резвый и в запряжке ходил хорошо. Тут он по первой пороше поехал за сеном. Она ожидала его за околицей, повалилась в сани. Федор сполз к ней. Рыжий шел, кося глазом.

– Что ты делаешь со мной?! Батя ждать не будет, отдадут не за любого!

Она плакала злыми слезами, широкие губы кривились от рыданий. Федор целовал, стараясь не давать ей говорить, с яростной горечью...

После она лежала, откинувшись. Рыжий едва шел, и Федор сам удивился небу, елкам, сорокам – тому, что все было так обычно, как прежде.

– Ну, коли затяжелею от тебя, утоплюсь! – сказала она без выражения. И Федя, похолодев, понял, что она может решиться на все. Что же делать, что же делать-то?!

Он еще раз попробовал уломать мать, но было бесполезно. Признался, отводя глаза.

– А и непочто! Сама себя обмарала, дак ейна и печаль, никто и неволил!

– Чего исделает над собой...

– Другие гуляют, дак не делают! Мир выделит девке избу да корову! Моего совета нету! И не проси. Какой ты мужик?!

Зима проходила, и уже вновь начинало подтаивать...

Приезжали сборщики. Грикша выручил немного серебра со своих монастырских дел, они сумели отдать долги. Хлеб можно было нынче придержать до весны, до новгородских лодейных купцов. Тем горчее был для Федора материн запрет. Он пробовал говорить с Грикшей, но тот без труда отверг все Федины путанные доводы:

– Это тебе сейчас кажется, что все только и есть в ней одной... Правильно, правильно, так и думай! И еще будет, и тоже снова одна, единственная, ненаглядная... Жизнь проще и трудней. Ну хочешь, пишишь в мужики... Только ты сам не захочешь! Тебе вон в Новгород да в иные земли... Ну все понятно, понятно! А будут у тебя дети, ты тоже им не позволишь без времени. Вот возьми нашу Просинью. Отдашь ее за кого попадая? Да, да, мать злая, она тебе гибели хочет! А ты забыл, как она нас тянула? Мы с тобой грамотные! И что ей от нас теперь?!

Брату возразить было тоже нечего.

Мели метели. Федор в эту зиму подрядился за Переяславль, возить тес.

Прощались украдом. Девушка отворачивалась, все не глядя на него, изредка шмыгала носом.

– Ничо! Езжай! Ничо не будет! Я к Кузихе ходила. Ладно. И ты прощай.

Так они и расстались до весны.

К севу Федор воротился. Встретились холодно. Перемолвили парюю слов. И чуть было так же холодно не расстались, но прорвало:

– Федя! Милый! Возьми меня, увези! Пущай, куда-нибудь... Как хошь, не могу больше! – Она редела, вдруг повалилась ему в ноги. Федор, потрясенный, поднял ее, обнял. Ее всю шатало от рыданий.

– Куда я тебя увезу! У меня ни коня, ни двора...

– В Новгород, ты баял, во Владимир, ты всюду бывал...

Как-то около Петрова дни ему встретился Козел. Федор по просьбе брата гонял в Никитский монастырь и возвращался верхом. Козел тоже был на коне и в новых сапогах с загнутыми носами, носки которых он, красясь, широко расставлял в стороны. Козел явно преуспевал. Федя с интересом оглядывал приятеля, с которым не встречался уже с полгода. Козел подрос, раздался в плечах, хоть и был по-прежнему мелковат. Сплювывал, стрелял глазами.

– Ну как?

– Да ничо! Житуха справная! Ты как? Не женился еще? А наши болтали...

Федор поспешил перевести речь на другое. Уже когда разъезжались, Козел остановился:

– Да, слушай! Слыхал: великий князь из Орды воротился?

– Василий Ярославич?

– Ну!

– Не слыхал. А он когда ездил-то?

– Зимой. Ничо не знашь?

– А чего знать-то?

– А то! В Орду наших зовут!

– Князей?

– Нет, всех, ратных всех, на войну! Разве не слыхал? На ясов, ни то аланов. Не знай, как и звать! Далеко! За Черные пески!

– Ну и чего... Ты пошел бы?

– А то нет! – Козел даже покраснел от возбуждения. – Дура, с татарами ходить, дак уж точно с прибытком будешь. Они всех бьют!

– Ежель голову не потеряшь там.

– Голову всюду потерять можно!

Козел был настроен воинственно, а Федору все это показалось далеким и ненужным. Он только пожал плечами. Отъезжая, вспомнил почему-то дядю Прохора: что-то он скажет теперь? Нать заехать, повестить ему...

Козел не соврал. О совместной с татарами рати скоро заговорили все. Судили и рядили так и эдак. Большинству не светило тащиться куда-то за Черные пески ради татарского царя.

– Князей позовут – и ты пойдешь неволею!

– Хошь бы хлеб-то дали убрать!

Впрочем, в разговорах и вялых сборах прошло лето. Выяснилось, что в поход пойдут только ратники княжеской и боярских дружин, мужиков трогать не будут. Радовались и тому.

Хлеб убрали. Подошла зима. Поход, по слухам, задерживался болезнью великого князя. В октябре Дмитрий Александрович срочно выехал во Владимир, и уже после его отъезда узналось, что великий князь Василий при смерти.

Глава 30

Василий Ярославич умер Рождественским постом¹. Скакали боярские дружины. Одна за другой уходили конные рати. Скакали скорые гонцы в Кострому, Ростов, Тверь, Городец. Владимирский баскак слал гонцов в Орду, от Менгу-Тимура ждали ярлыка на великое княжение Дмитрию – по прежним уряженьям, как старшему сыну Александра Невского.

Война, которую начали Хайду с Хубилаем год назад, разгоралась. Хубилай заключил союз с главою персидских монголов, иль-ханом Абагой. Менгу-Тимур, поддерживая Хайду, готовился выступить против Абаги и непокорных аланов (или ясов, как их называли на Руси), укрепившихся в предгорьях Кавказа, закрывая Орде Дербентские ворота и путь в Персию.

Менгу-Тимуру для штурма яских городов нужны были русские полки, обещанные покойным Василием. Владимирский баскак спрашивал у переяславского: не задержит ли князь Дмитрий сбор войска?

Немецкие послы, в свою очередь, спрашивали, с многословными и цветистыми уверениями в дружбе со стороны Ордена и императора Рудольфа: подтвердит ли «коназ Дмитрий» ярлыки, данные еще Ярославом Тверским, на свободный проезд ганзейских гостей через Новгород в Сарай и Поволжье? Намеками послы толковали также о возможном союзе русского великого князя с католической церковью. Дмитрий уже знал, что персидский иль-хан Абага еще полтора года назад просил на новом Лионском соборе у папы римского помощи против мамлюков, предлагая совместный крестовый поход и обещая принять латинскую веру (В войске Абаги большинство монголов было христианами несторианского толка.)

В свою очередь, наместник митрополита Кирилла остерегал Дмитрия от излишней веры медоточивым словесам послов западных, поелику на том же Лионском соборе кесарь византийский, Михаил Палеолог, теснимый франками, захватившими землю греческую, согласился подчинить православную церковь папе римскому, признав «filioque» (возглашение «и от сына», на коем настаивают нечестивые римляне, мнящие, яко Сын не единосущен Отцу) и опресноки (причащение одним хлебом, без вина) – сиречь отринув все то, что отличает истинное православие от суетного заблуждения латинян.

К счастью, церковь цареградская воспротивилась сему, и митрополит Кирилл – устами своего наместника – предупреждал князя Дмитрия, дабы и он не поддавался латинской прелести, ибо веру потерявший, потеряет и власть, данную Господом. Погибнет сам и погубит землю свою.

¹ В 1276 году. (Здесь и далее примечания мои. – Д. Б.)

Всё это, и многое прочее, обрушилось на Дмитрия разом, как грозный вихрь, освежающий грудь. Он заверил баскака, что не умедлит со сбором рати, немецким гостям обещал путь чист и тут же послал в Новгород узнать отай: верно ли, что кесарь немецкий Рудольфус собирает полки, мысля напасть на Чехию, и какая беда от того может произойти для земель славянских? Митрополита он заверил, что без него, без Кирилла, никаких послов папы римского принимать – ни тем паче вести переговоров с ними – не будет. Заодно Дмитрий просил духовного владыку Руси выяснить, правда ли, что темник Ногай, недавно породнившийся с кесарем Михаилом, тайно принял веру Махметову, и не станет ли он склонять к тому же Менгу-Тимура? Ибо на Руси очень помнили насилия покойного Беркая ордынского, державшегося бесерменской веры...

И еще было нужно отослать срочно гонцов на Волынь, ко князьям Льву, Владимиру Васильковичу и Мстиславу, и в Смоленск, недавно добровольно попросившийся в ордынское подданство, и урядить с ними дела литовские. (Князь Лев Данилович с татарскою ратью уже пустошил Ляшскую землю.)

Рассылая гонцов, принимая посольства, решая и приказывая, Дмитрий ловил новые для себя подобоострастные взгляды старых бояр и «детей боярских», отмечал, с какой готовною быстротою – прямо опрометью – кидались исполнять любое его повеление, а поздними вечерами в изложнице рассеянной улыбкой отвечал испуганно-обожаящим и тоже каким-то новым взглядам своей маленькой княгини-жены.

Переяславскому князю, который наконец дождался своего часа, исполнилось тридцать лет. Дмитрий оповестил всех, он хотел, чтобы земля приняла его сразу как законного главу княжеского дома Всеволодичей. На похороны Василия Ярославича в Кострому приехали, кроме самого Дмитрия: Михайла Иваныч Стародубский, – старейший среди князей, последний из двоюродных братьев покойного; Борис Василькович Ростовский – у него, как у внука Константина Всеволодича, права на владимирский стол были, пожалуй, не меньше, чем у Дмитрия; прибыл и Федор Ростиславич Чермный – начавший входить в силу «принятой» ярославский князь, опасный своими связями в Орде.

Уже по пути в Кострому Дмитрий договорился с боярами покойного дяди, а потом с боярами Андрея. Семен Тонильевич начал было хитрить, но Менгу-Тимур неожиданно быстро подтвердил ярлык на великое княжение Дмитрию, что разом прекратило споры. Тем паче что ни нарочито вызванный Дмитрием стародубский князь, ни Борис Василькович Ростовский не тягались с ним за власть. И тот и другой уступали владимирский стол сыну Невского. Михайло отлично понимал, что не ему, с его маленьким стародубским уделом, спорить о великом княжении. Борис Василькович, тот и сам не хотел состязаться с Дмитрием. Страшная участь деда Михаила осталась в его душе на всю жизнь. Власти, которую можно получить, а можно – не получить и быть забиту ударами ног в сердце, этой власти он слишком страшился и вряд ли был бы рад, выпади жребий на него. Из других князей и княжеств никто не мог тягаться с Дмитрием ни по силе, ни по лествичному счету: ни Святослав Тверской, ни суздальские князья, ни тем более Ярослав Дмитрич Юрьевский. Врагом его – или другом? – мог стать только родной брат Андрей.

Через своих и Васильковых бояр Андрей потребовал Кострому. Дмитрий считал, что выморочная Кострома должна отойти в великое княжение.

Глава 31

– Едут, едут!

В неясной, серо-синей дали, застилаемой порошею, показался санный обоз. Спереди, сзади и по бокам скакали верховые. Андрей, глядя со сеней на приближающийся поезд, уже

угадывал княжеский возок брата. Его беспокоило также, приедет ли тесть. Без Давыда Явидовича говорить с Дмитрием ему не хотелось.

Дворский подошел, стал посторонь, озабоченно взглядывая на князя. Андрей оборотился.

– Все готово?

Дворский склонил голову.

– Встречай!

Дворский вышел, и Андрей услышал вскоре, как перед крыльцом зазвякали стремяна и весело затопотали кони. Вот вершники вылетели под угор, рассыпались вдоль дороги. Вот они соединились с верховыми Дмитрия. На душе у Андрея было смутно. Он все еще не решил, встретит ли брата на сених или выйдет на крыльцо. Пока думал, сани уже подъехали. Ржанье, скрип полозьев, людской гомон и конский топ наполнили двор.

Андрей поспел только сойти на галерею, когда услышал брата. Дмитрий уже подымался по ступеням. Слуги выбежали и стали по сторонам красной ковровой дорожки, нарочито постеленной для приема важного гостя. Андрей остановился стесненно, как в детстве. Походка брата, в которой была одновременно и тяжесть и упругая легкость, так напоминала шаги отца, что ему на миг стало сладко-страшно, но тотчас появился Дмитрий – и наваждение кончилось.

В светлой бороде брата еще сверкали тающие снежинки. Дорожную шубу он скинул внизу на руки слуг. Лицо было озабоченным, но не сердитым. Андрей сделал шаг. Они обнялись.

Сейчас сдавить бы Митьку, швырнуть, – да не швырнешь его, черта! Сейчас бы повозить друг друга, пыхтя и понарошку ругаясь, а потом, сваясь рядом на лавку, пить квас и еще задираться, обещая не такой еще бучи вдругорядь... Поди, и все иное по-другому пошло бы тогда!

Нельзя. По сторонам – слуги. Младшие дружинники – «дети боярские» с игрушечными копьецами в руках замерли, выпрямившись, у дверей. Не дышат. Присутствуют при великой встрече двух князей. И все нельзя. Они лишь на миг задержали друг друга в объятиях, поворотились и пошли по красной дорожке – два князя, съехавшиеся для переговоров. И навстречу уже вышла Феодора, строгая, с византийскими глазами, в яхонтах и жемчугах, с хлебом и солью на серебряном блюде. Дмитрий принял хлеб, поклонился, передал его подоспевшим боярам. Принял серебряную чару из рук Феодоры, выпил, поцеловался с невесткой. Феодора с плавным поклоном пригласила в терем. Все было уставно, чинно, благолепно.

Дмитрия проводили в приготовленный для него покой, где он привел себя в порядок с дороги, ополоснулся и переоделся. Потом пировали в тереме, в узком кругу ближних бояр и семьи. Прочую дружину кормили на сених. Давыд Явидович успел-таки и теперь – прямой, внушительно-красивый, в серебре седин и в роскошном, как всегда, одеянии – сидел за столом и изредка, с настойчивым напоминанием, взглядывал в глаза Андрею. Тот хмурился, слегка кивал в ответ. Более всего хотел бы он избежать разговора с братом наедине. Но Дмитрий, тоже изредка поглядывая на Давыда, вел окольные речи о делах домашних и семейных и явно добивался свидания с глазу на глаз. В конце концов Андрей устыдился своего малодушия, разозлился, как злился на брата в детстве, когда Дмитрий, по старшинству, брал в чем-нибудь верх, и решил больше не увиливать. Они прошли в теплую горницу, отведенную Дмитрию, и остались одни.

Андрей очень скоро понял, что не след ему было начинать этого разговора без бояр или, по крайней мере, без Давыда Явидовича. Дмитрий как-то сумел вывернуть все его упреки, изобразив их личной прихотью, и обратить против самого же Андрея. Андрей, не выдержав, сорвался наконец:

– Понятно! Отец был главою! А ты почему?!

– Я старейший брат.

- Старейший не ты, а покойный Василий!
- А ты что ж – хочешь уподобить себя дяде Андрею, что с батюшкой ратился?
- Дядя Андрей владимирский стол получил по закону! Это батя переиначил все у Сартака!
- Отца не замай! Перста его не стоишь! Батя был прав во всем! Единства требует земля!
- Было единство! При Юрии Владимирском! Как глиняную корчагу разбили!.. Отец, опять отец! Ежели бы это сказал я, а не ты! Ты – да, старший из нас, живых (а Василий мертв!). А что нам? Что мне и брату? Стать ковром для твоих ног? Ладно, ты нас еще не очень обидишь, мы братья, а твои дети у моих не отрежут волости, как дядя Ярослав у Андреевых детей? Ах, я могу рассчитывать, что после твоей смерти... Но ни ты, ни я умирать еще не собираемся! Скажи уж прямо: мы должны исчезнуть в свой черед, как исчез Василий, чтобы тебе – не вообще великому князю, а именно тебе – освободить дорогу! И почему старший? Владимир Святой не был старшим сыном! И дедушка не был старейшим. Уж коли на то пошло, Константин Ростовский старше, но мы не уступили стола ростовским князьям! Да, я жаден до жизни! Я не хочу отсыхать, как ненужная ветка в саду!
- Но как ты мыслишь судьбу земли, отчины нашей?
- Никак не мыслю! Завтра, завтра! Мор, огневица, любая иная смерть, гибель в бою... Откуда ты можешь знать, что будет? И я не знаю! И знать не хочу!
- Но оставить за собою хочешь!
- А оставить хочу. Как и ты, как и всякий из нас, как и любой мужик. И даже ежели мне предстоит княжить после тебя, без сильного княжества в руках я не получу места, стойно стародубскому князю! Вот мое слово: ты берешь Владимир, мне даешь Кострому – в удел.
- Владимир я беру не в удел, а как великий князь... Ладно, Андрей. Пойми, что бы ты ни говорил сейчас, все это я слышал уже от твоих бояр и боюсь, советчики у тебя не те, которые тебе нужны. Мы родные братья. Нам – ни тебе, ни мне – не удержать земли в одиночку. Вспомни батюшку! Что сказал бы он, увидев нас у власти, как собак у кости? Ладно, я могу тебе дать Кострому, но так же, как сам беру Владимир.
- То есть?
- То есть Кострома останется в волости великого княжения и будет дана тебе в кормление.
- Хочешь меня своим посадником сделать?
- Да.
- Не хочу!
- Пойми, что в очередь ты получишь и Владимир!
- Ну, это мы уже толковали с тобой. После смерти!
- Слушай, Андрей! Наша земля растоптана. Потеряно все. Слава Киевской державы развеена дымом. Мы – подручники хана. Народы, сущие окрест, отворотились от нас. Деревни пустеют, люд бежит. Чернигов, Киев, Дебрянск, Смоленск и Рязань уже не подвластны великому князю владимирскому. Угры точат зубы на Галич, ляхи рвутся к Волыни, немцы зарятся на земли Новгорода и Пскова. Стоит кагану мунгальскому помириться с Ордой и привести на нас войска из Китая, и нас уничтожат, вырежут, и имя Русь исчезнет с лица земли! А среди русичей – зависть и свары, мы как будто устали жить, разлюбили самих себя. Мы гибнем! Единственный выход для нашей земли – единая власть!
- Так отдай ее мне!
- Мы, Андрей, не отцову клеть с добром делим. Земля – это люди, города, бояре, ратники, церковь. Мы – пример для всех: порядка, и единоначалия, и власти. Как мы, так будут поступать все вслед за нами. Наша жизнь, жены, дети, все, что делаем мы, – пример. Мы не имеем права сами переступить право отцов и закон земли, ежели хотим, чтобы закон существовал. А ты и женился не так, как лепо князю, а по страсти и по упрямству...

– Ты еще скажи, что Бог наказал меня за это смертью детей!

– О Боге, Андрей, и его воле не нам судить. Мы лишь приемлем сущее... Но ежели мы, князя, преступим законы, и веру, и старину, и заветы прадедов, и вновь переступим, и вновь, – кто скажет, когда земля перестанет считать нас своими господами и стряхнет с себя, как старую ветошь? Я не потому беру власть, что сильнее тебя, а потому, что по лествичному праву она мне принадлежит. И так думают все, так считает земля!

– Ни Городец, ни Кострома, ни Ярославль, ни даже Ростов так не считают! А ежели и считают, вспомни: у дяди Василия не сам ли ты хотел отобрать Новгород?!

– Новгород, но не великое княжение.

– Я тоже прошу даже не Новгород, а лишь одной Костромы.

– Кострому я тебе даю. Но не в волость, а в держание.

– И затем отберешь.

– И затем не отберу, она будет твоей до моей смерти, а после будет твоей как область великого княжения, а еще после, Андрей, ты сам поймешь, что я был прав, и станешь поступать, как и я.

– Поклянись!

– Пусть принесут Евангелие.

Андрей ударил рукой в подвешенное у двери серебряное блюдо.

Принесли тяжелое непрестольное Евангелие, призвали священника. Дмитрий положил руку на переплет и произнес:

– Клянусь не хотеть ми под братом моим волости, в держание ему данной, ни града Костромы, ни иных градов и весей до живота моего! Но и ты поклянись, что не преступишь ряда и не будешь хотеть власти подо мной!

Андрей помедлил. Перед ним лежал костромской удел покойного дяди Василия, и надо было только протянуть руку, чтобы взять его. Он положил ладонь на тяжелый кожаный переплет и глухим голосом повторил клятву.

Почему-то в глазах у него встала при этом красная, будто пролитая на ступени, дорожка, по которой они с Дмитрием шли сегодня впереди всех.

Глава 32

Дмитрий так долго ждал, столько сил положил на уговоры и встречи, что только сейчас, когда кони бежали домой и возок колыхался, изредка проседаая то правым, то левым полозом в рыхлеющий снег, когда позади остались шумный Владимир, где он был торжественно возведен на стол новым владимирским епископом Федором, трудные споры с братом, трудная тризна в Костроме и самое трудное – переговоры с ордынским баскаком, – только теперь он начинал чувствовать, что вот оно произошло, свершилось! Вот он стал великим князем во след отца, и деда, и прадеда, великим князем Золотой Руси! И вопрекор всему – раздражению на татар, заботам власти, зависти брата Андрея, – вопрекор всему в нем подымалась радость. Он лежал, закинув руки за голову, на пышном соломенном ложе, застланном попонами и шубами, вдыхал талый, уже слегка весенний дух, пробивавшийся внутрь возка, и молча улыбался. Он знал, умудренный опытом прошлых лет, что будет трудно. Перед ним проходили княжества и города, лица князей и бояр, и он улыбался трудностям. Судьба не страшила его, раз нынче, в Успенском соборе, он наконец получил силы и власть, чтобы бороться с судьбой.

В Переяславле нового великого князя ожидало новгородское посольство. Бояре Прусского, Неревского и Славенского концов приглашали Дмитрия на новгородский стол. Исполнялась и эта мечта. Двенадцать лет назад его удаляли из Новгорода, «зане мал бяше». Шесть лет назад он сам отказался от приглашения, дабы не спорить с дядей Ярославом. Четыре года

назад, в споре с Василием Костромским, он вел их на Тверь, был брошен в Торжке и воротился с соромом.

И вот они сидят перед ним за пиршественным столом, и поднимают чары за него, и хитровато улыбаются. Послы в бархате и атласе, у иных серебряные и золотые цепи на оплечьях, твердые парчовые наручи пышных сборчатых рукавов затканы жемчугом, и все это для него, для его радости и веселия. Послы привезли поминки, и веские шероховатые гривны новгородского серебра пополнили опустевшую переяславскую казну. Послы привезли меха и кречетов, поставки драгоценных ипских сукон и дорогой «рыбий зуб». Послы приглашали его на всех прежних грамотах, а это означало, что ни черного бора, ни печорских даней ему не видать. Дмитрий согласился, он сейчас соглашался на все. Что и как будет он делать в Новгороде – об этом надлежало подумать позднее.

Дмитрий пировал, и у него лишь порою мелькала мысль о давешнем разговоре с боярином отца, Федором Шимановым. Разговор шел про Данилу, младшего брата, которого Федор Юрьич Шиманов, приставленный к Даниле еще покойным отцом, просил выделить и наделить уделом. Речь шла о Москве. Дмитрий отвечал, что подумает. Брата наделить, конечно, было нужно, но охотнее он дал бы ему – и не в удел, а в кормление – Кострому. Костромой, однако, пришлось поступиться, чтобы утишить Андрея. Москва же была нужна как путь на Смоленск, на Чернигов и Киев. К тому же и дани с московских черных волостей росли и росли. Крестьяне с юга, с Черниговщины и Рязани, все бежали и бежали туда, на север под защиту болот и лесов. Думая о Москве, Дмитрий начинал морщиться. В конце концов через того же Федора Юрьича он передал брату, что готов дать ему владельческие доходы от Москвы, а жить предлагал по-прежнему в Переяславле.

С новгородскими гостями засиделись допоздна. Заглянув к детям, Дмитрий прошел в изложницу. Жена приподнялась – никогда не засыпала без него:

– Матушка прошала, Митюша.

– Завтра, завтра!

Он скинул платье. Повалился в постель. Заключил жену в объятия... Уже засыпая, спросил:

– Почто прошала мать?

– Хотела поговорить о Даниле.

«Тоже о Москве!» – догадался Дмитрий и опять недовольно поморщился, засыпая.

Однако назавтра Данил явился к нему сам, прежде матери.

Дмитрий, постоянно встречая Данилу играющим с Ваняткой, как-то не замечал, что брат растет, и тут вдруг поразился, какой он уже большой. Данил стоял перед ним худой, мосластый и носатый. Нос как-то неприметно выгорбился за последние годы. Старики, кто помнил, говорили, что носом младший Александров сынок пошел в деда, Ярослава Всеволодича. Голос у него тоже преломился и вместо прежнего, мальчишески-звонкого, стал глубже и глуше. Серые глаза потеряли былую прозрачную детскость, зрачки потемнели, и взгляд стал упорным, «думающим».

Дмитрию пришло в голову, что Данил, на которого он, в сущности, почти не обращал внимания, рос все время рядом с ним, и все, что случалось: наезды послов, советы боярские, торжества, брани, дела семейные, – все происходило у младшего брата на глазах...

Только низ лица – красивый, яркий рот со светлым пухом на подбородке и верхней губе – был еще совсем детским, особенно когда Данилка смеялся. Но сейчас он не смеялся, а, сжав зубы, отчего резче выступили припухлые желваки по углам рта, и хмурясь, исподлобья глядел в лицо старшему брату, по временам раздувая крылья носа.

– Ты что же думаешь, я так и помру тут, в Переяславли, да? И не женюсь, и все такое, как покойный Василий, как наш старший брат?

– И ты тоже! – чуть не крикнул Дмитрий, вскипая.

– Кричи, кричи! – двигая кадыком и бледнея, но не уступая брату, отвечал Данил. – Кричи на меня! Я никогда ничего у тебя не просил! Меня, вон, и учили дома, и все такое! А Москву мне тятенька завещал, спроси хоть кого, вон, Федора Юрьича спроси, он тебе скажет! Твои бояра и то боле имеют, чем я: и села, и волости у их! Меня тута все деревенские парни дразнят «московским князем»! А не хошь наделять, отошли к Андрею, в Кострому!

Дмитрий свирепо глядел на этого сосунка, который тоже не понимает, не хочет понять...

– Ладно, поди.

– И уйду! – выкрикнул Данила, выбегая из покоя. В глазах у него стояли злые слезы. Мало что соображая, он побежал к себе, отпихнул старуху няньку:

– Давай мое, дорожное!

Он стал раскидывать порты, шапки, рукавицы. Трясущимися пальцами натягивал дорожное платье, сапоги. Вызвав холопа, велел седлать коня...

Уехать ему не дали. Прибежала мать, совсем поседевшая и согнувшаяся. Александра всплескивала руками, обнимала его, плакала. Данил, утихая, бормотал:

– Ну ладно, мам, не нать, не реви, не нать!

У него еще дергались губы и глаза горели обидой, и он боялся разрыдаться в свой черед.

К вечеру дело уладили. Федор Юрьич обошел бояр, собрали думу. Дмитрий почувствовал, что зарвался. Посадить родного брата у себя в городе, почти как пленника, было нелепо и ни с чем не совместимо. Данилу требовался удел, как и всякому другому, и Дмитрий, раскаяваясь уже в своей необдуманной крутости, отпустил брата на Москву, удержав, впрочем, за собою часть владельческих доходов и тысяцкое, тем самым привязывая Москву к великому княжению. Данил, изборожденный прежним решением брата, стал спорить и против последнего, но тут его уже не поддержал никто из бояр, и сам Федор Юрьич начал уговаривать согласиться. И Данил, уже несколько успокоенный за будущее, поутихнув сердцем, наконец смирился.

Порешили, что он поедет смотреть Москву тотчас, как установится летний путь, а пока пусть подберет себе бояр и дружину.

Чуть только апрель согнал снега и обнажившаяся земля начала подсыхать, Дмитрий налегке, с небольшою свитой ускакал в Новгород, наказав боярам отправить после сева дружину и обоз к нему, на Ильмень, а иным, как урядили заранее, вкупе с другими князьями выступить на Низ, в помощь ордынскому царю, Менгу-Тимуру.

Уже тридцатого мая он подписывал в вечевой избе ряд с Новгородом и целовал крест перед избранными горожанами, посадником, тысяцким и боярами, а тридцать первого был торжественно возведен на новгородский стол в Софийском соборе новгородского Детинца при стечении толп горожан и звоне всех софийских колоколов.

Глава 33

Просыхала земля. Первые черные борозды ложились по серым, кое-где затравеневшим полям.

В эту весну в Княжеве не умолкали толки и пересуды. Поход на Низ предвиделся долгий. Кому выпал жребий идти туда, заранее прикидывали и уряживались, кто и как без них уберет урожай, заготовит лес, кто и на чем вывезет потом дрова и сено. Бояре обещали помочь рядовым ратникам, соседи – родичам, княжеские волостели выдавали кое-кому, по рассмотрению, оружие и коней...

Русичам – не то что ордынцам, у которых и конь и дом – все с собой. Приходилось думать и думать, ежели поход, как обычно, не укладывался в срок между уборкою хлеба и севом или между севом и уборкою урожая (по летней поре). Да и поход был не свой, никому не нужный здесь, во Владимирской земле, и шли только, чтобы удовлетворить татарскому хану.

Козел отправлялся в поход. Он сидел в Михалкиной избе как гость, как мужик, ел и пил, хлопая по плечу Федора, как с равным, толковал с Грикшей и с дядей Прохором. Мать подавала на стол пироги и молочную лапшу. Пили медовую брагу. Прощались, разговаривали. Фрося, еще более огрузневшая, то присаживалась, то вставала помочь матери.

– Ты сиди, сиди! Ты гостя нонче! – останавливала ее мать. Спрашивала:

– Совсем отсеялись?

– Совсем. И лук посадили, – отвечала Фрося.

Параська любопытно, круглыми глазами следила за Козлом: уже и жених, уже и парень! Раньше, пока возился с Федей да босиком бегал, и не замечала его подчас.

– Первое дело – своих держись! – говорил Прохор. – К чужому котлу не приставай, хоть и голодно будет. Держись вмести. Свои не оставят! Меня так-то чужие бросили снова. Тож в тамошнем краю. Проснулся – а ушли! А талдычат рядом, да не поймешь по-ихнему! И не татары вовсе. Я по-татарски-то еще как-то мог бы... Ну я и струхнул! А что? У их это свободно! Захватят и продадут! И будет тебе Босфор: на чеппи жисть кончать! А уж коли свои, дак... На миру и смерть красна! Старшого не забывай... Ну, тут ты не промах.

Федя не выдержал, подзудил:

– Он и у клещинского ключника в новых сапогах ходил!

– Иди ты, знашь, куды не знашь! – густо покраснев, возразил Козел и стал сразу похож на того задиристого мальчишку, с которым они играли в лапту, спасались от криушкинских и мечтали о дальних странах.

– Шучу, не обессудь! – Он обнял Козла за плечи. Козел посопел носом, притих. Потом торнул Федю под бок:

– А ты как же?

Федор, потупясь, признался:

– В Новгород! В обоз берут.

– Значит, и твоя думка исполнилась!

Когда-то сидели четверо сорванцов в самодельном шалаше на склоне оврага. Прохоров сын, Степка Линёк, нынче весь в трудах, воротит за взрослого мужика. Яша...

– А где-то Яков?

– Яков женился.

– Да ну! А я и не знал.

– Что ты! – отвечает Козел. – Они там, за Весками. Чеботарит, и по крестьянству тож...

– Так никуда и не поехал...

– Зато мы с тобой!

Друзья умолкают, слушают Прохора. Пьют перед разлукой.

Глава 34

Дорога бежит из ворот Переяславля, плавно подымаясь на угорье, и мимо окраинных, крытых соломою домиков, мимо Никитского монастыря, мимо полей и пашен, чернолесьем и бором, убегает на восток, к Владимирскому ополью, к Юрьеву-Польскому, а дальше, по распаханым, густо зеленеющим холмам, к стольному городу Владимиру, с его валами, крутыми кровлями посадских хором, с его белокаменными соборами над кручею Клязьмы...

Скрипят колеса телег; поводные кони, привязанные к задкам возов, бегут, поматывая головами. Возчики изредка взмахивают кнутами. Ратники – кто едет верхом, кто трясется на телеге. Козел, стреляя глазами по сторонам, скачет вдоль обоза, горячится, кричит на возчиков:

– Боярин велел! Иди ты, знашь... От его послан!

Возчики подергивают поводья, понукивают. Им ехать до Нижнего, а там, погрузив товары и людей в лоды, порожняком возвращаться домой. Возчики посвистывают: им в поход не идти, а коней надо беречь, ино и до дому не доедешь.

К ночи близ дороги раскидывают шатры, на кострах варят кашу. Стреножив, коней пускают пастись. Пастухи из окрестных селений подъезжают к кострам для-ради разговора, обмениваются новостями. Сами следят вполглаза: не потравили бы проезжие молодой хлеб.

У костров бывалые сказывают, молодые слушают – иные раскрыв рты. Запоминают отдельные татарские слова: хлеб – «ётмек», вода – «су», конь – «ат», «алаша», хорошо – «якши», плохо – «яман»... В Орде десятков слов и то пригодится. В дороге только и выясняется, что Оня, знакомый мужик из Маурина, хорошо говорит по-татарски. («Где выучил?» Улыбается в ответ.) Что кто-то еще, про кого и подумать не могли, бывал уже на Волге, доходил до самого Сарая, а другой Алгуя, князя ордынского, знает в лицо...

Боярин великого князя Митрия, престарелый Гаврило Олексич, с сыновьями Окинфом и Иваном Морхинею объезжает стан. Где лопнул обод у колеса, где порвали упряжь, где воз, худо стянутый, развалился – едва дотянули до ночлега. В возах снедь, попоны, запасные порты, сапоги, сбруя, оружие, брони, шеломы. Все надо не растерять, за всем досмотреть. Гаврило Олексич озабочен: рать должна дойти свежей и справной, потому и не спит, потому и едет вдоль шатров, вдоль расположенных возов и хрупающих переминающихся в темноте коней, от огня к огню, окликая, поверяя и строжа. Путь не ближний, рати идти до Сарая много недель. Неяркая задумчивая полоса на закатной стороне неба бледнеет и гаснет. Тянет сыростью из низинок. Порою пахнёт теплом из-под сумеречных лап спящих елей. Костры догорают, сыновья давно уже клуют носами, качаясь в седлах. Пора спать.

Во Владимире стояла жара. Козел долго тыкался по раскаленному пыльному городу, пока нашел нужный дом. Подходили ростовские дружины князей Бориса Васильковича и Глеба, улицы были забиты возами и ратниками. Козла раз сорок окликали, то принимая за своего, то за владимирца, и прошали дорогу... Хозяева, которым он должен был передать привет из дому и деревенские гостинцы, жили где-то на отшибе, у самой городской стены. Фросю с трудом вспомнили, и Козел, отвечая на ленивые вопросы хозяйки, уже понял, что ему тут ничего не отломится, ночевать и то не предложат. Воротясь, он узнал, что его искали, – легкая конница вместе с ростовчанами уходила вперед, а он, прошлявшись, пропустил перекличку и остался при возах. В сердцах Козел выругал и мать, и нелюбезную владимирскую родню. Впрочем, плыть по Волге всем одинаково! – утешил он сам себя. На завтра они двинулись дальше берегом Клязьмы. И все было по-прежнему: ночевки в шатрах, рассказы бывалых ратников у костра.

Наконец обозы подошли к Нижнему. Открылся рубленный город на круче, а с кручи, внизу – большая река, какой Козел еще не видывал, и заволжские лесные дали, и масса судов у пристаней, на которых, как мураши, копошились люди. Ярославская рать князя Федора Ростиславича и городецкая дружина князя Андрея уже прибыли в Нижний и сожидали ихний обоз.

Козел верхом подъехал к самому обрыву и застыл, натягивая повод, и конь застыл, подрагивая ушами. Козел смотрел и не мог насмотреться, глядел и не мог наглядеться. Он побледнел и невольно расправлял плечи. Он не думал сейчас ни о чем, только мурашками по коже ощущал тихий восторг. Он стоял, приподымаясь в стремени, смотрел в заречную ширь, и в нем тихо отслаивалось, отпадало босоное голодное детство, убогий дом вместе со стареющей матерью, и не то что забывался, а уходил в прошлое. Там, впереди, были дальние страны, богатые восточные города, о которых без конца толковали дорогою, удача и слава, более прекрасные, чем в сказках. Он как бы и сам уплывал в эту неохватную даль. И то, что было с ним и чем он был сам до сих пор, становилось далеким и уже трудно различалось в отдалении...

Козел едва опомнился, услышав невдали громкий спор. Двое верховых в богатом платье теснили конями знакомого боярина, Гаврилу Олексича. Козел подскакал, с острым любопытством окинув глазами незнакомых бояр: пожилого, крупнозубого, с сединой в черных кудрях

и с такими ручищами, что Козел мысленно поежился, прикинув, что от удара подобной лапой свободно можно усвистать с коня, и молодого парня – видно, сына, – тоже под стать отцу. По какому-то наитию Козел выпалил:

– Гаврило Олексич, наши уже тут! Покликать?

Черные отец с сыном недовольно оглянулись на Козла. Гаврило Олексич тоже оглядел его с прищуром. Едва заметно подмигнул, понял. Вымолвил:

– Что ж, зови молодцов. А то погоду, вместе поедем.

Чужие бояре – это был Олфер Жеребец с сыном Иваном, – свирепо поглядев им вслед, потрусили под угор.

– Отколь сам-то? – спрашивал Гаврило Олексич дорогою.

– Княжевский, а служил у Тимофея Васильича, у дворского, на Клещине.

– А-а! Ну, ну. Ты малый сметливый, я гляжу. В Сарай приедем – напомнимсь...

«Я тебе еще и по дороге напомнимсь, боярин! – мысленно пообещал Козел, прощаясь с Гаврилой Олексичем. – Я не я буду, а возьмешь ты меня к себе, не отбояришься!»

По сходням заводили коней на барки. Кони недовольно косились на воду, иногда упирались. Заносили кладь. Вozy, те, что брали с собой, закатывали, не разгружая, и крепили смолеными оттяжками к бортам и мачтам. От воды тянуло прохладой, солнце, дробясь на волне, слепило глаза. Пахло смолой, дегтем, конским и человеческим потом. Мальчишки толпились у причалов, перебежали на барки. Их шугали, награждая подзатыльниками. Подале, под горой, кипел торг. Козел уже побродил там, пошарил глазами, посвистал – всё одно, в кошеле хоть шаром покати. Поглядел восточных купцов в полосатой сряде, потрогал, с независимым видом богатого покупателя, поставки дорогой камки и пестроцветной зендяни. С ним заговаривали, иные на своем языке, он крутил головой, отвечал татарским, выученным в пути: «не понимаю». Ходить по торгу с пустом скоро надоело, да и отлынивать от работы очень-то не стоило; и теперь Козел хлопотал, заводя коней на суда, суетясь больше всех и покрикивая на напарников. К ночи должны были погрузиться, а на рассвете – отплывать. Нижний был последним русским городом на пути. Дальше вниз по Волге начиналась Орда.

Берега разбегаются по сторонам, становясь ниже и ниже. Слева уходят вдаль заливные луга, справа тянется, не кончаясь, обрывистый склон. Табуны коней пасутся на приволжских кручах.

– Раз-и-два! Раз-и-два!

Весло мерно подымается и опускается. Солнце жжет спину, руки и плечи гудят, пот пропитал рубаху, заливает глаза. Кажется, даже скамья, на которой сидишь, мокра от пота. Козел сжимает зубы, чтобы не расплакаться. Раз-и-два! Раз-и-два! Сбиться нельзя, дадут по шее. Весла враз подымаются, роняя сверкающую бахрому прохладных капель, и враз опускаются, разбивая волну. Хоть бы черпнуть из-за борта, ополоснуть лицо, едкий, разъедающий глаза пот, – некогда. Раз-и-два, раз-и-два! Покажись тут боярину! Боярин в шатре, на головном судне. Боярину грести не нать... Солнце печет и печет и все не хочет снизиться. Тогда бы ночлег, костер, обжигающая каша, мгновенный, как в воду, сон.

Иногда к берегу пригоняют баранов, тут же режут, варят для ратников похлебку. После мясной заправки веселее глядится, легче кажется весло, сильнее руки.

– Раз-и-два! Раз-и-два!

Пот просыхает под солнцем, и постоянная тяжесть в плечах уже не гнетет так отчаянно и не кидает вечером сразу в сон. День за днем...

Цветные машущиеся тряпки на незнакомо одетых бабах и мужиках вдали по-над берегом. Стоят, загораживая горсткой глаза, смотрят на караван. Крикни – не услышат: далеко. Овцы, словно серая вошь, ползут по берегу, у воды. Бродят быки и кони. По круче, темнея противу солнца, тянется крохотная запряжка. Возок не возок, вроде юрта ихняя на телеге, и дымок вьется над ней. На ходу и варят что-то себе. Города просторные, без стен, домики будто

высыпаны по берегу, и церквей не видать. Как живут, что делают? Кое-где пашни, тоже и хлеб сеют, значит не только кумыс да мясо, как сказывали про них.

Мужики поют в лад. Под песню забывается усталость. Хоть бы ветер попутный! Тогда поднимут парус, гребцам можно будет сушить весла, можно будет развалиться на досках, глядя в небо, где висят – не то плывут, не то тают – белые облака. Раз-и-два! Раз-и-два! Раз-и-два!

К Сараю подошли на закате солнца. Город, чуялось, что большой, было уже и не рассмотреть. В темноте налаживали сходни, выводили коней. На берегу – сутолока: и свои, и татары, кого ни набежало. Князя разъезжали вдоль причалов, скакали бояре. Кого-то, кто дуrolомом, в ночь, дернул было в город, с руганью вели назад. Люди истосковались по твердой земле, по человеческому жилью, а тут – стой, терпи, ночуй тут, у людей, у берега.

Спалось плохо. Едва развидняло, а уже там и сям слышались хриплые голоса, люди выползали из шатров, собирались кучками. Козел тоже выбрался. От холода пробирала дрожь. В рассветных сумерках смутно обозначались рубленые сараи, бочки и кули под навесами, костры приплавленного с верховьев леса и жердевые, обмазанные глиной загоны для скота. Козел пошел по берегу. Русская сторожа дремала, опершись о копь.

– Эй, ты, переславской, далече не ходи! – окликнули его.

– Не бойсь! – отозвался Козел. Отходить и верно не стоило. «Останешься не евши!» – подумал он.

Около загонov стояли какие-то в долгой сряде, в остроконечных бараньих шапках, с посохами в руках. Верно, стерегли скот. Лица были плоские, коричневые.

– Здорово, мужики! – сказал Козел. Те покивали головами, залопотали что-то по-своему. «Урус, урусут!» – только и понял Козел. Он хотел было пойти дальше, но один из загонщиков, широко улыбнувшись, блеснул белыми зубами, достал из сумы что-то, видом похожее на засохший творог, и протянул Козлу, повторяя «урус, урус!» и показывая на рот.

Козел откусил – было солоно и похоже на сыр. Сам показал знаками, что нечем отдарить. Те заулыбались, замахали руками.

В самом конце причалов Козел набрел на русского деда из местных и с ним наконец отвел душу. Дед был, правда, приглуховат, путался, переспрашивал, все поминал «князя Ляксандра», и Козел едва втолковал ему, что князь Александр давно умер. Дед покивал, кажется, не поверил.

– Жизнь ничего, жить можно и тут, – говорил он, вздыхая. – А вы насовсем али как?

– В поход!

– Стало, домой вертаете... Ай еще куда?

– Вчерась прибыли! – кричал ему Козел.

– Вчерась. В поход, значит! – кивал дед, глядя перед собой потухшими глазами.

– В Гороховце не бывал, парень? – спросил он, малость оживясь. – Не бывал... Свои у меня тамо, – прибавил дед тише и понурился. – Поди уж нетутко, сколько летов прошло!

Светало, и уже начинали обозначаться плетневые заборы и кирпичные, обмазанные глиной, домики. В отдалении что-то голубело, зеленело, словно купола и узкие башни над домами. Верно, церкви ихние! – догадался Козел. Он чуть было не тронулся в гору, да на берегу ударили в било, и пришлось рысью бежать назад.

Стан уже весь проснулся и свертывал шатры. Прибыл сарский епископ и два попа из русской церкви. Кадили, благословляли рать. После молебствия роздали по ломтю хлеба. На ворчанье мужиков было сказано, что завтрак им уже готов в городе.

Князя – принаряженные, в алых шапках и корзнах, с ними избранная дружина – ускакали вперед представляться хану. Прочие ратники, свернув шатры, погрузив добро и доспех на телеги, навьючив коней, тронулись следом за ними мимо любопытных чумазых мальчишек, мимо мужиков и женок – что были одеты почти как мужики, – столпившихся по сторонам поглядеть на русских воев, мимо плетней и огорож, мимо сложенных из кирпича низких домов

и войлочных круглых шатров татарских, по широкой пыльной улице, разгоняя скот и собак, что с визгом кидались под ноги ратникам. Когда увидали первого верблюда, даже порушили строй. Всем охота было посмотреть, что за зверь. Верблюда с погонщиком окружили. Кто посмелее – норовил потрогать, подергать за шерсть. Верблюд пятился, надменно задирал голову. Мужики хохотали, глядя на его морду.

– Берегись, плюнет! – остерегали иные...

Городом шли очень долго. Насмотрелись и богатых хором, что были выложены с лица лазоревыми блестящими кирпичами. Видели и бесерменские церкви с высокими голубыми куполами и узорными башнями по сторонам. Прошли русский конец, где среди плетневых мазаных и кирпичных домов густо стояли избы, тоже промазанные глиной. Там и сям виднелись сады, и молодки и бабы, всплескивая руками, выбегали на улицу, на голос родимой русской речи, а потом торопились кто с кувшином молока, кто с яблоками или пирогом – угостить на ходу и выпрашивали тут же, роняя непрошеные слезы:

– Отколь, родимые? Курских нету-ти? Али с Рязани кого? – Народ тут был все больше южный, с Оки да с Прони.

Наконец плетни кончились и вышли вновь в степь, к мазанкам, что были приготовлены для них на окраине, и к загонам, где еще следовало поставить шатры.

Впрочем, их не обманули. Татары и русские – местные, полоняники – уже хлопотали у костров. В котлах булькало мясное варево. Часть комонных, что ускакала вперед, без оружия, теперь встречала рать и разводила по местам. Мужики торопились дорваться до еды, все прочее сейчас уже не интересовало.

Рассаживались прямо на земле. Дымящееся мясо выкладывали на кожаные большие подносы. Хлеб был свой. В ход пошли ножи. Мясо ели руками, горячее хлебово черпали из котлов и мис по очереди, глотали, обжигаясь.

– Ничо! Так будет кормить хан, и воевать заможем!

Спешили. Полдня протопав в пыли и жаре, боялись, что умедлишь – и не достанется. Наевшиеся отваливались, распускали опояски. Татары привезли несколько возов арбузов и дынь в двухколесных плетеных коробьях. Мужики разбирали, дивились:

– Погодь! Дай гляну, що тако за овощ? И как ю едят? С кожурой али так?

Скоро, Впрочем, и тут нашлись знатоки, и сочные красные и желто-зеленые ломти пошли по рукам.

– Чудно! Словно огурец, а сластит!

– Вода и вода!

– Ну, не скажи, вроде квасу оно, ежели к примеру сказать!

– А что, Митюх, женки тут, курянки, ничего себе! Я перемигнулся с одной!

Бояре с трудом подымали наевшихся мужиков. Ругали, заставляли ставить шатры. Вырваться в город, побродить – в этот день нечего было и думать.

Вечером в шатре сказывали:

– Тут наших полоненных, ежели в степь угонят, считай, пропал. И голоден и холоден, грейся с баранами в куче. Ну а которого тут поселят, ежели мастер добрый, к примеру, – живут. Торговлишку какую ни ешь заводят. Гостям торговым тут легота, со всего свету, почитай, везут. Да сами татары, как с войны воротятся, за полцены у их и товар, и порты, и челядь. Тут бы и вовсе жить, да бесермены люты. Нашим ходу не дают. Они и хана обаживают, чтоб ихнюю веру принял, Махмудову...

Козел слушал вполуха, а сам прикидывал так и эдак. К боярину подстать али к кому из ростовских князей? Али, может, и к местному какому, бают, нанимают русичей. Бронь бы достать только! Али к купцам...

Впереди был поход, жара и пыль, безводье, черные пески, яские острые сабли и стены Тетякова. Сто раз еще и голову сронить можно, но только Козел не собирался скоро расставаться с головой, и возвращаться с пустом в родимое Княжево он теперь тоже не собирался.

Глава 35

В то время как разубранные кони взбивали пыль, проносясь по улицам этого чужого, огромного и какого-то нелепого города, князь Андрей нервничал, словно мальчишка накануне первого боя. Он излишне прямо сидел в седле, глядя строго перед собой, и лишь краем глаза позволял себе проверять, тут ли Семен Тонильевич, в котором он сейчас нуждался, как никогда. Ростовские князья – и Борис Василькович, и Глеб, и даже сын Глеба, юный Михаил – все бывали в Орде и представлялись хану. Бывал в Сарае и Федор Ярославский. Андрей один ехал впервые, и все было впервые для него: и верблюды, от которых шарахались их северные кони, и этот сплошной кирпич, и голубые изразцы, и купола, и минареты мечетей, и юрты, и зной, и даже пыль, какая-то тяжелая и липкая, не такая, как там, у себя на родине. Он повторял про себя, как и что должен делать в ставке кагана, и ему претило все это. Претил кумыс, который придется пить при входе в шатер Менгу-Тимура, претило коленопреклонение, претили разговоры через толмача...

Они проскакали насквозь глиняный и кирпичный город, и вот перед ними вырос другой город, раскинутый на зеленой траве, свежий и яркий, весь из войлока, шелка и парчи, – «юрт», или ставка хана Золотой Орды.

Казалось невероятно, как держатся эти круглящиеся огромные сооружения, одно больше другого, расставленные в строгом порядке вокруг самого главного – сверкающего шатра Менгу-Тимура.

Андрей не ожидал подобных размахов. Про себя при слове «шатер» он представлял обычный походный шатер княжеский, сюда же могло уместиться четыреста, а то и пятьсот человек. Узорчатые войлочные покровы едва виднелись из-под паволок, переливчато сиявших на солнце, с вытканными китайскими драконами и сказочными птицами на них. Золотая парча лентами обвивала все сооружение. Нукеры в серебряной чешуе доспехов, с узорными круглыми щитами и сверкающими копьями в руках, замерли у входа. Плоские узкоглазые лица были надменно-неподвижны. Русская дружина осталась позади, и вдруг Андрею стало не по себе. Кто он? Русский владетельный князь или пленник, пойманный среди белых и расписных шатров, среди чужой, чужому слову покорной рати. Что у этих в мыслях? Что на сердце? Своих, русичей, понял бы со взгляда, а этих – гляди не гляди – чурки с глазами. Окружают, берут коней под уздцы, приходится спешиваться – не близко от шатра – и идти пешком в княжеском пурпурном корзне, что волочится и цепляет за траву... Стыд, срам! А этим – хоть бы что, и не смеются даже.

«Вот она, Семенова Византия! Ни мрамора, ни палат, а дрожишь, как последний щенок! – думал Андрей, приближаясь к шатру. – Вот она, власть!»

Он вздрогнул, чуть не забыв, что нельзя ни за что на свете задевать порога шатра. («Не то убьют!» – полыхнуло в мозгу и словно варом обдало всего.) Где здесь порог? Верно, эти вот веревки!

Первым вошел Борис Василькович. Андрей ступил следом, скованно повторяя движения ростовского князя. Только уже переступив злополучный порог и отойдя от него на несколько шагов, он опомнился и сумел оглянуться по сторонам.

Свет падал сверху в отверстие шатра, но так рябило от сверкания драгоценных одежд, утвари, узорных ковров, от многолюдья разряженных придворных, что он не сразу сумел разглядеть самого Менгу-Тимура, и опять едва не сбился, ибо теперь надо было преклонить колено и принять серебряную, восточной работы чашу с кумысом. (Который, впрочем, как

заранее объяснили ему, можно было только пригубить: упорное нежелание русских пить кумыс было принято в Орде во внимание.) Тут же стояли другие чаши с медом и вином из разных земель, подвластных Орде или торгующих с нею.

Хан ответил на приветствие гостей наклоном головы. Им подали скамьи, и теперь только Андрей сумел рассмотреть все как следует. Прямо перед ними тянулось разубранное возвышение, твердая основа которого была вся до кусочка укрыта узорочьем. В середине стоял низкий, с круглою спинкой, золотой трон. На троне, скрестив по-монгольски ноги в шелковых шароварах, в сверкающем парчовом халате и в венце сидел Менгу-Тимур. Лицо его было так же бесстрастно, как у нукеров перед входом. Впрочем, приглядевшись, Андрей понял, что он чуть-чуть улыбается, разглядывая своих русских улусников. Слева от хана, пониже, сидели его жены, в высоких, точно шлемы с наверхьями, и еще расширяющихся вверх от середины, шапочках, обернутых парчой и шелком, с золотыми прутиками на самом верху убора, в голубых, рисованных драконами халатах, толстые, недвижные, с такими же узкими, словно полу-прикрытыми глазами. Справа от Менгу-Тимура и внизу, перед возвышением, густо сидели придворные хана: родичи чингизиды, нойоны, темники и тысячники, монгольская знать, покрывшая мир. Впрочем, и не только монгольская. Андрей заметил белые пышные бороды и иной склад лиц у некоторых из сидящих в шатре. Слуги, стража, музыканты, виночерпии теснились по сторонам и у стен двойного шатра, узоры которого внутри были иные, чем снаружи.

«Вот она, власть!» – повторил про себя Андрей, не понимая толком: от заморского вина, от оглушительных хлопков в ладоши после каждой выпитой чаши или от этой многоцветной роскоши кружится у него голова. Принимая чары, он сперва не закусывал, и только уж когда Семен незаметно кивнул ему, заметил кожаные, позолоченные по углам, тарели с мясом и дичью. То и другое полагалось брать прямо руками или маленькой двоезубой вилочкой. Менгу-Тимур спрашивал что-то, почти не шевеля губами, толмач переводил. Андрей снова не сразу понял, что спрашивают его.

– Да, да, он средний сын Александра Невского, князь городецкий!

И еще что-то было сказано, в похвалу его отцу, от чего Андрей почувствовал, что неприлично, по-мальчишечьи краснеет.

При каждой новой чаре, что подавалась гостям, играла музыка. Менгу-Тимур еще что-то спросил, и толмач перевел:

– Почему мы не видим здесь нашего князя Дмитрия?

Вопрос вызвал мгновенную заминку. «В самом деле, почему?» – подумал Андрей. Еще час назад, едучи через город, он бы не подумал так, находя вполне разумным, что брат прежде всего кинулся в Новгород.

Отвечал хану боярин брата, Гаврило Олексич, и Семен тоже сказал несколько слов по-кипчакски, словно дополняя ответ Гаврилы, на что Менгу-Тимур чуть заметно нахмурился и переглянулся с приближенными.

Торжественный прием на этом был окончен. Князья встали и, пятась, – оборачиваться спиной к хану не полагалось – покинули шатер.

Андрей еще весь был в сумятице чувств и мыслей после приема у хана, когда вечером того же дня Семен Тонильич пригласил его в гости к одному из ордынских вельмож, Олексе Неврюю, сыну того Неврюя, что когда-то громил покойного дядю Андрея, освобождая для Александра Невского владимирский стол.

Семен уже дорогою объяснил Андрею, что мать Олексы была христианка, сам он крещен по православному обряду, и сын Александра Невского для него – желанный гость.

Андрею тут первый раз довелось увидеть каменное ордынское жилище, выстроенное Неврюю мастерами из Хорезма.

Дверь узорчатая, наборного дерева, с большими, кованой меди, позолоченными узорными гвоздями; затейливые выкладки из синих, голубых, зеленых, желтых и белых изразцов в

нишах наружной стены; решетчатые окна, свободно пропускающие воздух, в которые, однако, невозможно было заглянуть, и дворик внутри дома, застланный ковром и отененный какими-то незнакомыми низенькими деревьями с раскидистой кроной, дворик, куда выходили двери и окна, забранные резными ставнями, из разных покоев. В просторной и неожиданно высокой палате хозяина (с улицы дом казался гораздо ниже) все было устроено на восточный лад. Ковры и низенькие столики, и кованые кувшины, и расписная глазурь в узорчатых открытых нишах стен. О христианстве хозяина напоминали лишь небольшая икона в углу, с лампадкой перед нею, да серебряный позолоченный крест на стене.

Дружинников, с которыми приехали Андрей с Семеном, проводили в другое помещение. Хозяин, еще очень не старый, с внимательными, чуть раскосыми глазами, прямым носом и несколько более густой, чем у других татар, бородкой, коренастый и широкоплечий, принял их спокойно, радушно. Семена – как старого знакомого, Андрея – с цветистыми приветствиями, которые Семен не без удовольствия тут же и перевел. Впрочем, далее выяснилось, что Олекса Неврюй совсем неплохо говорит по-русски. Он не суетился, слуги, казалось, понимали его мысли.

Андрею подали скамеечку. Семен Тонильич уселся по-восточному. Внесли серебряный таз – ополоснуть руки. Потом начали носить блюда. Мясо наперченное, мясную, с длинной упругой лапшой, густую похлебку, мед и вино, кумыс, который Семен пил, а Андрей, поняв, что тут можно и не пригубливать, незаметно отставил в сторону. Снова мясо с иноземными пряностями, наконец – белые пшеничные лепешки и фрукты (овощи, как говорили на Руси), свежие и засахаренные, вяленую дыню, тягуче-сладкую, инжир, сушеный виноград, персидский, приторно-сладкий замороженный напиток с фруктами – шербет.

Откинувшись на подушки, хозяин наконец заговорил, неспешно подбирая и очень чисто произнося русские слова:

– Народ моалов невелик числом и еще темен. Но мы покорили мир, и если бы ныне нас самих не разделила война, наши кони давно бы дошли до последнего моря. Папа римский и франки сейчас присылают каану своих послов и дары. Кесарь Михаил ныне дружен с нами. Но папа пересылается также с нашим врагом, иль-ханом Абагой, и мы знаем об этом. Твой батюшка был другом великого Бату, деда нашего каана. Скажи, будет ли таким же другом ему твой брат, князь Дмитрий? Менгу-Тимур опечален тем, что не увидел нынче его лица.

– Великий князь Дмитрий очень спешил в Новгород! – ответил за Андрея Семен. – Каан не должен слишком винить нашего великого князя. Новгород своеволен. Но оттуда идет серебро на Русь и в Орду. Немцы зовут Новгород ключом к Русской земле. У нас верят: тот, кто возьмет Новгород, станет королем на Руси, стойно западным государям. Триста лет назад наш великий каан Владимир, крестивший Русскую землю, привел из Новгорода полки руси и варягов, с коими разбил брата Ярополка с печенегам, захватил Киев и стал хозяином русской земли. Что ж! Мудрые молвят, что жизнь идет коловратно и возвращается на круги своя, подобно течению планет!

Андрей несколько ошеломлен от непривычной и обильной еды, от хмельных напитков, которые тут были еще разнообразнее, чем в ставке хана, и потому трудно понимал хитрые извивы разговора, который затеял наконец Семен Тонильевич. По мере того как разговор становился все откровеннее, Андрей мрачнел и отвечал все короче и суше. Семен явно вел дело к тому, чтобы опорочить Дмитрия перед ханом. Однако взаимная клятва еще свежа была в памяти городецкого князя, да и здесь, вдали от дома, так, сразу, в чужом доме и среди чужого народа, он словно острее почувствовал, что они с Дмитрием как-никак родные братья, и эта хитрая игра Семена уже начинала не нравиться ему...

Уже когда они ехали верхами домой в полной темноте, слыша только топот копыт дружинников за спиной, вслед за факелоносцем-ордынцем, который трусил впереди, указывая дорогу, Андрей оттолкнул почти враждебно:

– Брат не виноват перед ханом, что не приехал кланяться. Рать-то он послал! – И, поскольку Семен молчал, добавил погодя с хмельным упрямством: – И передо мной не виноват! Ты что молчишь? Не виноват он передо мной! И я – тоже – не виноват...

Семен молчал.

Глава 36

Дорога бежит из ворот Переяславля, мимо хором и палат, клетей, изб, амбаров, лавок, сушилен, коптилен, кузниц, красилен, кожевенных, скорняцких, седельных и щитных мастерских ремесленного околородья, мимо окраинных церквей, мимо куполов и башен Горницкого монастыря, плавно подымаясь на угорье, полями и пашнями, селами и деревнями, рамением и бором, ныряя с холма на холм, убегает на запад, к Дмитрову и дальше, сворачивая на север, Серегерским путем, через Молвотицы, к славному озеру Ильмену, к Господину Великому Новгороду.

Поскрипывают тяжелые, груженные воском, скорой, зерном, медом и лопотью возы. Надежно увязаны, укрыты рогожами, стянуты смоленным вервием кули и бочки – путь не ближний. В кожаном, с серебряными узорчатыми оковами возке едет в Новгород, к мужу, великая княгиня с дочерьми и младшим сыном Александром – жданным, моленным, и назвали по деду, будет помощник отцу! Старший, неудачненький, Ваня, остался в Переяславле, опять приболел, побоялась брать с собою. Княгиня то оправит платица на дочерях, то возьмет Сашуню у няньки из рук, прижмет, зацелует. Глаза у княгини сияют; ехать и ехать еще, а уже не сидится, и сердце бьется тревожно: как он там без нее? Милый, болезный, ненаглядный! Она высовывается в окошко – покликать кого из слуг. Терентий, Митин боярин, завидя великую княгиню, шпорит коня, рысью подъезжает к возку. Он улыбается, и княгиня улыбается боярину. Спрашивает о жене, о сыне, что недавно родился у Терентия. Боярин отвечает, наклоняясь с коня, улыбка не сходит с его румяного красивого лица. И княгиня видит, что Терентий красив и внимателен к ней, и еще больше радуется за себя и за Митю, которого они все так любят. Терентий отъезжает и издали, оборотясь, машет ей рукой, и княгиня машет ему своей маленькой ручкой со сверкающими перстнями на пальцах и, довольная, отваливается на узорчатые восточные подушки...

Обоз ведет Миша Прушанин, старый боярин, что еще на Неве когда-то бился вместе с покойным Митиным батюшкой. Миша уже старый, великая княгиня немножко робеет перед ним. Покойный свекор, говорят, перед смертью поручил ему Митю.

Миша Прушанин сейчас в голове обоза. Перебрался с коня на телегу. Холопы устроили ему соломенную постель, покрыли попонами. Выезжали – хлопотал все сам, ночь не спал, а тут вона – сердце зашалило. Да, хвор стал. Старость не в радость! Куды што девалось – и сила и годы, – все прошло, прокатилось. Ноне старуху свою, покойницу, почасту чтой-то стал вспоминать и Новгород снится: то словно Ильмень шумит, то колоколы софийски, то иное что блазнит... Перед смертью, видать. Пото и на родину потянуло!

В Переяславле крепко уселся Миша, вотчина обихожена, лучше не нать! А и там, в Новом Городе, корень не вырван еще. Родовая хоромина на Прусской, прошали продать – не продал, и земли по Шелони... Младшего тудыкова посадить? Захочет ли еще?

На князя Митрия чуток в обиде Миша. Уж больно доволит Гавриле Олексичу. Да все срыву, с маху... Нехорошо. Как обод гнешь: перегнешь – поломашь! А Гаврило еще и подзуживат... В Орду поехал... А и непочто! Самому бы Митрию, батюшке, нать до хана полки доправить, Менгу-Тимуру честь оказать, а там хоть кто... Хоть и мой Терентий мог бы... Не ниже Гаврилы сiju... Ладно, мне-то уж с Богом говорить, пушай как хотят тут... Он вздыхает. Шалит сердце, шалит! То забьется, то онемееет словно. Терентий подсказал:

– Батюшка, возок не подать ле?

Миша помотал головой.

– Не нать! Душно. Так полежу, облегчает... Княгиня как?

– Торопится, по Митрию Лексанычу соскучала!

Терентий улыбнулся, блеснул зубами. Отец поднял бровь, поглядел на сына искоса:

– Жалимая. Ты удоволь ей, Тереша.

– Гляжу, батюшка!

– Удоволь, удоволь!

Старик закрывает глаза. Телегу раскачивает на выбоинах, кони на бегу взмахивают хвостами, отгоняя мух, легкий ветерок задувает в лицо. Боярин задремывает и снова ему блазнит – словно Ильмень шумит вдалеке.

Всю первую половину пути до Дмитрова Федор мало что видел и еще меньше того понимал. Возчики, случалось, окликали его, но он не отвечал, не оборачивался, и его оставляли в покое. Добро, что кони сами шли, не отставая от переднего воза... Порою так становилось, что соскочил бы с телеги, бросил кнут и пешком пошел назад. Пал в ноги ейному отцу и остался. Насовсем, навсегда в деревне. Не нужно никаких Новгородов, лишь бы с нею! Пахать и сеять, и возить сено, и знать, что дома – она, что вечером – она, что в постели – она, каждый день, каждую ночь...

Вчера еще стояли у поскотины, говорили что-то. Нет, говорил он: обещал воротиться, уговаривал. Она молчала, кивала, шептала «воротись», и оба знали, что расстанутся насовсем.

И сейчас Федор смотрел, изредка смагивая, на спину коня, отмечал мерные удары конского хвоста по крупу то справа, то слева, и светлые слезы изредка скатывались у него по щекам. Чего себя обманывать! Не остался бы он, а остался – век бы жалел и стал уже не тот, что раньше. И она огрубела бы, а там – неурядицы, ругань, бедность, мерянская родня, для которой что там Новгород! А брат стал бы жалеть, изредка заезжать, брезгливо оглядывая избу... Брат, гляди, скоро монастырским ключником станет!

Нет, нельзя остаться, а сердце болит, и можно плакать, глядя на хвост коня, абы не видели люди, плакать и мечтать, как он воротится через много-много лет, богатый и старый, а она встретит и не узнает его. И она представляется все такую же молодой, тоненькой... Стоит у околицы, коротконосая, с широким мерянским лицом, с толстыми губами, с сочными губами, с вишневыми теплыми губами, которых ему больше не целовать...

Юность быстро и ранит и лечит. Еще не доехав до Дмитрова, Федор, стыдясь самого себя, почувствовал, как новые впечатления все чаще отвлекают его от горестных дум. Он уже порою словно издали глядел на милый облик, оставшийся там, у околицы. Да и работа не очень-то давала времени для переживаний. Приходилось рубить дрова, распрягать и запрягать лошадей на дневках, водить их к водопою, задавать ячмень, перекладывать кладь. Старые возчики норовили проехаться на молодых, а Федор ни от чего не отказывался. За делами меньше думалось и вспоминалось меньше.

Дмитров Федор миновал еще словно в полусне, но чем ближе подвигались они к новгородскому рубежу, тем чаще задумывался он о том, что ожидало его впереди, и, кстати, о хлопотном поручении брата. Грикша раздобыл ветхую грамотку, удостоверявшую их права на отцову хоромину под Новгородом, и велел, ежели там что сохранилось, попытаться продать ли, выменять, – словом, так или иначе выручить какую ни то мзду. Грикша долго толковал Федору о новых новгородских уложениях, запрещавших низовцам будто бы иметь земли на Новгородчине, и о том, как их можно обойти, но Федор вникал плохо, всецело занятый своими сердечными делами, и только теперь начинал запоздало припоминать братнины советы...

Дни сменяются днями. Острова леса то густеют, то вновь отступают от дороги, освобождая место взору. На рощистях переливаются зеленые хлеба, по голубым овсам, как по воде, пробегают тени. В придорожных деревушках неприметно соломенные кровли все чаще пере-

межаются дерновыми, и на бабах, что выходят из-под ладони поглядеть на обоз, уже иные кокошники, по-иному бегут узоры по нарукавьям, и речь становится тверже. Спросишь: «Кто тут живет?» – «Новгородчи», – скажут в ответ.

Утром над рекою плотный туман. Руку протянешь – не видать пальцев. В тумане гложут звуки, сырость ползет за воротник. Но вот подымается солнце, светлое, неяркое, и туман начинает сваливаться, клубящимися столбами уползает в кусты, тает в воздухе, и все тогда – в сверкающей жемчужной росе. Лес полон птиц, в реке плещет рыба, лоси, почти не таясь, выходят на дорогу.

Ночевали обозники больше в шатрах, в избе в летнюю пору душно. Одолевали комары, сила их на Новгородской земле! Как ни заботливо затыкали вечером рядом у входа, все одно к утру пискунов набивался полон полог.

Медленно, неприметно для глаза, менялся лес. Гуще росла ель. Оляха да осина потеснили дубняк с орешником, травы словно становились ниже в перелесках, гуще рос верес да черничник в борах, и все-таки почти не чувлось разницы: дни за днями, а та же и та же земля!

Несколько раз бродами и паромом переправлялись через реки, и возчики не всегда умели сказать Федору, что за река. Ехали берегом Волги, в этих местах уже очень узкой. Наконец открылось озеро Серегер, с извилистыми красивыми берегами, в островах, на которых лес стоял словно по пояс в воде. Гуще пошли новгородские деревни и села, бойкие торговые рядки, и вот показались Молвотицы: городок из островерхих башен с бревенчатым стоячим частоколом между ними, битком набитый хлебными амбарами, лавками, клетями, кучами разного товару под легкими, крытыми дранью навесами, – весь в деловом кипении людей, что разгружали и нагружали подходившие обозы и караваны речных судов.

Лодьи, посланные Дмитрием из Новгорода, уже ожидали у причалов. Отселе часть обозных возвращалась назад, и Миша Прушанин распорядился нагрузить возы новгородским товаром, чтобы не гонять коней порожняком.

Перегружались два дня, наконец поплыли. Новгородские мужики ловко пихались шестами, обходя мели и перекаты на узкой речке Щеберихе, что впадала в Полу. Там уже все посажались на весла, и Федору пришлось, подзакусывая губу, напрячь все силы. Отставать от бывалых гребцов, да еще перед языкастыми новгородцами, он не хотел. Лодьи летели вниз по стрежню реки, а встречу, по-под берегом проходили – то бечевой, то пихаясь шестами – встречные караваны. Новгородские окликали своих, переговаривались на ходу:

- С Твери аль с Костромы?
- С Переяславля!
- Кого везете?
- Князь Митрия Лексаныча княги-и-ню!
- Мотри, не утопи-и-и!
- Не бои-и-сь! Пойма-а-аем!

«У нас бы так не стали кричать!» – думал Федор. Он уже с нетерпением ожидал, когда покажется ихний хваленый Ильмень, надеясь в душе, что он окажется не больше Клещина-озера.

Но вот берега отступили в последний раз, и за поворотом открылась равнина серой, словно бы нависшей, без конца и края воды. Небо заволокло тучками, и серая рябь с отдельными белыми гребешками стала круто покачивать выбегающие на открытую воду лодьи. Весло то выпрыгивало, лишь задевая за кончики волн, то глубоко погружалось в воду. Прохладный ветер разом остудил горячее тело.

– Сиверко! – сказал кто-то из местных и деловито прикрикнул на Федора: – Ровней, ровней, парень, али впервой на воды?

У кормчего, тоже новгородца, разом острожело лицо. Ветер крепчал, все круче и круче становились волны, порою пенные брызги окатывали гребцов.

– Ильмень дани требоват! – сказал прежний новгородец, проходя бортом.

«Неужели кого бросят в воду?» – смятенно подумал Федор. Но дело оказалось проще. Водянику дали кусочек серебра в хлебном мякише и щепотку соли. Все это кормчий, дождав-шись самой большой волны, с размаху кинул в воду. Часа полтора ждал Федор, выбиваясь из сил в споре с непослушным веслом, когда утихнет расходившийся водяной царь, и уже отча-ивался, но наконец почуял, что волны стали вроде ровней и глуше ударять в борта и ветер ослабел.

– Послухал-таки! – переговаривались мужики. – Оногды и назадъ швырнет! Кому-то так в личе бросил, мало глаза не выбило ему. Уж кормчий зрит, что дело не метно, заворотил лодью, ан туда луда, отколе взялась, их опружило, мало кто и уцелел той поры, и лодью всю в щепу расколотило...

Про себя Федор молился, чтобы все это скорей кончилось. Руки, стертые в кровь, горели и уже едва удерживали весло. К счастью, ветер все больше поворачивал, и вот уже на лодьях по знаку главного кормчего начали подымать паруса. Скоро и у них с тяжелым хлопаньем развер-нули серую толстину, сразу плотно наполнившуюся ветром; лодья резко и сильно накренилась и пошла, оставляя пенный след, ныряя и раскачиваясь, верхним набоем то и дело доставая воды.

Так они шли час за часом, одолевая серую, в пенных струях, сердитую стихию, и Федора то начинало мутить, то вдруг охватывал беспричинный восторг от тяжких ударов в борта, от мощных качаний лодьи, оттого, что Ильмень оказался и вправду великим и грозным, не обма-нув его давешних детских мечтаний.

Солнце низилось и начинал стихать ветер, когда над ухом прокричали:

– Перынь видна!

Федор поднялся, вытягивая шею. На желтом палевом небе четко выделился берег в сос-нах и что-то розовеющее среди красных закатных стволов. Перынь! Он никогда не слышал этого слова, но что-то заставило пересохнуть горло и побледнеть щеки. Перынь! Лодьи, все так же мерно качаясь на волнах, шли друг за другом туда, где меж берегов уже начал обозначаться разрыв, и там, за этим разрывом, устьем Волхова, ожидал его город детской мечты, отцова родина – Господин Великий Новгород.

Приставали под княжеским Городком, сам Новгород начинался дальше, и Федор с зави-стью глядел на смутно очерченные в светлой северной ночи стены, башни, верхи и купола близкого, но пока еще недостижимого чуда. Туда было версты три-четыре на глаз, и он аж тихо был от нетерпения, когда чалились, когда выгружались, когда ужинали в княжой молодечной... Городок состоял из двух каменных церквей, большой и малой, да возвышенных княжеских хором, густо облепленных амбарами, клетями, гридницами, конюшнями, избами... Впрочем, что тут к чему, за ночную порой и усталостью было не рассмотреть. Долгая молодечная изба набилась битком. Ели жадно, почти не разговаривая. За озерный путь все вымотались вконец. Тут же и повалились спать по лавкам и на полу, на охапках соломы. Потушили светцы. Федя лежал на спине, чувствуя, как гудят руки, плечи, ноги, спина и как еще все качается и качается: кажется, даже пол молодечной тихонько покачивается под ним. Он еще подумал, что надо все-таки выйти, поглядеть хоть и в темноте на город, но, подумав так, только перевернулся на бок и уснул.

Второй день тоже был заполнен деловой суетой, и Федор рад был уже, когда удалось пристроиться гребцом на лодью, что шла в Юрьев монастырь. Пока боярин был у настоятеля, Федя сумел сбегать в собор, подивиться его торжественной строгой высоте, и оглядеть кельи, и даже высунуть нос за ограду. Запыхавшись, он подбежал к лодье как раз, когда боярин уже спускался к причалу. Миша Прушанин (это был он) оглядел разругавшегося молодца:

– Впервой, что ли?

– Впервой! – ответил Федор, отзывчиво улыбаясь боярину. Тот подумал, поерзал, усаживаясь:

– Небось город охота поглядеть?

Федор так радостно и так откровенно кивнул, что и боярин и остальные гребцы рассмеялись. Миша ничего не сказал, но когда подъехали к городищенскому причалу и стали вылезать, боярин придержал Федю за плечо и, поискав глазами в толпе на берегу, окликнул:

– Терентий!

– Я, батюшка! – отозвался тот.

– Етого молодца возьми тоже!

И, подтолкнув радостного Федора по направлению к Терентию, Миша неторопливо прошествовал в гору.

Федор готов был плясать. Пришлось, однако, долго ждать, потом грузить лодью, потом снова ждать.

Наконец оба боярина спустились к причалу, и они тронулись. Лодья по течению шла ходко, и Федор, заноса весло, каждый раз бросал мгновенный жадный взгляд на выставивший и близившийся Детинец. У него, как это часто бывало с ним, разделились руки и голова. Руки споро, с юношеской хватистостью делали свое дело, гребли, выгружали, вытягивали лодью, а глаза, широко раскрытые, полные восторга, жадно пили окружающую его красоту и деловитое кипение сказочного города, пили и не могли напиться...

Речными воротами поднялись в Детинец. Два величавых собора, справа и слева, малые церкви, палаты, и люди, люди – какие-то другие, иные, чем у них в Переяславле. Чем иные, он не мог еще понять, но видел, чуял – глядели как-то не так! С мгновенным интересом, но без того, чтобы, раскрыв рты, долго пялиться вослед. И еще подметил он, подходя к храму Софии Новгородской, – и тут-то понял отличие! – горожане одинаково оглядывали и его, с остальными мужиками, и бояр, Мишу с Терентием. Оглядывали, словно уравнивая взглядом. «У нас бы, – подумал он, – глядели на боярина на одного, а холопов при господине и не заметят!» Храм, после владимирских, не поразил высотой, но поразил Федю богатством убранства, и он снова подумал, крестясь и оглядываясь по сторонам на расписные стены, на золотую и серебряную утварь, на иконы, с которых глядели на него мощные и строгие святители: какой же это гордый город!

Ему очень хотелось бы теперь пробежать по мосту на ту сторону, где целый хоровод бело-розовых храмов и муравьиное кипение людей обозначали место великого новгородского торгового двора, но бояре двинулись внутрь города, по Прусской улице, и Федя, только ступив на тесовую новгородскую мостовую и увидав высокие, изукрашенные, в плетеных зверях и травах, расписные и золоченые хоромы, забыл все на свете. Он не знал, что идет по боярской улице, где в каждом доме жил кто-нибудь из великих бояр Софийской стороны, и думал уже, что в таких дворцах живут все без исключения горожане. Впрочем, и обычные посадские дома – с поднятыми на высокий подклет повалушами, с резьбой на воротах и висящими в воздухе галереями, опоясывающими срубы на уровне горнего жилья, – не заставили его разочароваться. Боярин, после того как мешки и кули перегрузили из лодьи на телеги, отвезли, сгрузили и сносили в терем, позволил Феде погулять по Новгороду. Федор того только и ждал. Он бегом отправился к Великому мосту, все время проверяясь по софийским, видным по-над кровлями, куполам. Он шел и дивился. На Великом мосту он застыл на самой середине, следя, как осторожно снуют по запруженной судами реке лодьи и учаны, как уходят вниз по течению реки застроенные, в горах леса и товаров берега, впитывал в себя островерхие кровли, башни, ограды, ворота, купола, сады... Мимо него шли и ехали, чаще шли. Тут и богато одетые люди ходили пешком. На ногах у них были легкие кожаные поршни из цветных кож – да и не диво! «По тесу, не по грязи ходить!» – подумал Федор. По необычным коротким одеждам и круглым, свисающим набок шапочкам он догадывался, что тот вон, и тот, и эти – заморские гости; и их обилие, и

то, как свободно они ходят, не привлекая ничьего внимания, тоже удивляло Федора. У нас бы уж малыцы следом побежали за таким-то! Он двинулся дальше, через мост, и, разом утонув в стеснившей его толпе, стал подвигаться к торгу.

Торг оглушил и ослепил. Кругом кричали, торговались, зазывали, смеялись, ссорились. Федя уже ничего не понимал и не видел толком. У него, как в детстве, закружилась голова. Его толкали, он не обижался, не замечал порой и все шел куда-то. В глаза бросались то горы воска, то многообразные ткани и целые поставы иноземных сукон, то груды точеной, резной, поливной и кованой посуды... Он сам не знал, как его занесло в железный ряд, где узорчатые новгородские замки наполнили его всего восторженной завистью. Ему о сю пору мало что приходилось запирасть, и замки были ему совершенно не нужны, но бог ты мой! Тут тебе и русалки с рогом, и змеи какие-то, и скоморохи – руки кренделем, тут и махонькие золоченые замочки, и огромные, что, почитай, и не подымешь одною рукой... А какие ключики к ним! А какие ларцы, с какою узорною оковкой! Федор переходил от замка к замку, не чуя, что его пихают, не понимая, что мешает продавцам и покупателям. Трогал, трепетно брал в руки. Не сразу понял, что его уже несколько раз окликнули. Подняв ослепленные сияющие глаза, увидел за прилавком такого же, как он, молодого парня, в соломенных, золотистых кудрях, бело-румяного, с лукаво-озорным усмешливым взглядом.

– Ай не слышишь? – спрашивал тот, весело-любопытно оглядывая Федора. – Купляй!

Федор улыбнулся, широко и застенчиво, развел руками:

– Не на что!

Парень усмехнулся:

– Отколь сам-то?

Федя, заалевшись, ответил.

– Далече! – присвистнул купец. – Цего ж ты с Низу приехал, а никоторого товару не привез? Ты бы оттоль цего ни то взял, а здесь торганул, глядь, и какую гривну скопил! Видать, что не тверской! Звать-то как?

– Федюхой.

– Федором, значит. Ну а меня Онфим! Да ты тут стань, за прилавок, вон сюда, чать не украдешь!

Парень при этом заговорщицки подмигнул Федору, как свой своему, и Федя, которому парень и сразу показался приятен, тут же влюбился в новгородца окончательно.

Тот отпускал товар, шутил, рассыпая частоговорки, окликал покупателей, спорил с кем-то, принимал серебро и шкурки белок и в то же время успевал расспрашивать Федора: кто он, каких родителей, почему и как приехал к Господину Нову Городу, – и скоро знал о Федоре, почитай, все.

– Ну-ко, раз грамотный – пиши тут! – приказал он Федору, подвигая ему вощаницы и писало, и Федя, с замиранием сердца приняв то и другое, стал записывать то, что приказывал ему Онфим: название товара и цену. Онфим заглядывал через плечо на Федины старательные, прямо поставленные буквы и, убедясь наконец, что переяславец не сбивается, уже только бросал ему:

– Воротный! Две ногаты с белкой! На ларец два! Четыре куны пиши!

Первый раз, кажется, Федя увидел прямую нужду от своей грамотности. Он взмок от усердия, излишне сильно надавливал на писало, иногда царапая доску, но писал и писал, изредка вспоминая свое учение и подзатыльники брата. Тут бы стоять, дак и подгонять не нать было, у их, видать, без грамоты не проживешь!

– Ты хоть знаешь ли про дом-от отцов, цел ли, нет? – спрашивал меж тем Онфим, отпуская очередного покупателя. – Може, там от дома вашего одне головешки!

Перемолчали.

– Ну, ладно, парень, – сказал он наконец. – Складывай вощаницы, и пошли!

– Куда?

– Как куда? Поснидашь с нами, как-никак заработал! С батей перемолвишь, може, и насоветует что!

Он быстро собрал мелкий товар в коробью, засунул вошаницы и выручку в торбу, перемолвил с каким-то мужиком, заступившим его место, и легонько подпихнул Федора, который от смущения приодержался было.

– Вали!

Они выбрались из толкучки торга. Пока выбирались, Онфима несколько раз окликали и раза два даже называли Олексичем. «Словно жениха на свадьбе!» – подумал Федя. Впрочем, начав привыкать к местной речи, он уже уловил, что здесь у всех в обычае уважительно именовать друг друга, а не так, как у них на Низу: Федюхами да Маньками. Это тоже отличало Господин Великий Новгород.

Пришли. Отворились резные ворота.

– Наш двор знают! – похвастал Онфим. – Спроси на Рогатице дом Олексы Творимирича, тут тебе всяк укажет! Батько мой.

Федор, глядя на высокие хоромы, только ахнул. Вот живут! Поди, и топят по-белому, чисто боярский двор!

– Вот, батя, гостя привел! Не обессудь! – представил его Онфим.

– Здравствуй, молодец!

Отец Онфима был невысокий, грузноватый, с сильной сединой и лысиной в редких кудрях, с отеками под глазами, но все еще быстрым взглядом. И когда уселись и Федор посмотрел на Онфима рядом с батькой, то понял, что Олекса Творимирич был в молодости таков же, как сын, – ясноглаз и кудряв. Матка Онфима, грузная, с двойным подбородком, несколько недовольно оглядела Федора, и он невольно поежился.

– Не купечь?

– Не! С обозом я.

– Тверской?

– Переяславской.

– Егто?..

– Князь Митрию княгиню привезли. Давеча на Ильмене покачало, баяли.

Матка Онфима сама села за стол. Его бы мать сейчас подавала. И тут у них по-иному. «Девку держат!» – догадался он.

Ели уху, хозяин угощал:

– Стерляди нашей отведай-ка! Батько-то кто будет?

– Батько убит у его, – подсказал Онфим, – под Раковором.

Олекса Творимирич оживился, глаза блеснули молодо:

– С князем Митрием, говоришь? Я ить тоже! Вот оно, как бывает!

– Батя на той рати мало не погиб! – с гордостью пояснил Онфим. – Его из самой сечи вытащили!

Олекса Творимирич принялся вспоминать, расчувствовался даже. Федор во все глаза глядел на человека, который дрался там же, вместе с отцом, быть может, даже говорил с ним или был рядом в бою. Даже Олексиха, хоть и глядела сурово, положила молча ему новый кусок в тарель.

– Дак как, гришь, батьку звали твою? Михалко, Михалко...

– С Олександром ушел, дак ты вспомнишь ле! – подала голос матка Онфима.

Когда уже подали горячий сбитель, Онфим, покраснев, поведал:

– Вот, батя, дело у гостя. У батьки-то у егово хоромина была на Веряже... Дак как ни то ему подмогнуть в ентом дели...

– Грамотка есь! – поспешил пояснить Федор.

– Дак не дите ить! – пожала плечми Олексиха. – Сам пушай и сходит к подвойскому!
– Ты, мать, не зазри, – мягко остановил Олекса. – Человек молодой, истеряется тута, с нашими-то приставами да позовницами...

– Дак я сам, конечно... – начал было Федор.

– Сам-то сам, а все погодь, парень, – возразил Олекса Творимирич. – Покажи грамотку ту! – Отставив от лица подальше и шурясь, он разбирал грамотку, покивал головой. – Ето мы обмозгуем. Вот цего, Онфим! Тута Позвизда нать!

– Вота уж и Позвизда Лукича мешать, тыффу! – снова вмешалась matka. – Потолкуй с Якуном!

– Ладно, молодець. Приходи завтра, сделам! Мы с твоим батькой тезки.

Федя ушел окрыленный.

– Будешь всякому шестнику помогать! – не вытерпела Олексиха по уходе Федора.

– Не говори, мать. Где ни то придет еще встретитьце. Все православные люди!

– То-то, православные! Кабы ратитьце с има не пришлось! Цего Дмитрий рать собирает?!

На корелу?

– Корела нонь к свеям откатнулась, ее не грех и проучить.

– Ну и учили бы сами! Ярославу не дали, дак Митрию топерича...

Глава 37

В ближайшие дни Федору пришлось помотаться. От работы его никто не освобождал, и вырываться для своих дел приходилось чуть не украдом. Наученный новыми знакомыми, он, однако, успел побывать в вечевой избе, вызнал и то, что отцов дом цел и что живет в нем какой-то Иванко Гюргич; упросив своего боярина, успел поговорить о доме и с княжьим тиуном, заручился у него еще одной грамотой и наконец воскресным днем, одолжив, все по той же боярской милости, коня, с некоторым замиранием сердца выехал в дорогу.

Он доскакал от Городца до Новгорода и Рогатицкими воротами проехал через весь город, мимо торго, Ивана-на-Опоках, Ярославова дворища с храмом Николы, переехал мост и, обогнув Детинец, поднялся на гору. Тут он уже начал спрашивать и дальше так и ехал, по словице, что язык до Киева доведет.

Дорога вилась вдоль речки, ныряла в перелески, наконец с пригорка открылось селение. Серые крыши, крытые тесом и дранью, казалось, тускло отсвечивали, как вода в пасмурный день или старое серебро. Федор проехал селом, не решаясь спросить, наконец остановился у одной изгороды.

– Иванко Гюргич? А вот еговый дом! Родственник али кто? Не узнать словно?

– Дело к ему...

– А... Дома, кажись!

Федор спешился, привязал коня. Он еще медлил, оглядывая большой, на подклете, красно-коричневый дом. Как-то в голове не уместилось, что это вот и есть отцова хоромина. Их дом в Переяславле выглядел куда скромнее. Хозяин сам вышел на крыльцо.

– К кому, молодець?

– Иванко Гюргич?

– Я буду.

– Грамота у меня... – Федор запнулся и покраснел. – На дом грамота. Мово батьки дом-от!

Новгородец глядел на него, соображая, и покачивался с пятки на носок. Федору показалось, что он сейчас оборотится и уйдет, хлопнув дверь.

– Дак вот! – сказал он, постаравшись придать строгость голосу. – Вхожу во владение!

Новгородец поглядел по сторонам, уставился на коня, снова оглядел Федора.

– Цего-то не понимаю, парень! Покаж грамоту ту!

Он долго читал и перечитывал и все не выпускал грамоты, и Федору опять показалось, что он раздумывает, как спровадить Федора, оставя грамоту у себя. Наконец спросил:

– Дак умер, Михалко-то?

– Батя умер.

– Дак чего тебе-то нать?

Федор наконец озлился. Решительно вырвав грамоту из рук новгородца, он возвысил голос:

– Чего нать? Свой дом получить! Али позовников покликать?

Новгородец, поняв наконец, что ему от Федора просто не отделаться, зазвал его внутрь. Женка оборотилась, разглядывая Федора.

– Цто за таков молодець?

– Да вот, выгнать нас с тобою хочет! Не знать уж, кто и такой.

– А ты его самого выгони! – с угрозою взяв руки в боки, посоветовала женка.

– Ты вот что! – с расстановкой произнес Федор. – Грамоту чел? Я в дружине князь Митрия. Будешь тута чудить, приеду с боярином со своим, он меня послушат, да с тиуном. Тебя укоротят враз. Етова хошь?

– У, такой-сякой! Счас иди! И вон из моего дому! – начала было женка, но новгородец остановил ее:

– Ты поди-ка, поди. Мы тут сами разберем!

Она вышла, хлопнув с размаху дверью.

– Мужиков созвать да выкинуть его и из села! – проговорила она, уходя.

Стали рядиться. Новгородец упирал на то, что земля, по закону, «новогорочка» и никому из низовцев принадлежать не может. Тогда Федор, смотря в колючие глаза хозяина, возразил:

– Пушай. Землю бери, а дом не твой, дом отцов, вота. Дом очищай счас, и все!

Новгородец с усмешкой возразил было:

– А цего тоби хоромы без земли?

– Чего, чего! – взорвался Федор. – В дружину наместничу перехожу, тута буду жить!

Новгородец сбавил спеси, глаза забежали.

– Бери отступного...

– Очищай!

– Слушай...

– И слушать не хочу!

– Запалят тя и с домом!

– И деревню спалят как раз, – спокойно возразил Федор.

– Цего просишь? – сдался новгородец.

– За дом?

Торговались долго. В конце концов новгородец предложил коня с приплатой. Выходили, глядели коня. Задирали храп, смотрели зубы, шупали бабки. Конь был хорош.

– Добрый конь! – говорил новгородец, и по сожалению в колючих глазах яснее, чем по стати, виделось: да, добрый. Наконец сошлись на коне с пополнкой в пять ногат. За такой терем это было даром. Но Федор знал, что иначе совсем бросит и не возьмет ничего.

Захотелось еще что-то добыть от отца. Спросясь, полез в клеть, соединенную тут с избой под одну кровлю. Долго рылся в старой рухляди, что свалили тут, очищая жило для нового хозяина. Что поценнее уже, видно, давно выбрали. Волочились какие-то тряпки, ломаная деревянная и лубяная утварь... Все было не то. Вот проблеснуло что-то. Но оказалось – просто ломаный стеклянный браслет, тоже не то... Федор отчаялся было, как новгородец, уже долго молчавший у него за спиной, подал голос:

– Солоница есть. Не твой ли батянка резал?

Захотелось верить, что, верно, отцова. Подобрал еще крохотную медную иконку, всю покрытую сажей и зеленью. Верно, тоже была в отцовом доме, сунул в калиту – потом отчистить. Все, кажись! Новгородец помягчел, видно, тоже что-то переломилось. То было отобранное, стало купленное. Зазвал выпить пива на дорогу. Женка взошла, шумно дыша, молча налила чары и снова вышла, пристукнув дверью.

– Как там у вас, на Низу? Татары сильно зорят? – спрашивал новгородец. Федор отвечал односложно. Он еще не понимал, что дела торговые надо отделять от обиходных, и продолжал дуться.

Дверь опять отворилась, и в жило вошла старуха, еще крепкая на вид, осанистая, с крупным мускуловатым лицом.

– Поведай, Гюргич, каков таков молодець?

Она пытливо разглядывала Федора, уселась:

– Михалкин сынок? Молодший? Как кличут-то? Федей? Знала батьку твоего... – Она помолчала, спросила: – Ну, Гюргич, продал дом-то?

– Продал, – со вздохом ответил хозяин, – на коня сменял.

– Ну и дешево обошлось, и не журишь! – сказала старуха. – Зато теперича во своем будешь! Я ить толковала тебе, кто ни то ешь у Михалки родных!

– Вот, искал, нет ли цего от отца! – отозвался хозяин. – Говорю, у тебя, Макариха, нету ли?

– Ужо погляну! Ты заходи, молодець, в мою хоромину! – позвала старуха. – Третья отсе-лева! – Она поднялась, вышла.

Федор кончил с хозяином. Передали повод из полы в полу. Звали послухов, при них Федор отдал грамоту. Снова пили пиво. Иванку поздравляли с покупкой, Федора оглядывали уже без вражды, с интересом. Хлопали по плечу:

– Наш по батьке-то!

Старуха не ушла, ждала его на улице. Он завел коней за огорожу покосившегося дома, опять с некоторым страхом, уже понимая по значительным ухмылкам мужиков, что это, верно, и есть та «сударка», о которой с раздражением говорила мать. Он даже хотел и не заходить, но любопытство пересилило. В горницу ступили, пригнувшись. Дом сильно просел, и пол покосился весь в сторону печи.

– Посиди, молодець! – велела старуха. Достала меду, поставила на стол. Федор не знал, о чем говорить, да и старуха не столько спрашивала, сколько глядела на него.

– В матерь, видно, пошел! – заключила она. – А руки отцовы, таки же вот, и персты еговы, и долонь...

Федор не знал, что ответить. Поворотясь к коробье, стоя спиной к нему, она спросила глухо:

– Помнишь батьку-то?

Порывшись, достала серебряный перстень с темным камнем.

– Вот! Память мне была от батьки твоего. Да уж в домовину не унести... Возьми!

Отец, судя по этому перстню и по тому, что дома лежала дорогая отцова бронь, явно знал когда-то лучшие времена. Верно, еще до них, до их рождения... Федор, несколько враждебный до сей поры к старухе (поминая отцовы свары и слезы матери), тут вдруг понял, почуял, как тяжело ей теперь: одинокая пустая изба – бобылка, должно; ему вдруг стало горько и на миг показалась близкой эта чужая старая женщина. Он даже застыдился своей молодости, силы, того, что у него еще было все впереди, а тут все уже позади, в прошлом, все уже безвозвратно прошло и прожито. Он уже с неохотой принял дорогой перстень, раздумывая, не вернуть ли. Все же для нее – последняя память.

– Прими, прими! – угадав его колебания, сказала старуха. Голос у нее пресекся, и Федя уже со страхом сожидал, не увидать бы слез. Но она справила с собой и сама поторопила Федора:

– Езжай, время не раннее!

– Прощайте!

– Прощай... – Она помедлила, назвать ли его именем, но не назвала. – Прощай, молодец!

Новый конь, насторожив уши, тихо проржал, было попытлся идти назад, всхрапнул, натянув повод, но Федор не шутя рассердился, пристрожил, и конь покорился новому хозяину.

Дивно было: был дом, стал конь. С пригорья, привстав на стремянах, он оглянулся, искав глазами тесовую кровлю, почти неразличимую среди прочих. Знал, что уже сюда не воротится никогда.

На Городце коня переглядели все ратники.

– Ну, Федька, теперича ты воин! – заключил старшой. Федор как-то не вдруг понял, что собственный конь меняет его положение. Только когда его вызвал боярин и, тоже оглядев и одоббив коня, велел скакать гонцом во Владимир, он сообразил великую истину того, о чем постоянно говорили ратные: по справе и служба.

И вот он сидит, прощаясь напоследок, в хоромаш у своих новгородских друзей. Конь осмотрен и одобрен. Федора заставляют рассказать, как было дело. Он рассказывает, гордясь и маленько стыдясь, что продешевил.

– Городецкие пеняли, что земли отступился!

– Ну, ето как бы тебе сказать! – возражает Олекса Творимирич. – Цего тамо бают на Городце, слушать не нать! Был бы ты наш, новгородской – иное дело. А об етом у нас уж и в совети решали, чтобы низовцам, значит, новгородской земли не имать! Чтобы уж коли твое, дак оно твое!

Мы уехали в голод, воротились: пепелище. А свое место-то! Никто тут не позарилсе. Теперь подумай: я ворочусь, а тут ну хоть и ты построилсе. Хорошо ли то? Всем равные права, дак почто ж тогда Господин Великий Новгород?! А так, позови – встанем! Есь что защищать!

...Дак и с вами! Ордынский выход платим? Платим! Черный бор по времени даем князю. Ну уж, а покойный князь Ярослав цего надумал – гостя торгового выводить от нас! Не гневай, а етого и твоему князю Митрию не позволим!

Ну а ты, ето верно... Твой батька лег под Раковором... Как ни то надо сообща... А только, чтобы земля была Князева, как у вас, на Низу, ето не дело, нет, не дело! Князь какого ни то иноземца посадит мне на шею. А что удержит? Скажет: тот лучше дело знат! Немчин какой – скажут, порядка поболее; фрязин – сукна навезет, жидовин – этот похитрей меня, да и кланяться князю сумеет, как я не могу; бесермен-персиянец богаче окажет, шелка навезет... А хоть бы и из своих! Тверич князю Ярославу хоть – свой ему, ну а Митрию – переяславцы свои. А я при чем? Князево дело быстро сполнено. Ты сиди, Олекса, вразнос селедками торгуй Христа ради. Альбо по деревням полотно для того же жидовина купляй. Ну а меня уж, когды под Раковор кровь проливать, разве попросят, тогда поклонятце: Олекса, мол, Творимирич, не выдай! Своей родимой стороны... Господь тебе воздаст! На том свети. С присными одесную себя посадит близ престола вышняго. Так-то вот!

А за что тогда кровь-то лить? Озришься – ропаты немецки настроят, каки ни то свои и дома, и одежда ихние; не пройди, не ступи: невежа, скажут, неумыта рожа! На могилу земли дадут ли еще! Разве два локтя пожалуют, родимой-то, кровью моей политой... Вот так-то, всем одинако ежели! Вот те и равные права! Тута мне Новгород защита, а там... И кого тогда ты будешь защищать? Етого бесермена своею головой? Вот тебе и государсьво!.. Да хоть и из своих... Были тут всякие! Свой-то подлец еще хуже. Чужого видать, а етот, как тяжко ему – «я с вами!». За твоей спиной отсидеться. Как доходы делить – «я впереди!». А как беда обчая – «мне су и дела нет!». Землю продаст, серебро с собою, и укатил в иное княжесьво. Нет, ты

тута живи, тута и обиходи! Уж коли у боярина земли по Шелони, да ворог подступит, дак я ему доверю, пушай рать ведет! Свое оборонит зубами! Как и мне, Новгорода ся лишить – куды я денусь? Вот терем – я сам рубил! Сруби дом, заведи с ничего. С двуста белки да с десяти пудов железа с отцом дело начинали! Вот! Глянь! А ты – обчие права...

Федя, весь заалевшись, решился-таки высказать, что власть должна быть обчей, но по любви...

– Дак вот тута и полюби! – вздохнул Олекса. – По любви ты должен бы дом-от Иванке Гюргичу подарить... По любви опеть выиграт тот, кто хуже. Ты его полюбишь, он тебя обдерет да сам и надсмеется.

– А Христос?

– Христос всякого имущества отвергся, а мы грешники. Ему на земле было как на небе.

Федор много хотел бы сказать, да не решился, он понимал, что новгородцы по-своему правы, но и то не давало ему покоя, как же тогда всем-то, соборно, вместе?! Что князь может быть несправедлив к своим людям и почитать иноземцев, это ему и вообще как-то раньше не приходило в голову... Может, и я, как тверич, своего князя защищаю? – думал он. – Ну кабы не Митрий Саныч великим князем, а кто другой?! Решить всего этого, впрочем, он не мог и потому молчал. Спор наконец утих сам собой.

На прощанье Олекса достал плат:

– Вот, молодець, може свидимся, може нет, а...

– Девке подаришь! – усмехнулась хозяйка.

– Ладно, – возразил Олекса Творимирич строго, – девкам ищо надарится, матери отвези!

И по тому, как дрогнул вдруг у него голос, Федя понял, что этот старый купец очень любил свою мать, продолжает помнить и теперь и, может, даже и его, Федю, дарит ради той, покойной. Прощаясь, он поклонился в пояс хозяину и хозяйке, сердечно расцеловался с Онфимом. И – в путь. Прощай, Господин Великий Новгород!

И еще одна непрошенная мысль холодом обжигает его, когда он, уже выехав за Рогатицкие ворота по направлению к Городцу, оборачивается и озирает уходящий в закат город, – мысль о том, что ежели Дмитрий, как прежде князь Ярослав, поссорится с Новгородом, то ему, Федору, придется стоять на борони против Онфима, и мысль эта так непереносна, что Федор старается не додумывать ее до конца...

Глава 38

Великий князь Дмитрий недолго предавался семейным радостям. Встретя княгиню с детьми и перебив с нею лишь два дня, он поскакал в Плесков, ко князю Довмонту. Воротясь оттуда накоротко, ускакал в Ладогу, где пробыл полторы недели. Причем с утра до вечера он был то с новгородскими боярами и посадниками, то со своими приближенными, то с теми и другими вместе. Рассылал гонцов, распоряжался, принимал свейских, немецких и датских послов. Когда добирался до изложницы, то мгновенно сваливался в сон. Вся нарастившая, неистомная ярость прошлых лет, когда он сидел у себя, в Переяславле, и ждал, ждал, ждал, изводясь, сейчас бурно рвалась наружу. Поход на корелу уже был решен. Уряживались купеческие и кончанские споры, а меж тем гонцы уже скакали на Низ, и владимирские и переяславские бояре готовили оружие и рати. Он одолевал себя, зная, что дать волю раздражению – уподобиться дяде Ярославу. В нем росла мысль, о которой он пока боялся сказать кому бы то ни было. Но порою, просыпаясь, избавленный от обожающих, сковывающих его взглядов жены, он лежал недвижно, расширенными глазами глядя в темноту, и думал. И темнота пахла морем, солоноватой необозримой громадой воды. Ладога? Нет! Ближе! И свое! Да, так, именно так немцы умели думать и не зря выбрали тогда Копорье – при отце. И не зря отец прежде всего выбил их оттоль. Дмитрий уже не пораз осматривал место, Крутосклон, самой природою

предназначенный для почти неприступной крепости. Под крепостью – торг, и Свейское тяжелое море, Балтийское море, под боком. Вот оно! А там – корабли, корабли, серебро щедрой рекой. Север, серебро и свобода! Быть может, та же свея, что сейчас ладит ратиться с ним, станет у него на службе или закованные в сталь немцы, также жадные до серебра, – бросить их туда, на татар... (Об этом не надо думать. Рано! Быть может, еще придется позвать татар на них, дабы обуздать орденских рыцарей.) Но все равно: открытые ворота, торговля, пути... Где-то там страны, которые не дают ордынского выхода! Седая старина, наемные варяги Ярослава Мудрого, с коими тот добыл себе киевский стол, холодные тяжелые ветра Балтики...

Солью и ветром пахнул воздух в ночной темноте, с терема сносило кровлю, и влажный поток врывался в изложницу. Когда-то лежал он так, безо сна, там, в Переяславле, и мучился от бессилия. Теперь... О, только опереться на море, пробить окно соленому ветру западных стран! Тогда не надо будет требовать с них печорской дани и черного бора, рискуя лишиться стола, тогда... Уже тогда и сами дадут. В ноги поклонятся ему!

Знает ли он, как велика и невозможна его мечта? Сколь долгие века пройдут, прежде чем совсем другие люди сумеют ее осуществить, построив град, и уже не в Копорье, а дальше, на топких берегах неевского устья? Чует ли он безмерность грядущих путей?

Ветер, шальной и соленый, проходит над кровлей. Тяжелые сизые волны бегут и дробятся во тьме. Воля, ветер и власть!

Глава 39

Дорога бежит из ворот Переяславля, плавно подымаясь на угорье, мимо слобод и монастырей, селами и пашнями, лугами и бором, и через Дмитров, сквозь чащи, болота и дебри верхней Клязьмы убегает на юг, к маленькому городку Москве.

Кони ждут у крыльца, нетерпеливо встряхивают гривами. Данил Лексаныч, молодой князь московский, прощается с государыней-матерью, с княжым теремом, со старухой нянькою, с дворней, с родимым Переяславлем.

Тоненький большеглазый десятилетний мальчик, с волосами светлыми, как неспелая рожь, с задумчивым и печальным взглядом, в белой полотняной рубашке стоит на крыльце. Мальчик провожает дядю Данила, и ему грустно. Данил выходит на крыльцо и подымает племянника на руки.

– Ну что, Ваня, будешь меня помнить?

Мальчик без улыбки кивает в ответ и тихонько отвечает:

– Буду.

Данил прижимает его к себе, гладит по светлым шелковым волосам. Племянник Иван Дмитрич обнимает его за шею, хочет попросить: «Не уезжай!» Но ничего не говорит, знает, что ехать надо. Данил ставит Ваню на крыльцо, ерошит ему волосы: «Не грусти!» Улыбается.

Данил сегодня улыбается с утра, хочет сдержаться и не может, алые губы сами раздвигаются мальчишечьей счастливой улыбкой. Он с вечера сам проверил возы, что укладывали под надзором боярина Федора Юрьича, оружие и рухлядь, запас на первые дни и всякий хозяйственный снаряд. Не потому проверил, что не доверял Федору Юрьичу, а потому, что хотелось (впервые!) почувствовать себя наконец хозяином. Припас был свой, и оружие, и снаряд, и все тут было свое теперь. С этим начинать хозяйство там, в Москве, про которую он и посейчас знал лишь только, что «лови там хорошие». И для ловлей тоже приготовлен припас: силки, капканы, сети, охотничьи стрелы, рогатины.

В особом ларце, в княжеском возке, сокровища. Не бог весть и какие: каменный ларец, как говорят, цесаря Августа, серебряные кубки, кольца, несколько серебряных поясков, один с камением, изукрашен, да золотая иконка, да крестик... Немного, да опять же свои. И дорогие одежды в коробыи тоже свои. Голубого шелка зипун с разрезными рукавами, бобровая

шубка, бархатный опашень, несколько шелковых рубах, парчовый долгий сарафан для выходов да шапка, шитая серебром, с камнями и с соболиной опушкой. В ней он будет сидеть в думе, принимать послов... Будут теперь и послы! В ней – править суд. И суд теперь будет он править, как полагается князю.

Кони нетерпеливо перебирают копытами. Мать-государыня выходит на крыльцо. Молодые бояре князя московского садятся в седла. Данил нарочито неторопливо, покачивая плечами, сходит по ступеням крыльца. Он весь угловатый, еще нескладный, как молодой породистый пес, и немножко смешно, когда он так вот изображает взрослого. Его большой нос на худом лице, худая шея, и эти никак не складывающиеся, сами улыбающиеся алые губы, и голос, низкий, но с невольными еще звонкими срывами – все упрямо свидетельствует, что владельцу хозяину московского удела еще только шестнадцать лет.

Государыня-мать, рыхлая, широкая, уж очень старая, смотрит на него с крыльца. «Женить нать! – думает она, пока улыбающийся сын садится в седло и машет ей рукою. – Невеста, дочь муромского князя, уже почти присмотрена. Говорят, красивая. Надо самой поглядеть». Данил отъезжает. Кони, картинно ступая, пересекают Красную площадь. Позади остаются княжеские хоромы, белокаменный собор, шумный торг, слободские низкие домики...

Дмитров, где Данилу с дружиной чествовали в княжеском терему, остался позади. Едут лесом. Белки взлетают по стволам прямо перед мордами коней. Лоси лениво отбегают с дороги. Все в пятнах и кружеве солнечного света. Тут уже все свое: и лес, и белки, и солнце, и медовый дух цветущего вереска, и незабудки – брызги небесной голубизны – тоже свои. Первая рощище, первая деревня... Жарко. Пахнет разогретой смолой. Тонким дурманящим духом болиголова тянет с болот. Открываются поляны в белой кипени или в солнечно-желтом разливе цветов...

Ближе к Москве деревни пошли гуще. Мужики настороженно глядели вслед верхоконной дружине, гадая, к худу или добру приезд незнакомых, судя по платью, боярчат.

Данила торопился. Обоз давно уже остался позади. На переправе через Клязьму их наконец встретили несколько московских бояр со слугами и дарами. Дары были бедноваты, и бояре смотрели скорее с любопытством, чем почтительно. С коней они не слезли. Старший из встречных бояринов ошибкой обратился было к ключнику, осанистому и видному собою Кочеве, приняв его за князя. Данил был одет как все, в простом платье. Протасий, заглядывая сбоку в напряженное, с сомкнутыми губами и двигающимся кадыком лицо Данилы, хотел было вмешаться, но Данил чуть повел головой, запрещая, и, дав боярину произнести уже первые слова приветствия, сказал резко, чуточку побледнев:

– Князь я.

Боярин огляделся и по смущению ключника, по напряженным лицам остальной дружины уразумел что-то, а внимательнее взглядевшись в закипающие гневом глаза молодого голенастого парня в холщовой распахнутой летней чуге, вдруг понял и начал торопливо слезать с коня. Спешились и остальные. Данил, двигая кадыком, продолжал молчать, скорее тоже от растерянности. Он совсем не представлял, что его так оскорбительно могут встретить. Но это и оказалось лучше всего. Молчал он, молчала, натягивая поводья, дружина, молчал Протасий, решительно сжимая в кулаке тяжелую плетть, и спешившиеся москвичи, пересаливая в другую сторону, повалились в ноги. Скоро подскочил великокняжеский наместник, знавший Данилу в лицо, и тоже спешился с многословными извинениями: не ожидали князя-батюшку так скоро... Данил едва взглянул на дары, кивнул Протасию:

– Прими! – Обратившись к наместнику, спросил отрывисто: – Когда будет встреча?

Тот, переглянувшись с местными боярами и проводив глазами принятые и непринятые дары, уразумел в свою очередь и заверил, что торжественная встреча назначена на утро, а сейчас его только хотят проводить до ночлега и просят принять хлеб-соль. Данил глядел на него и через него и не шевелился. Протасий, двинувшийся было вперед, молча натянув поводья,

вспятил коня. И опять Данил угадал правильно. Это была еще одна невежливость: подносить хлеб-соль прежде торжественной встречи не полагалось. Москвичи, воспрянувшие было при словах наместника, чуя затянувшееся молчание, опять запереглядывались. Данил, так и не ответив наместнику, повернулся к Протасию, дернул головой вбок:

– Пошли кого ни то!

Протасий решительно направил коня на бояр с хлебом-солью, и те торопливо стали заворачивать развернутое полотенце и садиться на коней. Скоро весь встречный отряд во главе с наместником и с людьми Данилы в опор ускакал вперед.

Данил ехал рядом с Протасием, который, напрягая мышцы, удерживал коня так, чтобы быть и рядом и на пол конской морды позади князя. Данил долго молчал, забыв свою давешнюю улыбку, которая всю дорогу не сходила у него с лица, потом сказал сквозь зубы, срывающимся голосом, глядя прямо перед собой:

– Они что, и здесь меня будут дразнить московским князем?!

Протасий, невольно улыбнувшись, вовремя прикусил губу...

Торжественно встречали их на другое утро. Данила, уже пересердившись, словно бы и не помнил вчерашнего. К тому же чин был полностью соблюден, дары (видно, что наспех собранные) обильны, московские бояре почтительны. Он опять не захотел ждать обоза, помчался – теперь уже с сильно увеличившейся дружиной – вперед. К Москве подъезжали засветло. Ехали долиной речки Неглинки, уже густо распаханной, мимо череды изб и кое-где владельческих хором, изредка прерывающихся островками смешанного леса. На вырубках еще подымался густой веселый березняк, а уже под самым городом и он расступился, и открылась потемневшая бревенчатая крепостца на горе. «Вроде Клещина!» – отметил про себя Данила, умеряя ход лошади. Негустая толпа горожан выстроилась для встречи, тоже с хлебом-солью, которые поднес большой сивобородый дед. Данил, принимая хлеб, улыбнулся и сказал:

– Спасибо, дедушко!

Как-то само прорвалось, не подумал, от мальчишеских лет, а вышло опять хорошо. В толпе заулыбались, закивали князю.

Внутри крепостцы было десятка четыре хором, простых и боярских, рубленая церковка, торговый и ордынский дворы. Для князя приготовили хоромы, но Данила даже и при беглом взгляде на все увидел ветхость и запустение. И запустение было обидным, больше всего в небрежении гляделись боевая городня и княжой двор, словно бы уже и забыли про князей в этой лесной вятичской стороне!

После благодарственного молебна в церкви, после вечерней трапезы с дружиной и с местными боярами, уже оставшись один в изложнице, Данил как-то вдруг упал духом и затосковал. Он полежал, беспокойно пошевеливая плечами, потом встал, натянул сапоги, накинул на плечи зипун и вышел из покоя на галерейку. Ратник, что стоял на стороже, пошевелился, спросил почтительно:

– Не спится на новом, Данил Лексаныч?

– Да... – бегло улыбнувшись, отмолвил он, отходя к дальнему концу галерейки. Ратник, помявшись, задвинулся за угол, чтобы не мешать.

Данил остановился, вдыхая речной влажный воздух. Река светилась под горою, внизу. Редко розовели крохотные оконца хором. На кострах невысокой городни трепетали, потрескивая, факелы сторожи. Смутный шум то доносился, то таял. Чьи-то шаги хрустели внизу, да голос текущей воды непрестанно доносился из-под горы. Здесь было даже тише, чем на Клещине ночью порой, и Данилку совсем охватила грусть. Нет, он, конечно, и не ждал кирпичных палат или узорчатых белокаменных храмов! А только чего-то все же хотелось другого, более сказочного, что ли... Он стоял, кусая губы, вдыхал ночной прохладный воздух, и все не приходило желанное, жданное всю дорогу чувство, что это свое, родное, кровное, наконец.

Было – что чужое, незнакомое, даже враждебное. И дом был разрушен: не здесь и уже не там, откуда он уехал и где был дом тоже не его, а старшего брата, Дмитрия.

Обоз пришел на другой день к вечеру. Данила весь этот день принимал гостей с подарками, страшно устал, стараясь с первого раза запоминать всех и каждого, и все одно не запоминал. Голова начинала кружиться. Между делом узнал, что город богат, только не ухожен. Амбары стояли полнехоньки, великому князю шло отсюда немало, а кто-то сказал – он так и не запомнил кто, – что «тута поискать по лесам – вдосталь народу, что и дани не дают никакой!» Поискать следовало, Данила совет запомнил.

На третий день, бросив все дела, Данил позвал Протасия проехаться верхами. С этого, пожалуй, стоило начинать: самому оглядеть хотя бы округу. Они шагом объехали городню, отмечая гнилые бревна, покосившийся частокол, щербатые свесы кровель над кострами. Взглянув на ремесленное околородье и лавки вдоль Москвы-реки, на низком берегу, они поворотили коней, миновали жидкий посад, переехали через легкий мостик на ту сторону Неглинной и выбрались в луга.

Данила молчал. Уже кустарник начал переходить в подлесок и крупные сосны, как первые стражи леса, оступили кругом, когда Данил, пробравшись через ельник, остановил коня. Чистая река струилась перед ними. Вода слегка, неприметно, пела. Над крутояром того берега прямо к обрыву подступали крупные стволы, а вдали и выше по течению виднелось большое село. Протасий подъехал, решившись нарушить молчание:

– Воробьево! – сказал он, поглядев за реку и тотчас на князя. Данила долго-долго молчал, и Протасий подумывал уже, не отъехать ли ему назад, к кучке ратников, что на расстоянии сопровождала князя, когда Данил обернулся к нему с медленной улыбкой:

– Тихо тут! Слышишь, как река журчит?

Когда возвращались и снова кругом объезжали крепость, поднявшись на гору, у самых городских ворот, Данила снова остановился, глядя на луг под горой, неровно окаймленный редкою цепью домиков, переходящих на той стороне Неглинки в деревушки, прячущиеся меж перелесков и холмов. Протасий тоже остановился, гадая, о чем сейчас думает Данил Лексаныч? Он даже заглянул в лицо Даниле, которого за эти дни как-то невольно начинал чувствовать старше себя, хоть князь и был младше его двумя годами. Данил вздохнул, потом опять вздохнул, выпрямился, сказал тверже, чем прежде:

– Мельницу поставим. Вона там! А здесь будет у нас площадь. Красная! Как в Переяславле! И торг тоже здесь!

Кони шагом протоптали в воротах, Данила ехал нарочито медленно. Миновали житный амбар, где сейчас из отверстых настежь ворот выносили кули с зерном и старый житничий, мельком поглядев на них и поклонившись князю, что-то отмечал на вошеной табличке.

– Утром вызови! – кивнул Данил Протасию. – Пушай доложит, кому отсылает хлеб.

– Понять не мочно! – говорил Данил Протасию на пятый день. – Должно тута быть княжеским селам! Все ж ты, Протасий, перемолви с наместником!

Братнин наместник, конечно, сказал, что, мол, сел нетути, а внове устроить и населить пришлым народом можно.

– Устроить! Населить! – гневался Данил. К счастью, приехал Федор Юрьич. Покряхтел, выслушал Данилу, его сбивчивые объяснения о селам и жалобы, что москвичи не признают своего князя.

– Признáют помаленьку! А села есть, селам как не быть! Дак хошь и не жили тута, а батюшка твой всюду имел, и от Михайлы Хоробрита должны были остаться, да и от Юрия Долгорукого... Тому хоть и многонько летов, а князево добро не ветшает. Бывал на той стороны, на Воробьевых горах? Съезди, воздух там легкой, здоровой – боры! Дак и села поглянь. Те села издревле княжески!

Тут же узналось, что села те сейчас за наместником.

– Пушай очищает! – кипел Данил.

– Ты не вдруг, – останавливал Федор Юрьич. – Ты кем тут ставлен? Братом. Братним наместником, значит. Он тут бояр собирал, встречу устроил, а ты – очищай! Он и очистит села, но не так, не срыву. Ты его подорвешь и свою власть тоже не укрепишь. Да и не за им одним села те! Думу собрать и на думе высказать, пристойно чтоб. И не так обидно, не ему одному... Вообще – грамоты на землю посуживай, ты же князь!

Данила тотчас велел объявить о думе и что созывает всех вотчинников говорить о земле. Вечером, накануне, трапезовали с дружиной. Обсуждали грядущий день. Спорили, запивали медом. Толковали о том, что и им, пришлым Даниловым боярам, надлежит земля.

– Ты уж нас не забудь, княже! – шутили ратные. – Еще будем вспоминать, батюшка Данил Лексаныч, как сидели вместе за столом-то!

Данил усмехался, кивал, обещал.

С утра перед думой Данил волновался, как в училище. Зеркало куда-то запропастилось. Не стал звать слугу, отодвинул из-под рукомоя лохань с водой, дождался, когда уляжется рябь, осмотрел свое отражение в темной воде. Представил себя со стороны в этот миг, прыснул, не сдержавшись. Княжеская шапка чуть не свалилась в лохань.

Московские бояре украдкой переглядывались с наместником. Бояра Данилы все, кроме Федора Юрьича, были мальчишки и вид имели заносчивый. Молодой князь старался глядеть грозно, но губы выдавали – то и дело морщились непрощеною улыбкой.

Начал Протасий: «...О селах княжеских, которые исстари за князьями были, и на которых достоин князю сидети, и с которых достоин ему доходы имати, и кто те селы заял, и под кем они ныне, и како мощно села те князю московскому Данилу Лексанычу воротити...»

Заспорили яро:

– У Михайлы Ярославича были тут селы?!

– Дак тому давненько летов!

– Летов тридцать, да и поболее! Иное и запустело...

– Людей все прибавляется кажен год, то с Рязани, то с Чернигова бегут, а тут запустело?

– Доход в казну великого князя отколь идет?!

– Великому князю идет обчее, со всего княжества, а не с сел!

– Дак что, о селах тех к великому князю посылать?

Сел старых, ухоженных, было жалко. Но Дмитрий, занятый в Новгороде делами и войнами, вряд ли сейчас опалится на брата. Наместник покорился, за ним покорились и другие, тем паче что о селах, где и какие суть, Данил вызнал заранее.

После думы Данил был весел и счастлив, но Федор Юрьич тотчас остудил его:

– Пошли, княже, приглядеть, скот бы не угнали!

Данил покраснел – как не сообразил сам! Вызвал дружину, разослал в разные концы, на Воробьевы горы послал Протасия.

На перевозе почему-то не оказалось лодок. Переплыли верхами. Скакали, подымались в гору. Встречу в темноте шло стадо.

– Куды? Заворачивай!

Пастухи нарочито бестолково хлопали кнутами, разгоняя скот. Протасий, ярея, обнажил саблю. Подействовало. Скоро сбитый табун двинулся обратно. До утра удалось воротить еще шесть конских и скотинных табунов, нагнать страху на посельских и старост. У других прошло не так гладко, где-то почти дошло до оружия, уже зазвенела сталь, двое-трое были поранены, кому-то пришлось даже и отступить.

С утра Данил принялся сам объезжать села. Осматривал хозяйство, принимал отчеты посельских и старост. Наученный Федором Юрьичем, всюду влезал сам, отстранял списки и приказывал отворять амбары, житницы, сенники. Пересчитывали скот. Мужиков собирали, объявляли им, что села теперь – княжевы. Страдникам, издольщикам и прочим зависимым

пахарям долго приходилось объяснять, что они уже теперь своему прежнему господину ничего не должны, а должны одному московскому князю. Скоро раскрылось, где что было уведено. Данил несколько раз посылал дружину возвращать отогнанные стада, где и сами, уразумев, что князь не шутит, приводили скот, винились.

Чтобы отбить охоту перечить князю, Данил объявил, что все несудимые грамоты прежних князей теряют силу и он будет пересуживать и подтверждать владельческие грамоты сам, и только после осмотра сел и земель, а допреж того сбор даней поручает своим боярам, а суд по всей волости берет на себя. Он вызвал московского мытника, вирников, посельских, всех перешерстил, кого-то выгнал, поставил своих. О суде, что отбирается у бояр и будет княжеским, доколе не подтвердят несудимых грамот, бирючи по три дня кричали на торгу и повестили по селам. Обиженный народ разом прихлынул на княжой двор. Данил с боярами оправливал мужиков, разбирал тяжбы, посылал дружинников поглядеть на месте как и что. Разрешил сам, по сказкам послухов, два-три спорных дела местных бояр и одну древнюю тяжбу о землях по Язуе, послав перемерить землю заново.

Среди прочих дел пришлось рядиться с ордынским баскаком, приехавшим вслед за Данилою для ханского надзора за новым князем; разрешать церковные дела; отпускать хлеб, рыбу и мед попам и причту, что прибыли по его зову из Никитского монастыря...

И уже готовили лес чинить городни, уже везли смолистые бревна на новый княжеский терем, уже суетились и заглядывали в глаза вчерашние местные насмешники и спесивцы.

Возчиков-древосделей Данил встречал сам. Везли бревна и тес, дубовую дрань на терем. Народ был веселый, здоровый, видно, что не изработанный еще, свежий народ. Нравились и лица – крупноносые, большеглазые, без боязливости этой, мерянской: не понять, то ли винится, то ли лукавит перед тобой?

– Ай, батюшка-князь, не круто затеваешь?

– Мечтаешь ли здесь сидеть али от нас куда в ино место?

– У нас место глухое, лесное, князи не держатся!

Возчики сгрудились вокруг Данилова коня.

– Михайло Хоробрит, твоево батюшки брат, одно лето и высидел! А потом и не было никого, на нашей-то памяти все наместничали тут...

– А уж свой князь был бы, ино и мы не подгадим! Свой князь – порядку боле!

– Налоги буду брать со всех! – улыбаясь, отвечал Данил.

– Дак налоги-то бери, лихву бы не брали, а то на постой, да кормы, да так – поболе налога отдаем! Тому – бобра, иному – куницу, набольшему – соболя, да коням кормы, да посельским, тем и другим давай, всего много станет!

Один из мужиков, охлопав коня Данилы по морде, оправлял уздечку, кто-то трогал седло, оглаживал круп. Всем им хотелось верить, что князь не уедет, будет местный, свой, и Даниле стало даже жарко от этого неложного к нему сочувствия и неложного хотения, чтобы он остался у них и не уезжал никуда.

И когда уже обоз тронулся дальше и возчики, многожды оглядываясь, кричали ему приветственные слова, Данил все стоял, не трогая коня, и все смотрел им вслед, и горячее чувство в груди ширилось, слагаясь в твердое решение: бросив все дела, начать немедленно объезд княжества, на который он еще как-то не решался до сих пор.

В объезде и осмотре княжества Данил провел все лето и часть осени. Он накоротко возвращался в Москву и уезжал вновь, совершив лишь самые первоочередные дела. Дружина его в дорогах менялась, и только один Протасий безотлучно находился при князе.

Они спустились по Москве до Мячкова, осматривая села, починки и деревни по обоим берегам реки. Воротясь, проехали по Пахре до Красного и даже выше, пробираясь сквозь густые лесные дебри. Потом осмотрели берега Москвы выше по течению, вплоть до Рузы и границ княжества с Можайской землей. Поднимались по Истре, изъездили из конца в конец

до пределов княжества всю Клязьминскую пойму, были на Воре и на Уче, где Данил подарил Протасию в вотчину обширные земли на рубеже Дмитровского княжества. Обскакав берега Сходни, Неглинной и Яузы, Данил наделил землею своих ратников, подавав им усадьбы на посаде и под городом.

Местные бояре, напуганные указами Данилы, сами встречали князя, подносили дары, провожали на путях, униженно молили посудить грамоты на землю, что от дедов, прадедов... Данил смотрел, пересчитывал, мерил. Грамоты посуживать не торопился, отлагал до своего возвращения в Москву.

Много было мест совсем пустых, хоть и удобных, к коим стоило только приложить руки, скучавшие по крестьянскому топору и тупице.

– Богатая земля! – говорил Протасий.

– Богатая, – соглашался князь и добавлял: – У нас в Переяславле богаче! Ухожено более!

Находились деревни ничьи, с которых и даней не брали или брали случаем, от наезда к наезду. Обычно о том сказывали сами местные жители или бояре, чая снисхождения к себе от князя. Посылали кого-нибудь, иногда ехали и сами Данил с Протасием. В чащобе неожиданно открывалась рощисть, на рощисти низкая, с односкатной, почти прямой кровлей изба, перекрытая тройным слоем дерна. Толстая зевающая мордовка останавливается на пороге: «Моя не понимай!» Мужик вылезает погода откуда-нибудь из лесу, сторожко подходит, пытается сунуть Даниле лису или бобра. Узнавши, что князь, стоит в растерянности. Вокруг тишина, неподвижное, будто веками не меняющееся время. Все неизменно: лес, вода, пни, медвежьи следы в овсе.

– Крещенные? – спросит Протасий. В ответ новый зевок. Хозяйка всею пятерней расчесывает себе поясницу.

– Хрещены...

– Крест-то где?

– Хрест! А где-то у хозяина! Моя не знай!

На самой посконный, с поперечными красными нашитыми полосами, костыч, красный убрus на голове. Из-под засаленного, с каемкой грязи, убора – серебряные кольца. Когда отъезжают, стоит смотреть, как красный мордовский идол.

Глава 40

Около Покрова приезжала государыня-мать. Осмотрев хозяйство и поругав девок, говорила о женитьбе.

Мать бестолково сказывала новости, и все как-то было мимо сознания. Про смерть ростовского князя, Бориса Васильковича, что заболел в Орде...

– Хотел постричься – жена, Марья, не дала, – сказывала Александра. – Думала, переможет. Теперь в монастырь уходит. Я уж на твою свадьбу погляжу, Данюша, и тоже в Княгинин монастырь, в свой...

Он наконец увидел ее замученный взгляд, дряблeе, вконец расплывшееся тело. Приобнял за плечи:

– Еще поживешь, мамо!

Она утерла глаза кончиком плата. Александра стала почау плакать, и это уже не вызвало участия даже у родных детей. Привычно было. И в монастырь собиралась привычно.

Федор Юрьич дважды уезжал во Владимир и возвращался. Был в Муроме. От имени Данилы к муромскому князю посылали сватов. Решала все мать сама, и Данил не спорил с нею. Разговоры о женитьбе велись давно, да и сам он все чаще начинал томиться от глухого неясного желания. Порою, наскакавшись на коне, не мог уснуть или вдруг просыпался и лежал, слушая, как туго ходит кровь. Если уж без баловства, дак и пора было поспешить со свадьбой...

Данила знал, конечно, про «это» и как «это» происходит. Слышал и рассказы, и глаз имел острый, запоминающий. Видал порою на купанье, ненароком, раздетых баб, а все же трудно мог представить себе девицу не в долгом платье, не в платке, да еще с открытыми ногами – то уж и совсем в голове не умещалось никак. И хоть сенные девки порой умильно взглядывали на молодого князя, иная, шмыгая мимо, по галерейке, норовила коснуться грудью или плечом, но ни с одной из них Данил так дела и не поимел. Стыдился, да и княжеское свое достоинство, столь недавно обретенное, берег. Казалось, поди на такое, дружина засмеет потом. Будут за спиной лясы точить... Поэтому он и свадебные дела предоставил матери; только уж когда подошло близко к делу, послал от себя, среди прочих, Протасия. Густо покраснев, наказал:

– Поезжай с отцом. Дружкой моим... Поглень, какова невеста-то... Ну, на лицо, и вообще...

Протасий кивнул, ответил серьезно, чтобы ничем не задеть князя:

– Погляжу! И батько мой не стал бы сватать, ежели какая некрасовитая. Так-то в муромском роду невесты справные. Ростовскую княгиню, вдову Бориса Васильковича, знаешь? Ну дак ейная тетка будет!

Ближе к свадьбе Данил, забросив все прочие дела, занялся княжым теремом. По подстылой земле и первому снегу везли и везли кирпичи, утварь, припас.

Ордынский баскак поднес подарки на будущую свадьбу: расписные чашки-пиалы тонкой выделки, сплошь изузоренные. Среди темных глин, зеленой поливы, резного дерева, жаркой меди и темно-блестящего серебра княжеской посуды хрупкие бело-узорные чашки поражали праздничным восточным великолепием. Женки мыли, скребли, оттирали песком, квасом и пивом – для цвета, янтарно-желтого, и хорошего духа – княжеские хоромы. Данил, хмурясь, входил в изложницу, осматривался, задира л голову. Шевеля бровями, прикидывал: понравится ли избалованной (почему-то думал, что избалована роскошью, и робел) муромской княжне ее новое житье? Ему-то нравилось – плотники постарались на славу. И – как до блеска отглажены стены, и – как круглятся и тоже вытерты до блеска углы; и печь, беленая, украшенная зелеными изразцами и росписью, с отводом, чтобы топить по-белому, была хороша; и даренный баскаком ковер на полу, гладкий, показавшийся сперва будто грубым, – с этими крупными, как плиты, красно-коричнево-черными, по блекло-желтому, узорам, – тоже был хорош; и иконы суздальского письма (а одна так даже и древней киевской работы); и посуда, русская и ордынская... А все же ловил он себя на том, что ему-то нравится потому, что сам, почти своими руками... Ведь еще весной и терема не было, не было ни думной палаты дубовой, новорубленной, ни новых опор под сенями, ни конюшен под стеною Детинца – Кремника, как они здесь все говорят, – ни коней в тех конюшнях... Не было и высоких хором Протасия, видных из окошка изложницы, по ту сторону от житного двора, не было новых островерхих кровель над кострами, ни той вон башни, не было и нового взвоза от пристани... Много чего не было! Но разве поймет? Оценит? Почует ли, что каждое бревно перетрогано руками, его руками, что рубили и мужики и дружина, что коней, которые повезут далекую невесту, минувшим вечером он вычистил сам, сам кормил и поил медвяною сытой? Должна понять! Я – князь! Должна оценить и увидеть! А если нет? А ежели надменно оглядит: как, мол, убого... Стыд! И как потом?!

Свадьбу решено было играть в Переяславле. Вроде бы и лучше так: и матери ближе, и всем прочим. И муромскому князю почет. Хоть не у него в терему – то было бы обидно Даниле, – но и не на Москве, а на полдороге как бы, и – у великого князя Дмитрия, у самого... Но вроде бы и обидно слегка. Поди, тоже молча думают, куда уж, в Москву-то, в медвежий край...

Он бы не беспокоился так, знай, что Муром нынешний обеднел и оскудел народом, что бывшие княжеские сокровища утекли невозвратно, одно продано, другое расхищено, иное сгорело еще при Батые, что ни ратей прежних, ни гордости прежней древнего града, матери Рязанской земли, давно уже нет, и сам муромский князь рад-радехонек породниться с домом покой-

ного великого Александра. Что выдать дочку (которой осенью исполнился уже пятнадцатый год) за младшего брата великого князя Дмитрия – это для него честь, и честь немалая. Запуганный резней и погромами в Рязанской земле, изнемогший в борьбе со своими же боярами, муромский князь боялся, наоборот, того, что свадьба почему-либо не состоится и что ему потом придется для любимицы дочери с горем и соромом приискивать жениха среди липецких, воргольских или курских, вконец разоренных татарами князей, а то и выдавать ее за какого-нибудь владимирского боярина, а то даже и в Орду, на что намекал ему муромский баскак, откровенно любовавшийся подросшей княжеской дочерью.

Сама Овдотья, Дуня, молодая муромская княжна, давно уже гадала о женихах, с замиранием сердечным ждала брака и неясных, пугающих брачных радостей. К своим пятнадцати годам она уже и округлилась, и расцвела, ей уже «пора подошла», как говорили бабы. А когда девушке подошло время, там лишь бы жених сразу, на смотринах, понравился. Будут и совет и любовь у молодых, и все своим порядком, ладом да побытом пойдет – тут уж примета такая у стариков верная, никогда не подводит.

Сваты приезжали. Старший – владимирский боярин, Федор Юрьич. Сватам казали невесту в праздничной сряде. Невеста прохаживалась, взглядывала исподлобья. В глазах блеск, не скроешь, румянец от алого до темно-вишневого переливается по лицу, ноздри трепещутся, а сама статна, в поясу тонка, а на ногу легка... Переглянулись сваты, остались довольны. С возрастом придет и угодное мужам дородство женское. Не зазрит и князь Данила, невеста – хоть куда!

В Переяславле уже готовились. С деревень собирали певиц, Федор Юрьич сам ездил, выбирал, выпрашивал. Бабы поминали бывалошных девок-певиц, спорили, княжеские перепирались с криушкинскими – всякой честь попасть на княжью свадьбу.

– Ты гаруснее Татьяны-ти!

– А бывает и гарусна, да к иным не подстанет!

– А не на всякого гостя угодишь, коему по ндраву, а иной скажет: что ета вы притявкали, ничё не понятно, плоха песня, перепойта! Там сбились, или чего ему не пондравится!

– Ну, дак на свадьбе не без того! И нову перепеваем!

О свадьбе в Переяславле толковали по всем деревням, благо Данилу тут все знали как своего. Певицы, собранные на княжом дворе, бегали глядеть на приезжую муромскую княжну. Только жених с невестой до самой свадьбы не видали друг друга. Овдотья уже приехала в Переяславль с нянькою и сенными боярышнями-девушками, а все не знала, какой он. С подарками приезжал от московского князя молодой боярин, Протасий-Веньямин. Большеголовый, костистый, с серьезным лицом. Дуня только гадала: таков ли и сам князь или не таков? Хотелось другого какого-то.

Уже в самый канун ей показали жениха в окошко. Он ехал с боярами-друзьями верхами. Вроде худой, носатый показался, но рассмотреть толком не смогла. Да и не поняла: тот ли? Так и гадала до самой свадьбы, тот или не тот?

А меж тем дело шло старинным побытом. Девичник собирали еще в Муроме. Тут уже только благословляли, накануне – водили в баню. В ночь перед свадьбой Овдотья спала с Сашей, ближней подружкой. Еще старуха нянька дремала в углу. Овдотья уже и уснуть не могла. Саша уютно посапывала рядом. Не в силах спать, Овдотья перевернулась в постели и обняла Сашуху, просунув руку ей под потную шею. Притянула к себе, стала гладить, стараясь представить, как завтра так же будет лежать с московским женихом. (Стыд какой!) И от стыда, желанного, сладко-страшного, она теснее прижала подружку, забираясь рукой под ее скрещенные ладони к теплым упругим девичьим грудям.

– Ты что, Дунь? – сонно пробормотала Сашуха. – Щёкотно! – И, просыпаясь, опрокидываясь на спину, тихо рассмеялась: – Подожди до завтрава, натешись ужо!

– Саш, а он хороший?

– Кто их знат! Норов на лице не писан! Бают, добрый... Бывают и злодей, а до жены добер, а быват до людей добер, а жены и не нать ему! Всяко быват!

– Ну, меня пушай посмеет не залюбить! – раздувая ноздри, пригрозила Овдотья.

– А что ты сделаешь?

– Что?! Задавлю!

– Ой, скаженна, пусти!

Не отпуская Сашуху, Овдотья повернула ее на себя и, притиснув, шептала:

– Молви, любишь ай нет? Любишь? Любишь?!

– Люблю, пусти, задавишь, Дунька!

– Целуй!.. Не так! С парнями целовалась ли когда? Не в игре, а по правде? Скажи!

– Раз только... – пряча лицо, прошептала девушка.

– Ну и... чего было-то?

– А чего... Голова закружилась враз...

– А я и не целовалась ни разу... – задумчиво оттолкнула Овдотья, откидываясь на подушку. И вдруг принялась тормозить и щипать подружку, приговаривая вполголоса:

– Не смей целоваться с парнями, не смей целоваться, не смей! Не смей! Не смей!!

– Тише вы, – спросонок пробормотала старуха нянька. – Угомону нет на вас...

Овдотья, глубоко вздохнув, замолчала, задышала ровно, но еще долго не могла смежить глаз, глядя в чуть редющую темноту слюдяного окошечка опочивальни... Какое уж тут ложе-нье!

С утра девушки расплетали косу. Крестный – любимый, старый, девчонкой все на руках носил, баловал пуще родителя-батюшки, – благословлял ее хлебом-солью. Овдотья дома, как ни слезили, не плакала, так уж всхлипывала голосом без слез, чтобы люди не зазрили, а тут, когда крестный сказал: «Наделяю хлебом-солью и Божией милостью!» – и она увидела, как слегка дрожит каравай, а потом – старые морщинистые руки крестного и его лицо с доброй беспомощной улыбкой, и по этой улыбке, а пуще по дрожи в руках, почувствовала в нем беззащитность и угасание, разревелась в три ручья, сама толком не могла объяснить почему, так что пришлось после вином обтирать лицо.

А когда уже расселись гости, и свекровь, седая, толстая, поместилась за столами, и наконец ввели жениха, всю ее бросило в жар, щеки взялись полымем и очей возвесть не могла поначалу, а только меж ресниц поглядела, и прежде губы его в глаза бросились, сочные, яркие и совсем детские еще, мальчишечьи, и потом уж нахрабилась, поглядела в глаза, а у него глаза сияют, и правда носатый, худой, жадный, – так сердце и прыгнуло: да какой же он мальчик, да какой же смешной и какой хороший, верно! И уже ничего не понимала, словно несло, и слышала, что поют, да и пели про то же:

Разлило-ось, разлиле-еялось,
По лугам вода вешняя,
По болотам осённая,
Унесло, улелеяло
Со двора три кораблика:
Уж как первой корабель плывет —
С сундуками-оковами,
А второй-от корабель плывет —
С одеялы собольими,
Уж как третий корабель плывет
Со душой красной девицей...

И не шла – плыла словно, и в церкви плыла, не чуяла ног, как повели вокруг налож, не чуяла холода, как выходила на снег в венечном уборе... И за большим столом все как кружилось и пело в ней и вокруг нее. А кормили их – ел жадно, торопился, и желваки у рта движутся, а не про еду, про нее думает и не чувствует ведь, чего и ест! Данил. Данил Лексаныч. Данилка!

И губы же оказались у него, когда им велели целоваться за большим столом! Мягкие, жаркие, нежные-нежные. А верно Сашуха сказывала, у самой голова пошла кругом! И не в стыд было целоваться, просто никого и ничего не видела вокруг, кроме него...

Когда повели спать в холодную горницу, все делала, как во сне. Он тоже, видно, смущался. Пробурчал: «Отвернись!» – стеснялся раздеваться перед ней, хоть и в темноте.

И вот они лежат, успокоенные, и Данил, весь еще в сознании мужской гордости и с новым каким-то чувством, ответственности, что ли, шепчет, рассказывая: «У меня там новый терем... Осенью рубили... Смолой еще пахнет...» Она кивает, не подымая головы, не открывая спрятанного у него на груди лица, теснее прижимается, может, и не слышит вовсе. В дверь стучат, и надо вставать, умываться и выходить к гостям.

– Давай никуда не пойдем! – просит Овдотья горячим шепотом, когда сваха заколотилась в дверь.

– Нельзя, надо! – нехотя отзывается Данил, но еще и сам лежит, приотпустив ее, слушая настойчивый стук и веселый голос свахи. Такой был покой сейчас – ничего не хотелось уже...

Назавтра, отгуляв день, пороли свата, Федора Юрьича. А он явился чудно разряженный, с привязанной редкой, в какой-то вывороченной шубе. То был серьезный боярин, а тут – откуда что! Озорно глянул, отдуваясь, пробежал округ терема. С гиканьем и улюлюканьем пестро разряженные гости гнались за ним. Сват полез на кровлю, тес трещал под его тушей. Боярина тащили вниз. Уже несли лавку, валили с хохотом, уже взвился соломенный кнут.

– Охо-хо! – кричал Федор Юрьич. – Матушка, голубушка, заступи!

Алея лицом, Овдотья бросила на спину свата кусок старинной цареградской парчи.

– Вот так покрыла! – охнули в толпе.

Боярин неспешно поднимался, пряча улыбку в бороде, взвел бровь, слегка подкидывая сверкающую ткань – не даром лёжано! – поклонился невесте.

Гуляли и еще день, кормили и поили полгорода, на дворе, по клетям, на сених и в молодежной – всюду пили, ели, плясали и орали песни. И хотя знатных гостей было мало – из князей приехал только Ярослав Дмитрич Юрьевский, прочие отделались поздравлениями и поминками, – свадьба все равно прошла весело и долго напоминалась всеми в округе.

Отгуляв, молодые тотчас выехали в Москву.

Глава 41

Деяков был взят приступом русских ратей в феврале. Весной полки возвращались из похода. Менгу-Тимур щедро угощал и дарил русских князей в своей ставке. Ратники и воеводы ополонились. Берегом Волги гнали табуны коней. Тяжело груженные полоном и рухлядью лодки шли где на веслах, а где и бечевой, одолевая стремительное течение весенней волжской воды. И грести и тянуть было трудно, люди устали, отошались, оборвались. По пятам за ратью двигалась непонятная черная хворь, от нее делались нарывы на теле и люди умирали, кашляя кровью. И все-таки шли веселые: домой! Казалось, только добрести до своих палестин, там и болезнь отстанет.

От Нижнего рать ручейками стала растекаться по сторонам. И уже женки выбегали следить обожженных солнцем, ветрами и стужей мужиков в иноземных халатах и шапках и кидались на шею, и уже где-то подымался вой по убитому, пропавшему без вести или погибнувшему черною смертью.

Ручеек, докатившийся до Княжева, донес весть о двух погинувших. Проху Дрозда с Криушкина убили на приступе, и не вернулся Козел. Но про этого сказывали ратные, что жив, да не похотел ворочаться, пристал куды-то в Орде. Погоревала Фрося, поревела, и то не знала, реветь али нет? Ставить ли свечки, заказывать ли панихиду – дак ежели живой!

– Вот как за всю мою заботу да за труды! Сколь убивалась, пока росила, ночей не спала, хлеба не доедала! Бросил мать, и на поди! – причитывала Фрося, сидя в избе у Михалкиных и раскачивалась на лавке. Мать Федора утешала, как могла:

– Мой тоже в Новгороде и глаз не кажет! Любанку свою бросил, уж ждала, убивалась. Походит замуж теперь! – сказывала она, забывая, что сама запрещала когда-то Федору эту женитьбу и ругала «кухмерскую родню».

Мор гулял по Руси два года. Умирали в избах, умирали в боярских хоромах и княжеских теремах. Умер в Суздале князь Юрий, и на стол сел его брат, Михаил Андреевич; умерла в Ярославле Марина Ольговна, развязав окончательно руки Федору Ростиславичу Чермному, который поторопился прибрать к рукам ее села и склонить под свою руку бояр. И в тот же год скончался от моровой болезни Михаил Ростиславич, освободив смоленский стол для Федора Чермного. И Федор, оставя Ярославль на бояр, кинулся с дружиной к Смоленску. Уже в его голове, воспаленной неожиданной удачей, роились планы, как, забрав Ярославль и Смоленск, начать – с татарской помощью – прибирать к рукам прочие города и княжества. Уже он с холодным ожесточением готовился предать, ежели будет нужно, своего союзника Андрея Городецкого – лишь бы урвать кус пожирнее.

Андрей меж тем собирал силы, обкладывая новыми и новыми данями Кострому и Нижний. Раздраженные поборами города глухо волновались. В душном предвестии близких грозных лет незаметно угасла Александра Брючеславна, великая княгиня, вдова Александра Невского. Вскоре после свадьбы младшего сына она постриглась в Княгинин монастырь и там, поскольку уже все сделала, что могла и умела, как-то сразу слегла. И больше не вставала с одра. Неизвестно, хотела ли она повидать сыновей перед кончиной. Они съехались на тризну матери, едва ли не последний раз встретившись как братья, а не как враги. Озабоченный Дмитрий, оторвавший себя на малое время от строительных, ратных и торговых новгородских дел, который и здесь, у могилы матери, продолжал думать о Копорской крепости; хмурый Андрей, обоженный солнцем степей, с одною мыслью, из-за которой он уже не мог смотреть в глаза старшему брату; веселый Данила, при коем старшие братья только и могли еще как-то общаться между собой... Съехались, отпировали и тут же разлетелись врозь. Один в Новгород – смещать посадника, ссориться с мужами Софийской стороны и строить свою крепость; другой к себе в Москву – строиться и заводить новые села; третий в Кострому – рядиться по настойчивому совету Семена Тонильевича с Федором Ярославским и влезать в ростовские дела.

Что-то страшное, как нутряная болезнь, разъедало землю и, подобно зловонным пузырям болотной гнили, отравляло самый воздух страны. Все и вся тянули поврозь, забывая и думать о том, о чем печалились, к чему призывали провидцы и пророки, чаявшие света духовного. И дети становились хуже отцов, и уже некому становилось хранить заветы великой старины.

Глава 42

Неподобное творилось нынче в древнем Ростовском доме. После Бориса Васильковича на стол сел его брат, князь Глеб Белозерский, но Глеба через год самого свалила моровая болезнь. В Ростове началась грызня племянников, детей покойного Бориса Васильковича. Старший из них, Дмитрий Борисович, уже давно прибирал к рукам город и Ростовскую волость. Когда Константин (женившийся-таки на Олимпиаде, дочери Давыда Явидовича) ушел в поход под Деяков, Дмитрий Борисович воротился из Сарая домой. Поход разделил братьев

широкой межой. Дмитрий тогда повез из Сарая умирающего отца домой и остался в Ростове, не изведав ни трудов, ни тягот далекой степной войны. И теперь стало ясно, что распадается Ростовский дом, что с бабкой Марией умерло и с отцом окончилось то старинное, милое, хрупкое, чему трудно было теперь даже дать название. Иные ветра продували насквозь их древний терем. Константин с раздражением представлял, что было бы с изысканным Дмитрием, с его строгим платьем, кровным конем, с его брезгливостью и холодными глазами князя древних кровей в черных песках? Эти кости, и гниющее мясо, и тяжелые степные орлы, и вороны на падали... И режущие лицо ледяные ветра, и ледяной снег, и необозримые массы конницы, движущейся через ветер. Он теперь лучше, пожалуй, начал понимать татар. Но Дмитрий ничего не хотел понимать! Может быть, он, Константин, просто огрубел? Олимпиада иногда морщится от его слов, повадок, привезенных из похода... Но и Дмитрий огрубел, огрубел, никуда не ездивши. У него появились жестокость и упрямство во взгляде, въедливая мелочность в расчете о доходах, селах, вирах, имуществе, которое до сих пор они и не думали делить. Он многого сумел добиться за эту зиму. Его слушались беспрекословно в ростовском терему. И Константин нет-нет да и задумывался, как сложатся отношения у старшего брата с дядей Глебом теперь, после того, как Глеб занял ростовский стол. Но страшнее всего и горше всего становилось от мыслей, что уже не воротится время, когда тоненькая Олимпиада бегала от него в горелки и он хватал ее за плечи... На чем все держалось и можно ли было удержать?! Детский девичий смех, толстые переплеты старинных книг, тонкие старческие невесомые руки бабушки Марии Михайловны, изысканный разговор... И вороны над падалью в дикой степи, и тяжелая пыль над табунами коней и проходящей ратью, и режущий холод степей, и ночевки в снегу, и кибитки в пыли, и пот, и грязь, и конский несмываемый дух, и коршуны кругами в выжженной солнцем дожелта небесной голубизне...

Смерть Глеба разом обнажила скопившееся зло. Дмитрий Борисович, сев на ростовский стол, тут же наложил руку на пригородные села двоюродного брата, «татарчонка», Михаила Глебовича, и «поотнимал их у Михаила со грехом и неправдою». Воротясь весной из нового ордынского похода, Михаил уже не получил ничего из ростовских владений отца и уехал к себе, в Белозерск. Великий князь Дмитрий Александрович был занят в Новгороде и помочь Михаилу не смог.

Но и большее зло сотворилось в Ростовской земле! Епископ Игнатий схоронил князя Глеба в соборе Ростова, но через девять недель изверг тело, распорядившись тайно, ночью, перевезти во Владимир и зарыть в Княгинин монастырь. Известие всколыхнуло всех неслыханной мерзостностью поступка. Мстили живым, мертвых до сих пор не трогал никто.

Передавали о каких-то церковных упущениях, якобы совершенных покойным князем, но, вернее всего, и тут поступлено было по требованию Дмитрия Борисовича, который теперь захотел доказать всему миру то, в чем он когда-то, еще подростком, убеждал Андрея Городецкого: «князь может делать все, что захочет»...

Лето 1280 года было грозовым, ветреным. Бурею рвало и разметывало хоромы, грозные ливни прокатывались над землей. Казалось, природа громами и вихрем тоже предвещает беду. Впрочем, мор утихал, а грозы – толковали старики – к доброму урожаю.

Глава 43

К Дмитрову подъезжали засветло. Федор еще не был здесь со смерти князя Давыда и несколько беспокоился, как их встретят. Он переложил поводья из правой руки в левую и безотчетно ощупал грудь. Кошель с грамотами висел у него на груди под ферязью на прочном кожаном гайтане и был так привычен телу, что порой переставал ощущаться, и тогда рука сама трогала, проверяя, дорогой груз. Четверо ратных трусили вслед за гонцом великого князя владимирского. Грамоты были важные, и Федору придали нынче четырех провожатых вместо

двух. Он уже второй год ездил в гонцах, сперва подручным, потом и старшим стали посылать, увидя, что не пьет излиха, а с делом справляется толково и в срок. Федор побывал уже во многих городах, а теперь путь его лежал в Москву, ко князю Даниле. Откуда-то с детских лет подымалось воспоминание о «московском князе» и гасло. Князь есть князь. Примут грамоты, расспросят. Нужно не уронить себя перед думными боярами: честь княжого посла – честь самого великого князя. Нужно передать все приветы и поклоны, не забыть затверженных наизусть, помимо грамоты, дел и речей...

Дорога, виясь, огибала шевелящиеся под ветром, как шубой, одетые лесом холмы. Пашни разбегались все шире, здесь, в изножиях холмов, в затишках, солнце палило не шутя. Мужики пахали, доканчивали. В долгих, чуть не до пят, посконных рубахах, скинув лишние порты. В штанах за лошадьё не набегашь, и то рубаха – выжми. А так и обдувает малость по ногам, и комара еще того нет, не заест. Мельком напомнилось: «Как-то у нас с пашней?» Федор и Грикша оба теперь были и в справе изрядной, и серебро не переводилось, а с пашней – горе одно. Нанять – поди их весной найми, лишние руки! Да и как наймит сделает! Только искорыряет землю. Мать кланялась родне, носила подарки. Дал бы князь землю, что ли! Своих бы хоть две души крестьян, чтоб с хлебом не маяться! Иным дает, у кого и так довольно. Большим боярам вон сотни рук работают! Федор сплюнул, отворотился. Грачи тучами носились над дорогой, смешно переваливаясь, бегали по черным бороздам, следом за пахарями, хлопотливо выбирали червей. Позже, от зерна, этих же грачей гонять – не выгонишь!

Дмитров должен был быть уже скоро. Ночлег всяко будет и при новом князе! Где это бывало, чтобы гонца да плохо приняли! За ночлег, харч, корм лошадям Федор, разумеется, не боялся. В любой деревне все это гонцу дадут безо всякой платы, старосты отводят постой в самых справных домах. Но хотелось доброго отдыха, бани, хотелось привести себя в порядок, чтобы предстать перед московским князем не с пути, в поту и пыли, с этим зудом под рубахою и в волосах. У иных хозяев вшей полным-полно. Как-то мать вела дом – редко и в головах-то искали!

В Дмитрове, однако, приняли – лучше не надо. Может, потому, что и дмитровскому князю были вести из Новгорода. Ратники выпарились, вычесались, переоблоклось во все новое, коням устроили дневку. Отдохнули справно. Отдохнули и кони, сытно отъевшиеся княжеским ячменем, и уже весело бежали по лесистой московской дороге.

Москва показалаась ввечеру. Деревянная, пестрая от белотесаных заплат и еще необветренных новых бревен крепость на холме. Над городней проглядывали, тоже светлые, верхи новых хором и маковицы двух церковок. Федор усмехнулся: невелик город у Данилы Лексаныча! И погасил усмешку. Встречу скакали трое верхоконных. С вышки, что ль, увидали? Блюдут! Он еще издали, коснувшись шапки, поздоровался с приближающимся дружинником.

– Отколе?

– Гонец великого князя владимирского! – повелительно прокричал Федор в ответ, выпрямляясь в седле. Дружинники враз заворотили коней и поскакали посторонь, на полкрупы позади Федора, а третий во весь опор помчался вперед, к воротам. И по тому, как старательно они все это проделали, видно было, что великокняжеские гонцы здесь не часты.

В крепости все было деревянным и многое – увидел Федор – недавно возведено. Где светло-серые, чуть обветренные, где бело-розовые на закатном солнце бревна, притухающее, но все еще многолюдство снующих мужиков – все говорило, что московский князь въелся в дело и даром времени не теряет. Мельком разглядел заворачивающую телегу: проблеснувший железный обод нового колеса, крепких, сытых коней (значит, до весны и сена и жита им хватало с избытком!). Еще от ворот узрелись лодьи на реке, и наметанным глазом по едва заметным приметам Федор узнал новгородских вездесущих купцов. Их встретил городской боярин, отвел на ночлег. После шестидесятиверстной скачки ноги плохо слушались и все качалось. Ели, обжигаясь, жирные горячие щи, черпали кашу, а глаза уже слипались, да и нечего было

особо разгуливать. Утром – предупредил уже давешний боярин, которому Федор отдал дорожную грамоту, – ко князю.

Он проснулся ночью сам, словно толкнули. Полежал, встал. Мужики храпели на пополах. Вышел под зеленое предрассветное небо, под холодеющие звезды. Сторож на башне ударил в било. Звук пронесся над притихшей крепостью, отозвался над рекою и, повисев, сник, растворился в тишине. В стороне, у житных амбаров, чуть пошевелились закутанные в длинные тулупы сторожи.

– Эй, ты! – окликнул один. – Не спится? Как там, в Новом Городе?

– Бывал ле? – ответил Федор вопросом на вопрос.

– Бывал! Спроси, где я не бывал! И в Ростове бывал, и на Двину хаживал!

– Хорошо тут?

– А Бога не гневим! Князь добер. Встроглазый. Порядок при ем настал. Тут спервоначалу мечтали: посидит да и улетит. Ан нет, села забрал, которы свои, не поглядел на наших бояр, да и наместника поприжал самого. Суд правит тоже сам. Купцов нонече навалом. Знают, у мыта свое положи – боле не тронут тебя, торгуй, как хошь. Строится, почитай весь Кремник обновил! Монастырь поставил за рекой, архимандрита там посадил, с Переяславля, что ль, созвал...

Ратнику явно хотелось поболтать, да и Федор не останавливал, самому было любопытно. В Ростове да Новгороде мало и вспоминали про Данилу Московского. Он снова оглядывал все более четко вылеплявшиеся на светлеющем небе кучи крыш, ровный обрез городни и как бы висящие над нею дощатые кровли костров, под которыми стояли или похаживали бессонные сторожа. Жаль, ратный не мог вспомнить имени переяславского архимандрита – може, знакомый какой? Впрочем, Грикша скажет! Он ведь сам сюда ездил, возил утварь да книги из Никитского монастыря!

«И чего я дичился так?» – подумал Федор, уже с некоторым раскаянием вспоминая недавние детские годы. Он поймал себя на искушении сказать ратному, что знал князя Данилу по Переяславлю, но сдержался. Негоже было этим хвастать, тем паче здесь.

Уже совсем осветлело. Вдали, над краем леса, видного немного по-за верхом городни, поднялся столб светлого, не колеблемого ветром огня, постоял, разгораясь все ярче, словно поднятый в небеса светящийся меч, и вот наконец раскаленный золотой краешек светлого утреннего солнца вылез из-за холма. Косые брызги озолотили верха костров и кровли, желтое тепло зажгло рудовые бревна городень, и скоро ослепительные лучи хлынули в глаза так, что оба, и Федор и ратный, зажмурились, и сразу, будто ожидавшие солнца, разноголосо запели петухи. Над Москвою подымался рассвет.

Его проводили в думную палату. Федор ступил через порог, заученным движением, сняв шапку, отвесил поясной поклон и снова надел шапку (в думе княжеской шапок не снимали). Князь сидел на невысоком резном креслице. Федор, остановясь на должном расстоянии, не глядя в глаза, громко передал поклон от великого князя Дмитрия младшему брату Даниле Лексанычу и поклонился снова.

– ...Шлет о новгородских делах! – Он протянул свернутую и запечатанную грамоту. Боярин принял грамоту из его рук и передал князю. Федор, как гонец, должен был только передать послание (посол читал бы сейчас грамоту вслух, но для посольского дела посылают уже боярина). Грамоту прочтут без него, хотя Федор знал и сам содержание великокняжеского письма. В Новгороде стало совсем плохо, и Дмитрий Лексаныч посылал к братьям о возможной войне с Новгородом.

Пока принимали и передавали свиток, Федор лучше всмотрелся в князя. Данил Лексаныч возмужал. Бородка сильно изменила его лицо, и Федор подумал вдруг, что и его самого с бородою, пожалуй, князь не узнает. Данил держался как подобало по уставу. Сидел прямо, не шевелясь, соблюдая весь чин. Федор представил, как будет выглядеть московский князь,

когда поседеет его светлая борода, пролягут морщины от горбатого носа, прибавится дородства, а светло-красные губы потемнеют и сморщатся. («Да ведь и мне тоже стареть!» Как-то впервые это задело сознание.) Князь тоже пристально вглядывался в Федора и что-то сказал боярину справа от себя, но его самого ни о чем не спросил. «Ну что ж, так и нать!» – подумал Федор, покидая думный покой. На переходе его окликнул давешний городской боярин, что брал грамоты, и Федор сперва понадеялся, что воротят, но боярин просто хотел от себя расспросить Федора о Новгороде, и ему пришлось участвовать в долгом разговоре с ним и еще двумя боярами, одного из которых, костистого, высокого, с серьезным, большим, словно бы немецким лицом, он где-то, кажется, видел. У орденских немцев, что приезжают в Новгород, бывают такие лица: прямоугольно-большие, с тяжелой челюстью, твердые, словно из одних мускулов и костей, только у тех – жестче. Боярина звали Веньямин, и только уж когда первый боярин назвал его Протасием, Федор вспомнил враз, где он его видел. Ну да, во Владимире, вместе с Даниилой!

Посольское дело и беседа с боярами порядком утомили Федора. Отобедав и выяснив, что он боле сегодня не надобен, Федор отпустил ратных и сам, оседлав коня, поехал со двора поглядеть город и посад, которых он еще толком не видал.

В рядах москвичи продавали глиняные свистульки, неровно облитые зеленой поливой, горшки, железный и скобяной товар. Кованое узорчье было только про себя: медные и серебряные кольца на вятичей, бусы. Кое-какой годный товар был лишь у тверских да новгородских купцов. Впрочем, сидел на самом низу, у воды, какой-то не то бухарец, не то персиянец с коврами. «Еще не было летнего привозу», – догадался Федор. Зато снедь была всякая возами: рыбу, соленые грибы, бочки квашеной капусты предлагали нипочем – видно, спешили распродать остаток с зимы. Покупатели тыкали пальцами, ковырялись, пробовали, брали на зуб. Федора, который не слезал с коня и шагом ехал по рядам, то окликали из лавок, лстиво называя боярином, то поругивали: «Ишь, ворона на корове! Чеботы замарать боязно ему!» – пихая кулаком или замахиваясь перед мордой коня.

– Чей будешь-то?

– Переяславской! – отзывался Федор.

– Боярин ай нет?

– Ратник!

– Каки грамоты привез? – спрашивали, где-то уже вызнав, что незнакомый ратник – гонец. – Не ратиться ли зовут?!

Его оступили. Мужики были востролицые, глазастые. Где и дознались, черти! Федор отшучивался:

– Вам тута надоть маленько поратиться, а то забудете, как и рогатину держат!

– Ничо, наше от нас не уйдет! – возражали мужики.

– Отколь счас-то? Из Нова Города? Велик? Чать, поболе Москвы?

– Да сказать, не соврать, – приодержав коня, серьезно отмолвил Федор, – раз в сто, а то и более!

Мужики присвистнули.

– И терема камянны есь?

– Больше церкви, – отвечал Федор, – и в Детинце и на посаде.

– Що тако Детинец? – не понял кто-то, ему ответили сами:

– Кремник, ну!

– А терема, как у вас, но только выше гораздо, раза в два, а то и в три... – Федор прикинул на глаз. – И в четыре раз выше есть. И улицы мощены, ходят посуху.

– Новгородци баяли о том, да кактось не верится! А ты сам-то каков, не брешешь?

– Переславской, уже баял он, уши открой!

– Да ты стой, паря, сойди с коня-то, чать не украдут! Давай хоть ко мне! Вали, братва!

Во дворе и в доме у хозяина встретил непереносный дух мокнувших кож. Федор покрутил головой, мужики заметили:

– А нам ништо! Привыкши, дак и не чуем!

Мужики густо набились в избу. Кто-то приволок корчагу хмельного.

В дверь уже лезли любопытные бабы.

– А вы куды, толстожопые!

– А нам охотца тоже поглядеть, каков таков гонец?

– Подьте, подьте, у его баба есь!

– Чать не зазрит! Она и не увидит оттоль! – прыснули женки.

– Вот ты гришь, новгородцы князя выбирают! – не отставал сухощавый, – дак там свои все, кто по родству-кумовству, а у нас тута Христов сбор, кто отколь, и не знаем один другого! Не так за себя, как за боярина держишься! Вона, Птаха, тоже к боярину пристал ко своему! Боярин его с Рязани убег тож, ну и приветил. Худо не худо, а хату дал!

– Все порознь, дак тут не то что князя, старосту уличного не зможем выбрать!

Мужики, перекорясь, заспорили о своем. Федор посидел, распрошлся, вышел. Конь хрупал сено во дворе. Федор немножко проехал берегом реки, до крутояра. Здесь еще одна речка впадала в Москву. На той стороне в вечернем пронзительном свете четко рисовался монастырь, куда брат возил кресты, книги, облачения и прочую рухлядь. Захотелось съездить туда, да и не знал как. Мост был один, наплавной, под самым Кремником, и Федор воротился назад.

Они поужинали в посольской избе и уже было сряжались спать, когда за ним пришли. Федор живо опоясался и с бьющимся сердцем, веря и не веря, пошел следом за посланцем. Провели какими-то задними дворами, мимо конюшен. На крыльце его перенял придверник и, приотворив толстые створы, кивнул в темноту:

– Князь звал!

Федор чуть не споткнулся о порог. В темноте отворилась вторая дверь, и его втокнули в освещенную светелку. Отсюда другой слуга провел Федора еще через одни двери в княжескую опочивальню. Увидя Данилу близко, в простом платье, Федор, хоть и ждал встречи, все же растерялся и, не зная, как себя держать, молча поклонился князю.

– Садись! – весело сказал Данила. Федор сел и как-то опять не ведал, о чем говорить. – А я тебя не враз и узнал! – примолвил Данил. – После уж спросил у Протасия, тот бает: «Федя и есть!» Он-то тебя сразу вызнал! («А виду не показал», – подумал Федор. Хотел было сказать, что тоже не сразу узнал Протасия, но поперхнулся, глупо было бы себя сравнивать с боярином.)

– А я женился! – широко, по-детски улыбнулся Данил, и у Федора стронулось в душе. Он тоже улыбнулся.

– Знаю. На свадьбе на твоей пела наша соседка, Олена, ближняя материна!

– А ты? Помнишь, ты баял еще во Владимире про зазнобу про свою?

– Расстались...

Зашла княгиня. Федор встал и отвесил поясной поклон.

– Наш, переславской, вместе были в училище с им! – представил Данил. Княгиня обожгла Федю горячим взглядом, в очах трепетал смех, переглянулась с мужем, налила меду. На серебряном подносе подала Федору. Когда он выпил, поцеловала, едва тронув губами, и его опять как окатило горячей волной. Он в чем-то смутно позавидовал Даниле. Когда княгиня вышла, Данил, понизив голос, сказал с гордостью:

– Сына ждем!

Федор, постаравшись придать голосу деловую сухость, стал кратко передавать о новгородских делах. То, чего не доложил из утра. Но Данил посреди речи вдруг, вздохнув, выронил:

– А я ведь и не был в Новгороде!

Обрадованный Федор начал рассказывать своими словами о красоте градской, о храмах, торговле, людях.

– погоди! – остановил его Данил и снова позвал княгиню. Она села, вольно уронив белые руки на колени и тоже приготовилась внимать рассказу. Речь Федора лилась складно, и его слушали с удовольствием, долго не прерывая, и князь и княгиня.

– А помнишь, ты хотел когда-то бежать в Новгород? – спросил Данил.

– Да вот... Исполнилось! – густо зарумянившись, отозвался Федор.

Разговор воротился к посольским делам. Княгиня, опять переглянувшись с мужем, плавно поднялась, кивнула Федору и вышла из покоя.

Федор рассказал про споры ростовских князей. Данила слушал с жадным напряженным вниманием. Поступок ростовского владыки Игнатия с телом Глеба, видимо, возмутил его паче всего. Уже зная об этом, он и теперь снова не сдержал гневного движения.

– А правнуки потом наши кости не выкинут из гробов?!

И Федор увидел с одобрением, что князь, который, кажется, при нем в прежние годы ни разу не нахмурился, умеет и гневаться. Да иначе бы его тут и не слушали!

– Помнишь, как епископ Серапион говорил? – помолчав, спросил Данила. Федор склонил голову и вдруг устыдился, помыслив, как нечасто сам он в эти годы вспоминал Серапионовы заветы.

– А я велел переписать все его «Слова», у меня изборник есть! Монахам дал, чтобы знали...

Разговор тут же перешел на дела церковные. Федор уже знал об ожидаемом приезде митрополита Кирилла из Киева снова в Суздальскую землю.

– Скоро уже!

– На Москву, поди, и не заедет! – сказал Данила, вздохнув.

– Он уже очень старый?

– Очень. И все живет. И ездит еще. Батюшку хоронил.

– Да.

Они молчали, и в молчании снова, как когда-то, начинали чувствовать друг друга без слов. Данил сделал движение позвать слугу, отдумал, встал, сам налил меду, и Федор, молча приняв мед из его рук, сообразил, что вот ему сам князь налил чару, и... нет, не князь сейчас! И прежнее давешнее детское стеснение перед училищными мальчишками появилось в нем. Не скажешь ведь никому об этой чаре, а скажешь – осмеют. Да ведь и не дар, не милость княжая, а просто не захотел Данил, чтобы кто-то помешал беседе.

– Ну, что еще хочет от меня брат? – спросил Данил, встряхнувшись, когда они молча выпили каждый свое. Он рассказал, как Федор Ярославский проходил Москву с ратью, торопился к Смоленску. Рать с полтыщи душ. Не много, а и не мало. Много-то ему было ни к чему! Ждали в Смоленске. Теперь все ездят гонцы: то туда, то сюда. И Ярославля не хочет упустить, и за Смоленск боится.

– У него в Орде рука! – подсказал Федор.

– Да, в Орде! Он тут все высматривал, словно воевать Москву хочет! – с недоброй усмешкой присовокупил Данил. – Словом, брату про Ростиславича так передай. Ежели с Новгородом подымется какая замятия, Федор Чермный, пожалуй, не вступится. В Смоленске не очень его любят. Так мне сказывали.

Он помолчал, поднял глаза:

– А никак Митя не может там, у себя, по-хорошему поладить?

Федор несколько сбивчиво начал объяснять про Копорье, которое нынче Дмитрий Александрович приказал с самой весны обкладывать камнем. (Камень ломали и возили уже с осени и до Пасхи, на что Дмитрий бросил все имевшиеся у него наличные силы.) Данил слушал хмуро, не прерывая. У него в Москве даже церкви были деревянные.

– Ну что ж! Позовет – пойду. Будем готовы. А может, еще и замирятся как ни то! Покойный дядя Ярослав ратился с Новгородом, а чего достиг? Гордости еговой не убудет, а худой, да мир все лучше доброй-то ссоры! Подумаешь о славе – однояко, а о тщете земной – другаяко... Великий Новгород! Тебе тоже, поди, там любо? А то перебирайся ко мне, на Москву! – светло улыбнулся Данил. – Хорошо у меня! Я бы и землю дал. Земля есть, людей мало. Особенно – кто грамоту знает!

Федор встал, жалея, что конец разговора. Поднялся Данил:

– Ну, прощай, кланяйся брату!

Он улыбнулся, обнял Федора, и Федор, хотевший было отдать поясной поклон, сжал на мгновение князя в объятиях. Как-то так сказало больше, чем словами.

– Завтра едешь?

Федор кивнул. Были грамоты во Владимир и Городец, тоже важные, князю Андрею. Тоже о новгородской войне.

Ратники, что сопровождали Федора, отсылались назад. Данило посылал дальше с Федором своих, до Переяславля. Там будет новая смена. Только гонцу скакать и скакать, изредка прикладывая руку к груди, где на крепком кожаном гайтане под ферязью висит кошель, потерять который можно разве только вместе с головою.

Дома в этот раз побывать вовсе не пришлось, и с Грикшей не встретились тоже, тот как раз уехал с монастырским обозом. Федор только передал с верными людьми матери скопленную гривну серебра и поскакал дальше, подымать князей на войну с любимым далеким вольным Новгородом.

Глава 44

Ополье, мягко всхолмленная степь. Замглилось сиреневое небо, легко облегло холмы. Перистое, сквозное, оно увеличило тишину. Лишь жаворонок, невидимый в вышине, щебечет и заливается, мелко трепеща крылышками. И ничего! Вдали, сзади, в кущах деревьев, высывающаяся церковью, прячется село. Снова холмистые дали с редкими островами леса, словно где-то залегшего сплошную шубой, а сюда выгнавшего далекие передовые языки.

По этому полю прокатилась сорок с лишним лет назад Батыева конница, и исчез, как растаял, древний Суздаль, исчезли да и не возродились вновь Мстиславль, Городец-Клязьминский, Кидекша, Глебов... Почему так случилось? Почему они победили? И не много их было! Теперь Федор знал, что не так-то и много.

Почему-то всегда эти мысли приходили к нему, когда он Ополем подъезжал к Владимиру. Живо помнил, как впервые подумал о том, когда стоял на головокружительной высоте Золотых ворот, и снова – когда он вторично увидел Ополье, осеннее, и тоже у Юрьева. Серые коровы ползли по желтой стерне; с высоких перевалов отворялись дали, игрушечные рощицы меж зеленых и серых холмов, деревушки, церкви и – далеко-далеко! – поля, полосатые, как полы восточного халата.

Наверно, и старого князя Святослава прельстили на всю жизнь эти полосатые поля в буро-зеленых лентах ярового и озими, в пестрых, будто вытканых узором, платах пара; щедрая, золотисто-зеленая к осени, холмистая сторона.

Святослав Всеволодович! Нынче удивительно и помыслить: еще ведь тогда, до Батыя, начал жить и править! Сидел когда-то на великом княжении. И не усидел. Почему? Уступил стол Михайле Хоробриту, а потом Александру Невскому с Андреем. И Суздаль отобрали у него потом без спора... Остался тут, в Юрьеве, где сейчас княжит его тихий внук... Сидел и смотрел на цветные холмистые поля. Или тоже горевал о потерянной власти? А собор Святослава, высокий, весь в резном камении, стоит и доднесь – еще от тех, великих времен...

Сейчас дали были одноцветны, лишь озимое зеленело среди черно-вспаханной и уже засеянной земли. Федор погонял коня, торопясь увидеть Юрьев и юрьевский собор на закате солнца: стремительно-стройный, весь в кружеве каменной рези снаружи и внутри, придававший необычайное столичное великолепие пустеющему, утонувшему среди полей городу.

Подъехали прямо к теремам. Князь Ярослав Дмитрич был в отъезде, во Владимире. Принял ключник. Федор, усвоивший уже гордый тон великокняжеского гонца, потребовал того и другого, устроил людей и, решив не лезть в хоромы, – ночь была хороша! – попросил только положить кошель с грамотами на ночь в казну. Старик хранитель бережно опустил грамоты в ларь и запер окованные двери. Освободившись от постоянного своего опасного груза, Федор вздохнул свободнее. Ключник ушел. Федор помедлил, глядя, как старик хранитель запирает наружные двери. Спросил просто так, чтобы что-то сказать:

– Ты, верно, знал Дмитрия Святославича хорошо?

Старец пожевал пустым ртом в сетке серых морщин. Отмолвил неожиданно ясным голосом:

– Я еще самого Святослава Всеволодича, царство ему небесное, помню!

Федор глянул внимательнее, веря и не веря.

– И храм строили при мне! – прибавил хранитель. Глаза у старика были ясные, голубые и смотрели умно.

– Я и Батыеву рать видал!

Морщины неподвижного лица тронулись слегка, и Федор угадал улыбку.

Они вышли в сад. Старик неспешно шел впереди по дорожке, засыпанной отцветающим яблоневым и вишенным цветом.

– Великий был князь Святослав Всеволодич! – говорил он, не оборачиваясь к Федору. – И на престоле сидел володимерском, и здесь княжил достойно... Ты сам-то, молодец, у кого служишь? Дмитрия Лексаныча? Знаю! И батюшку его знал, князь Лександра, и Андрея Ярославича знал! Строгой князь был, Лександр Ярославич, а только до нашего князя Святослава не достиг! Тот был из прежних, а эти уже... Другие они люди...

– Зайди! – не то пригласил, не то приказал старик, когда они дошли до ветхого домика под самым градским валом.

– Сам-то каков? Отколе? Переяславской? Бывал ле у нас? Митрополита Кирилла знаю! – продолжал он, возясь с замком. – Видал, говорил даже с им. Он под мой нор. Тоже из тех, из прежних. Больше были нынешних люди. Чего и не знали когда, а совести, той было поболее у их!

Они зашли в горенку. Хозяин вздул огонь. Лампадка скудно мерцала в углу, и от нее, долго не попадая дрожащею рукой, старец зажигал свечу. Помощь Федора, однако, отверг:

– Оставь, сам!

От старика пахло кислотью, старой кожей – душновато. На полке стояли книги, и Федор по переплетам догадался, что книги были редкие, а некоторые, видно, даже и греческие. Старец был не прост.

Федор попытался продолжить разговор, поспорить с ним, но хранитель спокойно отверг его слова, смахнув их, как пыль с книжного переплета:

– Вам, нынешним, уже того не понять! Вы по силе судите. Кто одолеет, тот у вас и побольший. А надо не так! Ты спроси, что после себя оставит? Вот, Юрий князь, Долгорукой, оставил города, Всеволод – храмы. А битвы можно выиграть и проиграть, да... Святослав Всеволодич не меньше был тех-то, а не хотел ратиться! Александр с Андреем бились за стол володимерский, кровь пролили, навели татар на Русь, а Святослав прежде их был великим князем, а уступил без бою, и кроволитья не бысть на земли! Дак кто боле сделал? То и смекай! А без мужиков – перебить коли – и земля не постоит. А теперь вот храм, погляди! Память!

Народ, конечно, ето – хлеб, чтобы был сыт. Но то еще не народ! Скот-то тоже плодится. Народу память нужна.

Знаю татар! У их тоже певцы свои и все такое есть. Они ханов своих помнят прежних, богатуров... Половцев знал, те же татары, сейчас зовут их только иначе, а память пропала! Как память потерял народ, считай, и все тут.

А вот храм стоит! И всяк поглядит да помолится, и ты едешь не пораз уже, а все посмотришь, поглядишь, князя нашего воспомянешь и старопрежние времена!

Говоришь, киевские князи великие были. А почто? Созидали! Землю расстроили, храмы, города, книги – вот! Где бывал еще? В Новгороде? Тоже был... Там София стоит, Перынь, Юрьев монастырь, Николы собор... Всё ставили великие князи. В Киеве – Михаила Архангела, София – то Ярослав Мудрый строил... Мы не степняки какие, у тех только трава, да скот, да песни. А мы – землю устроили, пашем, зиждем грады, и вот... А спроси про Святослава Всеволодича: где был, что делал? В какие походы ходил? Думаешь, меньше других?! Был в Новом Городе, с Юрием был во многих сечах, на болгар ходил, на Волгу, с новгородцами к Кеси, пустошил тамо немецкие земли, на мордву ходил... Немало! Сидел после в Переяславле русском, под Киевом, на Сити дрался, уцелел. Был в Орде, был на суздальском столе и на владимирском. Построил сей храм! И татары, вишь, не порушили, рука не поднялась. А почто уступил Лександру с Андреем? Он на шестом десятке лет... Не пристало... Как отец им! Отцу дети тоже иные в тягости, и нравны, и поперечны. А всё ведь для их уж жисть прожита! Вот не поехал в Орду, татар не навел – и святой. А вы глупы. Вам всё силой! Кто по силе, кто крови боле прольет, тот у вас и герой! А того не считаете, каков с крови той прибыток? Хлеб с крови гуще не родит! И церкви не на крови, на труде созидаются... Да на вере... То дорого! И сынок его, царство небесное, Дмитрий Святославич, рук ничем не замарал. Суздаль отобрали – пускай! Ну и что, что отобрали? И кто отобрал, умер прежде еще – Андрей Ярославич, – и самого тоже обрезали, Нижний-то взяли у их! А веки пройдут – и не попомнит никто, чей то был град. Скажут – русский град, и всё тут. И на собор глянут: не медведи, мол, жили, а люди мудрые, ученые, да!

Старик задремывал. Федор тихо вышел, задув свечу и притворив дверь. Прошел садом. Голова кружилась от запаха цветов. Что слава! Может, и правда, что ото всей от нее останется лишь то, о чем напишет такой вот старик в ветхой книге... В траве и ветвях залиvistо трещали кузнечики.

Он улегся, завернувшись в попону, поглядывая на светящиеся окошки княжого терема. Верно, он уже задремал, потому что окружающее как-то отделилось от него самого, и Федор совсем не удивился, и даже сразу узнал, кто это, когда раскрылась, не скрипнув, древняя дверь и показалась высокая фигура старого князя Святослава.

Лунный свет лежал на храме, обводя тенью дорогое каменное узорочье. Святослав провел сухою пергаментной рукой по выпуклостям рези. В траве заливались кузнечики. Он поднял голову. Над собором, в той стороне, где лежал Владимир, висела красная звезда. Ехать в Орду! Зачем? Жизнь кончалась, и ему осталось лишь достойно лечь в изножие своего храма, соединиться с Господом... Неужели это было – пиры, охота, походы, сечи, гордый шум стольного Владимира? Окна светились в тереме, звали назад. Старая кровь не грела. Князь запахнул епанчу, еще раз взглянул на собор и побрел назад, в теремное тепло. Мягкая ночь, полная серебристым шелестом кузнечиков, осталась одна. И храм одиноко белел, отражая луну...

Федор проснулся с лицом, мокрым от росы. Попона тоже вся увлажнилась и отяжелела. Солнце косыми лучами заливало сад. Он встал, встряхнулся, пошел будить ратников.

Глава 45

Его везли по рекам, по Днепру и Угре, по Оке и Клязьме, оберегая от тряски летних дорог. Весла враз опускались и подымались, и, закутанный в бархатную, отороченную кунцеей накидку, он молча смотрел на плывущие навстречу и мимо берега. Силы в нем убывали,

близился конец этой мимолетной временной, похожей на причудливый сон, жизни, близился порог жизни вечной, той, где ни тлен, ни болезни плоти, ни угнетение духа уже не властны над нами. И у порога отшествия он покидал родные киевские и волынские просторы, устремляясь на север, в край хвойных лесов и суровых зим, край еще дикий и необжитый, потому что человека в исходе жизни уже не земля предков влечет к себе сильнее всего, не те места, где ты получал от других, а те, где воплощены плоды твоего труда, где ты давал полную мерой и где можно проверить, что ты сделал в жизни и сделал ли что-нибудь?

Он еще похудел, стал почти прозрачный. Тела своего митрополит Кирилл временами не ощущал вовсе. Ему самому порою казалось, что он не отходит – отлетает света сего.

А кругом расцветала земля. Песчаные берега Оки раскидисто развевались перед глазами. Сочная трава подымалась на низменных лугах, буйная поросль орешника вилась и лепилась по склонам, на крутых ярах стояли красные боры. Князья попутных городов выезжали встречать митрополита. В Переяславле рязанском пришлось пристать, благословить рязанского князя и семью его, но задержаться дольше Кирилл отказался, торопился во Владимир. До него уже дошли нехорошие вести о ростовских нестроениях, а также о вражде братьев, сыновей Невского, Дмитрия и Андрея. Надо было не дать совершиться и этому злу...

Зло возвращалось в мир в любом обличье: властью, завистью, сребролюбием, гордостью, буйством плоти; и не было предела, и не было отдыха в борьбе со злом. Да и мог ли он наступить, этот предел, пока длится искус жизни?

Листва берез была по-весеннему свежа, и синей была вода, и небо голубым. И так хватало всего этого для полного совершенного счастья и покоя души! Да, труд, земной, упорный, в поте лица своего, и вода из родника в берестяном самодельном ковше, корка хлеба – дань плоти, и книга, умная, древняя, на дощатом столе, и молитва в вечерний час. Разве мало? Разве не в этом – величие Господа, чудо бытия, что подарено нам всем, и добрым и злым, просто так, ни за что, от безмерной любви и безмерного терпения. Его терпения!

Владимир встречал митрополита колокольным звоном. Съезжались епископы, архимандриты и игумены монастырей, протопопы, келари, многообразные чины черного и белого духовенства. Съезжались князья – получить благословение, на миг обрести душевный покой, прикоснувшись к тихому сиянию этого древнего старца. Ветхий деньми митрополит так долго уже жил, и в такие бурные и страшные, такие неясные годы, что и в их глазах, как и в глазах народа, перешел заживо в сонм святительский. Он был почти вечен. Его и звали за глаза не по имени, а просто – митрополит, и знали, что это он. Другого уже и трудно было вообразить себе на святом престоле духовного пастыря Руси.

Народ тучами одел берега Клязьмы. Реку наполняли подходящие лоды. Пестрели одежды знати у пристани, золотились и сверкали облачения высшего духовенства и вельмож градных.

Митрополит на мгновение закрыл глаза: как помочь им, мнившим благая и, не ведая, сотворивым скверная! Ему уже рассказали все, и праздник встречи померк. Не стало отдыха, не стало радости от вкушения плодов произращенных. Как мог он (он винил только себя) так ошибиться в Игнатии, как он не сумел внушить ему и им всем правила святительския! Горести достойна была скорая смерть епископа Серапиона.

Ведомый под руки Кирилл, как в тумане, под крики толпы, благословляя народ, медленно поднимался в гору. И внешне все было как и должно было быть. Радостные лица, скорые бабьи слезы и толчея, а потом короткий отдых и служба в соборе. Его облачали и переоблачали. Тихим голосом он говорил, и все замирало под сводами, ловя наставнические слова. Он говорил о мире, о любви, о терпении – и верил, заставлял себя поверить, что слова падают не на камень, на почву благодатную.

Вновь его встретил приготовленный привычный покой. Иное и обветшало за годы отшествия, иное поправили наспех, он не вникал. Отстранил и ключника с исчислением доходов

митрополичьих – потом! Разоблачился. Отослал службу. Лежал, думал. Сон не шел. Мысли были горькими. Игнатия следовало наказать не так, как он хотел сначала, не с глаза на глаз, а соборно – дабы помнилось, дабы вразумить заблудших. Дабы не пропало все то, что с таким трудом насаждалось годы и годы.

Игнатий был призван на другой день. Сперва, однако, митрополит посетил Княгинин монастырь и новую могилу князя Глеба и сам отслужил панихиду по покойному ростовскому князю.

Игнатий полдня томился, ожидая приема, рядом, но не вместе с другими иерархами, паки и паки обеспокоенно вглядываясь в остранные лица владимирского и сарского епископов. Страшась и тоскуя, он все же предпочел бы, чтобы разговор с митрополитом состоялся наедине. Намеренно или нет, Кирилл додержал ростовского епископа до того часа, когда тот уже совершенно изнемог духом. К тому же он увидел, что прочие епископы садятся в кресла по бокам митрополичьего престола и все принимает явный вид судилища.

Кирилл прочел краткую молитву. Епископы вторили ему. Голос Игнатия дрожал и едва не срывался. Он один оставался стоять перед престолом.

– Поведай, отче, – спросил наконец митрополит, – почто изверг ты прах князя Глеба из могилы?

Игнатий начал было объяснять, какими грехами покойный Глеб Василькович заслужил толикое, но Кирилл тотчас прервал его:

– Ежели хочешь обличать заблудшего, обличи при жизни! В лицо, не обинуясь, скажи ему небрежения его и грехи! Исправь, и да не погубит души своея! Но исправляй наставлением, советом, а паче – милостью! – Голос Кирилла вдруг сорвался, и он почти выкрикнул с болью и гневом: – Ел и пил его чашу! Кто ты сам, чтобы судить?! Бог простил и взошел на крест за нас, а мы? Что можно сделать злом?!

Он остановился, задышавшись. («Сам я встречал Александра как защитника после расправы с братом! – Это он сказал про себя, одною мыслью: – Мог бы проклясть и подорвать его власть и мир на земле!»)

– Милостью! – продолжал он, передохнув. – Любовь соединяет, только любовь! Что простительно князю, простить ли то служителю Божьему? Если мы, духовная власть, будем карать, то кто будет миловать? И возможно ли измерить меру зла, которое проистечет тогда на земле? Весь смысл учения Христа: возлюби ближнего своего!..

Голос Кирилла возвысился и уже звенел и потрясал, повергая в трепет. И все-таки ни Игнатий, ни епископы не ожидали и вздрогнули разом, когда митрополит, встав, сурово произнес:

– Отлучаю от службы и от сана, аки недостойного благодати Божией!

Игнатий вышел, пошатываясь. Он не понимал еще толком, что произошло. У него отобрали тут же святительский посох, митру, печать и праздничное облачение. Прочие епископы также пребывали в страхе и смущении. Отлучали попов и протопопов, смещали игуменов, но епископа! Да еще ростовского, признанного главу русских епископов, не пораз замещавшего митрополичий стол! Такого, кажется, еще не бывало на Руси...

Его молили отложить наказание, но Кирилл был тверд. Возможно, его еще заставят пересмотреть свое решение. Возможно, он сам сменит гнев на милость... Но потом, позже, не сейчас. Пусть едет к себе, пусть мучается, пусть умоляет князя о заступе, пусть до дна изопьет чашу...

Теперь предстояло другое дело, не менее важное, хоть и касалось мирян и мирских нестроений. Сарский епископ доносил, что князь Андрей уже получил в Орде от Менгу-Тимура ярлык на великое княжение под братом Дмитрием. Ярлык как будто был дан еще не на полное княжение, а на половину, в точности неизвестно. Но во всяком случае, об этом уже прознали в Новгороде, где против Дмитрия подымалась градская смута.

Он послал с благословением приглашение князю Андрею прибыть к нему во Владимир. Он решил, ежели князь откажется, сам ехать к нему в Городец. Князь медлил, наконец прислал с поминками сказать, что будет. Быть может, он издали почувствовал настойчивость зова, быть может, утратил возмущение поездкой престарелого митрополита в Городец – поездки, которая могла серьезно уронить Андрея во мнении всей Суздальской Руси.

Глава 46

Князя Андрея одолевали свои заботы. Заботы такие, что – по первому движению души – он хотел было отказаться от зова митрополита, как от пустой докуки. Отречься и забыть. Для Орды, для Менгу-Тимура, для его вельмож, князей, нойонов и темников требовалось серебро. Подарки везли и везли, и Семен просил еще и еще. Приходилось не то что сбавлять, а наоборот, умножать и умножать дани. Купцы роптали, кто и перебежал украдом к тверскому князю. Олфер Жеребец шарил по заволжским лесам, выколачивая дани и меха из лесных жителей. Забирались все далее, возвращались все чаще с уроном в людях. После лесных сшибок и засад по глухим урочищам хоронили своих мертвецов. Ставили большие сосновые кресты. Иван Жеребец нынче был послан в Кострому. На двадцать первом году он уже вполне вымахал в отцову статью, и так же бешено гулял, и так же веселая широкая улыбка у него на лице могла мгновенно сменяться страшным оскалом ярости, когда обнажались крупные зубы и кулаки сжимались, набухая венами. «Те же отцовы, по пуду кулаки!» – говорили, покачивая головами, мужики, когда Иван, размахнув на широкой груди ворот дорогой рубахи и твердо ступая, выходил на пристань улаживать споры у речного мыта, и бывалые купцы, что не робели в схватках с волжскими разбойниками, тут, узя глаза, отступались, развязывали вервие, казали товар, что чаяли провезти украдом, и, крикая густо и недобро, доставали тяжелые кошель. Давид Явидович тоже сидел на Костроме, улаживал с местными боярами, пересылался с зятем, Константином Ростовским. Семен Тонильевич безвылазно сидел в Орде, лишь наезжая домой время от времени, а прочие костромские бояре во главе с Захарием Зерном жались да выжидали, готовые поддержать князя Андрея, ежели он окажется наверху, и отречься от него, коли оступится. Зато городские бояре князя Андрея были чуть не все в разгоне: в Нижнем, где требовалась рука и рука, в посольских делах, в походах.

Кострома с Волгою и Новгородом Великим считалась половиною великого княжения, и Семен доносил из Орды, что ярлык на эту половину Менгу-Тимур дает (готов дать) ему, Андрею. Что за Андрея хлопочет сейчас старшая царица Джиджекхатунь, а ее голос в делах ордынских важнее многих голосов вельмож. У князя Андрея после Семеновых писем теплело на душе. Что бы ни говорили про Семена – для кого он старается? Дочерей давно выдал замуж, сын, первый, погиб, второй, татарский сын, живет в Орде и служит Менгу-Тимуру. У него, у Семена, здесь только он, князь Андрей. Иным было отношение Давыда Явидовича. Тот соблюдал свое: выдать дочь за князя, прикрепить и укреплять Андрееву власть, как вложенные в лихву гривны. Иным было и отношение Олфера Жеребца. Для Олфера князь был щитом, и сам он был щитом князю, как в драке, к кому прислониться спиной. Он и мировил Андрею, и ублажал его – все, чтобы быть ближе. У Семена же все было не так. Он не позволял ни себе, ни Андрею излишней близости. Он – видимым образом – не просил богатства. На предложение перебраться к нему в Городец, получив от Андрея села и земли, ответил вежливым отказом. В думе держался сухо-почтительно, никогда не выставя себя наперед. Но порою, изредка, оставшись наедине с князем, он или рассказывал нечто, неизвестное прежде Андрею, а то давал прочесть, иное переводил с греческого или латинского, с немногословною страстью подчеркивая важное, и тогда исчезал маленький Городец, сам Владимир становился мал перед блеском палат древних римских кесарей или Царьграда – мировой державы... Византия, мунгальский каган, римские кесари... И по дороге было одно: ярлык на великое княжение. А там –

Новгород; а там уже поговаривал Семен про Ногая: разбив его, – ежели он не поладит с Менгуч-Тимуром, – можно будет воротить Чернигов, Киев и прочие, северские и волынские города... И Андрей, разгораясь от дальних замыслов своего боярина, слал серебро в Орду; пересылался с новгородской вятшей господой и облагал новыми данями Кострому и Нижний, не свои (пока не свои, еще не свои!), лишь данные ему в кормление города.

Послание митрополита застало его врасплох. Семен был, как на грех, в Орде. Давыд в Костроме. Даже Олфер Жеребец ушел в летний путь, в полюдь. Посоветоваться было не с кем. Митрополит звал настойчиво. Не узнал ли он о ярлыке? Все, что подготавливал так долго и тщательно Семен, уже начиналось. Новгородцы, которым он обещал любые льготы (потом можно и отобрать!), ждали только знака, лишь шевеления. Уже Дмитрий, почуяв недоброе, начинал действовать круто, отталкивая тем от себя посадское население и даже прежних доброжелателей своих. Уже зашевелилась Орда...

Андрей медлил, чаял дожидаться Семена, но и медлить было трудно. Митрополит Кирилл был слишком почитаем всеми. Он хоронил отца, он встречал его после разгрома Неврюем покойного дяди Андрея. (Сходство имен тревожно резануло по сердцу. Он постарается отбросить непрошеное сравнение. Я и дядя Андрей! Глупо.) Но тут из Владимира дошли подробные вести об отлучении ростовского епископа Игнатия. О том, какое впечатление это произвело на всех, лучше всего сказали Андрею глаза его духовника, тихого и неслышного отца Онисима, который рассказал об отлучении Игнатия как бы ненароком, исповедуя князя. Андрей засомневался, и вдруг его охватил страх. Митрополит, конечно же, знает о ярлыке! Он поедет сюда, непременно поедет! И тогда? Не проклянет ли он и его, как проклял, отлучив, ростовского епископа?! Отец – дядя Андрей – и они с Дмитрием... Он проснулся ночью. (Спал один, у них с Феодорой, как у византийских царей, были особые изложницы.) Проснулся в ужасе. Перед глазами, качаясь, стоял покойный брат Василий, тогда, на свадебном пиру, выкрикнувший ему вслед: «Отец проклял нас, он вверг нож в ны, мы будем резать друг друга, как Каин Авеля, мы сами себя зарежем!» Что он мог знать, что он понимал, несчастный пьяница, похороненный отцом прежде смерти? Что мог он предвидеть?! Ночь струилась, слегка разбавленная лампадным огнем... В Городце, Костроме, Нижнем готовилось оружие и рати. В Орде вовсю творилась мышиная возня подкупов. Связки мехов и веские серебряные слитки переходили из рук в руки. Тяжкая, до времени пощипывая траву, шагом бредущая по степи неодолимая сила медленно склонялась, по зову серебряных ручейков, в его сторону. Уже получен ярлык на половину княжения и... ничего нельзя остановить.

– Отче! – позвал он не то отца, не то митрополита Кирилла. – Отче, прости меня!

Утром Андрей известил духовника, что едет к митрополиту. По осторожному блеску в глазах отца Онисима догадался, что тот ждал этого решения и доволен. Велел позвать к себе братнего гонца, что вот уже второй месяц околачивался в Городце, ожидая ответа Андрея на новгородские грамоты Дмитрия. Велел передать, что не вмешивается в дела брата и мешать ему не станет.

«Где он таких берет?» – думал Андрей, оглядывая гонца. Молодой светлорослый парень с умным худоватым лицом и жадно блестящими глазами, видимо правдолюбец и законник, как сам Дмитрий... Он поставил рядом с ним, мысленно, Ивана Жеребца и вновь содрогнулся. Неужели же в них, в исполнителях господской воли, отражается характер князя?! Каков глава, таковы и они! (Как это может быть? А вот может!) Он отослал грамоту в Новгород брату со своим гонцом, сам не понимая, зачем это сделал... Гонец, однако, еще не доскакал до места, когда принесли злую (и еще бы немного дней назад радостную) весть: Дмитрий, не дождавшись ответа на свое письмо, сместил в Новгороде посадника, престарелого Михаила Мишинича, всеми уважаемого мужа, и посадил своею волей Смена Михайловича, ладожского посадника, боярина со Славны. Самоуправство Дмитрия возмутило весь город, и теперь там только и ждут

Андрея. Посланник сообщал, что и Смен Михайлов ждет решения города и, ежели что, за князя Дмитрия не вступится.

Стоял август. Хлеб уже созревал. Андрей послал гонца с новгородскими вестями к Семену в Орду и выехал во Владимир для разговора с митрополитом Кириллом.

Глава 47

Мелкие, хотя и важные, заботы одолевали митрополита Кирилла, не давали сосредоточить силы на одном, на главном. Обнаружились множицею нестроения в службе, в церковном чине, иное, о чем было постановлено, оказалось так и не исполнено доднесь. Не были исправляемы суды церковные в Ростовской земле, и только ныне, ходатайствуя за опального епископа, Дмитрий Борисович обещал и соглашался утвердить повсеместно новые, соборно постановленные шесть лет назад правила. Постоянное преткновение вятских встречали статьи церковного уложения, на неукоснительном соблюдении коих особенно настаивал митрополит Кирилл. Эти статьи были: об освобождении на волю раба или рабы за увечье, господином своим нанесенное; также об освобождении на волю рабы, в прелюбодеяние господином своим склоненной, и равно об освобождении на волю прижитого ею от господина ребенка; и, наконец, статья, запрещающая продажу иноземцу – жидовину или еретику – крестьянина-челядина, ибо недостойно есть христианскую душу роботити нехристом.

Возражающие сему лукаво ссылались на византийский «Номоканон», в коем не было означенных статей, а за увечье или соращение рабы полагалось одно лишь церковное покаяние. Митрополит Кирилл, разыскавший нужные статьи в неких древних установлениях, отвечал с гневом, ссылаясь не на эти статьи, а на русское летописание божественного Нестора:

– Что же, по лукавству вашему, тогда и святого князя Владимира, крестителя Руси, прижитого Святославом от ключницы и рабы Ольгиной, Малуши, также надлежало в работу творить?!

Спорщики умолкали, не зная, как возразить.

Намедни прибежал к нему сельский попик, вступившийся за понасиленную рабу по слову митрополита и изобиженный своим боярином. Попик был не только изобижен, но и избит зело, с синяками и ссадинами на лице и по всему телу. Сраму ради он не стал показывать Кириллу струпья на седалищных местах, но видно было, что уже и духом изнемог, и готов смириться. В поучение ему Кирилл напомнил попику сказание о сорока двух аморейских мучениках, из коих все, кроме одного, устояли перед тираном и сподобились блаженной кончины и посмертного райского жития.

– Также и твой мучитель, ежели увидит тебя согбенна и унижена пред собою, станет ли почитать в тебе духовного своего отца? Приклонит ли ухо к глаголу уст твоих? Помыслит ли о сем! Не лучше ли во сто крат прияти мученичesk венеч, но остаться с Господом, а не с тираном?

Кирилл вновь оглядел попика, его тщедушное сложение, малый рост, синяки на лице (и за бороду его драли, видать!) и еще рассказал, теперь уже из хронографии Феофановой, про лжепатриарха Константина, некогда погубленного царем-иконоборцем. Рассказал для вящего вразумления, чтобы не подумал попик, в сирости своей, что вот, мол, легко митрополиту всея Руси советовать мученического конца приятие, его-де самого не коснется длань врага. Может коснуться и меня, ежели царь самого патриарха заушал и мучил и принудил его, в монашеском сане сущего, обвенчаться, есть мясо и слушать песни за царским столом...

Попик, видимо, никогда не читал и не знал сочинения Феофана. Он поднял глаза на митрополита Кирилла и слушал смятенно, по временам трудно сглатывая слюну. Кирилл пересказывал жестко, ничего не смягчая. Как заушали и закидывали грязью патриарха, как срамили и волочили по городу...

– Так поступил царь. А ведь Константин крестил двух его детей и во всем ему потакал и мирволил!

– И я крестил... детей его... – растерянно пробормотал попик, во все глаза глядя на митрополита.

– Видишь? – сказал Кирилл, мягко улыбнувшись попику. – Чего достиг сей патриарх пресмыкательством пред царем? Тоя же срамная и лютяя смерти. Но ежели праведники, приняв муку от гонителей своих, идут ко Господу, в выси горние, то помысли, куда ушел лжепатриарх, согласясь со скверной?

Попик вдруг кивнул и теперь почти уже радостно внимал митрополиту.

– И вот, – с твердостью докончил Кирилл, – зри! Обличали, уничтожали иконы, замазывали лики святых, и где они все, обличители? Где царь-гонитель, где слуги и присные его? В геенне огненной! А лики – вот, сияют! И только уничтожено многое, и многие прияли мученическ венец, многое, увы, изгибло, вещественное и рукотворное, но нерукотворное, духовное – сохранено! Ими, праведниками, в муках опочившими, сохранено! Помни!

Укрепив и отпустив попику, Кирилл велел ему впредь не хоронить, не венчать и не причащать никого в семье боярской, донеле же тот не покается в злодействах своих.

– Христос тоже терпел заушения. Наш труд – самый тяжкий: одоление плоти, а плоть сильна! – присовокупил он, провожая служителя до порога.

За попиком вскоре приехал и сам господин. Гора мяса, маленькие глазки, большое толстое красное лицо, коротколап, медвежеват. К Кириллу вломился чуть не с криком.

– Я боярин! Несудимая грамота у меня! Волен во холопах!

«Как им далеко до христианства!» – думал Кирилл, глядя на дерзкого боярина с жалостью и отвращением.

Боярин, при всем своем непотребстве, был не глуп. Права свои по «Русской Правде» помнил наизусть: «Аще огрешится господин, убьет раба своего, нет ему виры». Пришлось напомнить и о тех статьях, которые боярин похотел забыть, и про то, что было в соборных правилах постановлено. Таким вот и нужны правила, без правил им удержу не будет. Правила не нужны тем, кто принял целиком завет Христа: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В жизни, увы, не на все можно установить правила! Этот испуганный священнослужитель. Видимо, глухая деревенька. Боярин – царь и бог, все позволено, «отец родной». За попрек ночью священнику кинут камень в окно, пихнут в темноте в канаву, а то и подожгут. Закон... Как может он жить без духовного наставления?! Эти свины – медвежьи ли – неглупые глазки, эта плоть, которая считает, что в ней, в плоти, весь смысл жизни... В бытии, в том, чтобы жрать, пить, чтобы давить и тискать, животнo наслаждаясь судорогой живого под лапами, под сапогом, под «законом», данным ему несудимую грамотой... Как же, он природный боярин!

Кирилла слегка замутило от этой громогласной туши, от этого отсутствия всякого стыда, от животного дыхания... Он прошел во внутренние покои. Походя сказал эконому, дабы предупредили всех священников: кто примет от рекомого боярина причастие ли, отпоет ли покойника у него в дому (у боярина как раз кто-то умер) – потеряет сан.

Боярин вновь попался ему встречу на выходе на третий или четвертый день. Его жирное лицо как-то обвисло и пошло пятнами, глаза расширились и забегали. Он неуклюже повалился в пыль. Кирилл даже не сразу узнал в нем давешнего грозного самовластца. Но вдруг понял: ну да, неотпетый мертвец, лето же! Мысленно похвалил священника за строгость, вместе с тем подумал, что попик проявил смелость от озлобления, что тоже было нехорошо. Усопшего следовало похоронить... Мысли перекинулись к Игнатию. Дмитрию Борисовичу он до сих пор не ответил ни да ни нет.

Боярин приходил с отпускною грамотой на рабу, из-за которой поссорился со священнослужителем. Кирилл велел ему явиться к исповеди к своему священнику и принять епитимью. Отпущенную рабу он приказал отправить пока в Княгинин монастырь. Женщине нужно было

просто отдохнуть, прийти в себя, избыть вечный страх, почувствовать себя в безопасности за толстыми стенами монастыря. А там уже решит сама, как ей лучше. Может – выпустить в мир, ежели найдется добрый человек, а так – ни кола ни двора – лучше уж при монастырской работе в женском княжеском монастыре: и корм, и тепло, и сряда какая ни то... Горько подумалось: как еще в иных монастырях приходит трудникам? Келарь да эконо не морят ли голодом работающих на братию? Как еще и о той же рабе, днесь отпущенной неволею ее господином, скажут, что-де для монастырских дел отобрали ее у боярина! А подумать смогут ли, что будет делать мать с дитятею на «воле», где ни дома, ни угла, ни иного пристанища?

Грешны люди! Ленивы и лукавы. Ладят меньшим откупиться от большего. Поставят свечу в чаянии лихвы, отслужат молебен за спасение, чтобы самому не заботиться о спасителях своих... В монастырях нет холопов. Русская церковь отказалась от труда рабского. И тут – скажут завистливые и лукавствующие – потому-де церковники противу рабства, что у самих нет рабов! И не вспомнят, что по слову Христову о братьях совершено сие: как же можно брата своего работать? Ибо кто же мешал бы и церкви иметь холопов на землях своих, ежели сильные мира держат холопов и дарят церкви по душе за собою деревни, подчас с теми же холопами? И сколько трудов нужно было приложить, дабы воспретить всеконечно рабство церковное! Дабы и господ, и вельмож, и князей нужею заставляя хотя бы и перед смертью, но отпускать на волю холопов своих!

Да, нужны и терпение, и воля, и непрестанные усилия, без отдыха, не сожидая покоя и скорых плодов... И что паче всего? Паче всего нужно поставить священнослужителя истинного, да не престанет в трудах и в борении не ослабнет! Вся жизнь, и крестный конец ее, Исуса, Сына Божия, не есть ли перст, указующий всякой жизни: будь такожде! И не скажут лукаво, яко фарисеи: он пострадал за нас, и тем мы уже спасены и безгрешны. Разве же не ясно, затем и страдал, затем и молил: «да минет меня чаша сия!» Ибо так вот может и должен каждый: и страдать, и устрашаться в нищете плоти своей, и молить: «да минет», и – не отрекаться креста и муки крестной, если крест придет и мука постигнет. И не в высоте, не во власти! Ибо скажут опять лукавые: мал есмь, и не мне надлежит исполнить подвиг, а наибольшему меня! Почто Иисус отверг корону царя? Почто, искушаемый, не захотел приять все царства мира и славу их, но возразил: «Отойди, сатано!» Затем, что не в пример, и не в поучение, и не во спасение даже стала бы жизнь Спасителя, ибо каждый из малых сих мог бы сказать тогда: «Ему было легко, он царь!» В самом деле! Ему, митрополиту, сделать мановение – и этот боярин лежит в пыли, у ног, и молит о прощении, а князю – тем паче. А каково крест нести рабе той, под господином сущей? Каково ей не извериться в благодати Божией? И ведь для них, а не для избранных, для простецов, а не для вельмож прошел Иисус свой тернистый, свой земной путь...

Получив известия, что Андрей выехал во Владимир, митрополит Кирилл вызвал к себе ростовского князя Дмитрия Борисовича и опального епископа Игнатия. Князю он сделал внушение о делах церковных, судах и исправках, а Игнатия наконец простил, наложив, впрочем, строгую епитимью.

Игнатий пришел к митрополиту, уже вызнав от князя о прощении. Все эти дни он изводился от вопросов-угадываний, ходил в жалком образе ходатая по всем власть имущим, за него просили епископы и князь и не могли допроситься. Патриарх был далеко, да и поможет ли патриарх? Ему казалось уже, что Дмитрий Борисович, наскуча хлопотами, начинает охладевать к нему, уже носились слухи о замене Игнатия на владычном столе новым епископом, и тут явилось прощение. Игнатий, ступив в покой митрополита Кирилла, повалился в ноги и зарыдал.

«Понял ли? Устыдился ли деяния своего? Или страждет только от страха утратить блага и почести сана своего?» – опустошенно думал Кирилл. Как будто бы он все сделал правильно – и наказал и простил. Однако тревожное, словно легкая тень, сомнение не покидало его. «Быть может, я поспешил?» – думал митрополит.

– Брате, сыну возлюбленный, – сказал он на прощание Игнатию, – плачься о сем и кайся об этом грехе до самой смерти, ибо осудил мертвеца прежде суда Божия, а жива стыдяся его, и дары от него принимал, и ел и пил с ним. Моли Бога, дабы отдал тебе грех сей!

А тень сомнения осталась все равно, не исчезла в душе.

Игнатий, получив прощение, вдруг оробел. Вместо того чтобы возвратиться в Ростов, запинаясь, попросил Кирилла:

– Дозволь, отче, еще побыть с тобою!

– Побудь, чадо! – разрешил Кирилл, поняв состояние Игнатия.

И все-таки оставалась тень. Что-то он совершил не так.

Глава 48

Андрей во Владимир ехал верхом. В возке по летней дороге – обобьешь все бока. Уже начинали жать хлеба, и он с затаенной жадной будущего хозяина оглядывал богатые поля, скирды, ряды стогов на заливных лугах... В Новгороде уже началось! Опоздал митрополит! А Семен молодец, добился! С митрополитом теперь только докука лишняя. Ничего, минуется! Он иногда встряхивал головой: как давно это было уже, и митрополит, и Владимирский съезд, и проповеди! Конь тоже встряхивал головой. Слепни-потыкухи донимали вовсю. Андрей с шага переходил на рысь, проскакивая сырые низинки, но и на открытых местах крылатая нечисть не отставала. Он пожимал плечами. Что может сделать Кирилл? Все уже началось! Ярлык получен! Теперь... (Нет, не думать, не думать о дяде Андрее!) В конце концов он поступает не как дядя Андрей, а как отец, выгнавший дядю с владимирского стола и из Переяславля...

И все же, подъезжая к Владимиру, Андрей становился серьезнее. На последнем ночлеге думал о встрече с митрополитом уже без глумления, а с робостью. И очень обрадовался своему дворскому, что поспел из Владимира встречу Андрею со свежими вестями. Вести были о спорных селах, о брате Дмитрие, что тоже прибывал во Владимир, и главная: митрополит простил епископа Игнатия по неотступным мольбам ростовского князя Дмитрия Борисовича. Андрей долго глядел в глаза дворскому. Попросил повторить подробно.

– Хорошо, иди!

Оставшись один, усмехнулся. Еще усмехнулся. Усмехнулся, когда лег спать в высоком сарае, на самом верху, куда в открытые продухи проникал ветер и не подымалась крылатая гнусь. На сене, на пополах, повалился, распоясавшись, скинув сапоги и ферязь. И не спал, усмехался. Ничем кончилось! Поворочался еще, уминая сено, уснул.

Многошумный Владимир, в венце драгоценных соборов над кручею Клязьмы, над мощными валами, что опоясывали и перепоясывали город, деля его на три части: средний, княжой, или Печерный город, западный – Новый город, с Золотыми воротами, и восточный – Ветчанной город, через Серебряные ворота которого сейчас въезжал Андрей с дружиною, встречал Городецкого князя привычной суетой улиц и многолюдьем ремесленной и посадской толпы. Ему кланялись встречные бояре и посадские – кто узнавал, и он опять подумал, что, одолев брата, заставит их узнавать и кланяться всех, и здесь, и в других градах и весях.

Андрей Александрович к тридцати годам своей жизни заматерел. Раздался вширь. Появилась спокойная уверенность в движениях. Лицо стало и глаже и жестче, гуще выющийся каштановый волос бороды, что по углам рта, где усы переходят в бороду, завивалась крутыми языками. И когда у князя замерзали глаза и начинали вздрагивать эти крутые завитки над краями губ, у холопов и слуг душа уходила в пятки, так уж и знали: надвигается гроза.

То, чему он когда-то безуспешно учился сперва у Жеребца, а потом у Дмитрия Борисовича Ростовского, – вельможность взгляда, посадки и поступи, – появилось как-то само собой, когда перестал думать о том. Может, потому и появилось, что, садясь на коня ли, сходя по ступеням терема, приказывая что-либо, думал уже не о себе, не о том, как на него глядят, а о

своем, сжигавшем его ум замысле, перед которым все это – люди, дела ежедневные, споры бояр и отчеты ключников – казалось, да и было, комариной мелочью, которую надо было сделать и перестать думать о ней. Жадный горячий взгляд появлялся у Андрея лишь наедине с Семеном, когда решали о будущей власти, и князь, возвышая голос, требовал: «Скорей! Скорей!», или смолкал, замирая, леденя глаза, или срывался, бегая по горнице. Таким, и то лишь изредка, его видала еще одна только Феодора. Рождение сына и смерть его от моровой болезни как-то сблизили их между собой. Андрей смутно ощущал некую свою вину – хоть и не понимал в чем – за гибель сына. (Сестра Феодоры, Олимпиада, жена Константина Ростовского, уже дважды родила и, слышно, опять была на сносях.) Да к тому же именно теперь, когда замыслы были близки к осуществлению, Андрей, украдкой оглядывая жену, все более понимал, что только Феодора, с ее царственной статью, как никто иной годится на место жены великого князя владимирского, и лучше ее никого уже не найти. Она после родов было раздалась, но нынче опять похудела и как бы слегка подсохла, но еще прямее стали высокие плечи, иконописнее лик – такими изображают византийских цариц и царевен на иконах и в древних рукописях.

Феодору, лишенную усад материнства, так же как и Андрея, и еще более, сжигала жажда власти. Она ревниво переносила на Дмитрия свои неудачи и зависть к его невидной, как серая утица, княгине, которая, однако, рожала и рожала: вот уже второй сын растет, и, говорят, боек, здоров, смышлен. Все это как-то окончательно отодвигало братьев друг от друга...

Что ж! Митрополит стар, и уже пришел в движение Новгород, и готова Орда... И все же тут, во Владимире, остановясь на княжьем подворье, близ митрополичьих палат, Андрей снова заколебался. С детства, с молоком матери всосанное почтение к духовному владыке страны властно заговорило в нем. Андрей, решив пересилить себя, постарался встретиться с митрополитом Кириллом раньше, чем с братом. Злая мысль зрела в нем, что так же, как четверть века назад, Кирилл благословил отца после Неврюевой рати и разоренья земли, так же должен будет благословить и его, когда он вступит победителем, под звон колоколов, в стольный Владимир. И прочесть это во взоре митрополита, прочесть самому согласие духовной силы с грубою силой власти хотелось ему сейчас прежде всего. Он ожидал, что Кирилл постарел, но той перемене, которая произошла в облике митрополита за эти шесть лет, поразился. Андрей был потрясен, как необычайно утончился Кирилл, как-то поголубел даже, и, вместе, в облике его осязательно проглядывал какой-то уже нездешний свет. Казалось, сияние исходит от бескровной головы архипастыря. Или это солнце, непрошено протянувшееся в узкие окна митрополичьих покоев? Он представил, что уже двинуты рати и татарская конница потекла по дорогам Руси, и понял, что пока перед ним этот почти бесплотный старец, он ничего не двинет, не сможет переступить. И ежели бы Кирилл сейчас, ничего не вымолвив, пождал еще или вдруг сказал бы: «Сыне мой! Иди с миром и не грешь больше!» – Андрей повалился бы в ноги с рыданием, и признался во всем, и ото всего отказался...

Но митрополит начал говорить, и наваждение рассеялось. Кирилл не был в ударе, рек долго и витиевато, с подходами и украсами. Недавняя беседа с Игнатием утомила его больше, чем он сам мог предположить, и сейчас он чувствовал с горем, что для состязания с сыном Александра у него недостает сил. И так, вместо духовной располагающей беседы, вместо исповеди и покаяния, когда доброта просыпается и перевешивает зло, начался торг.

И только когда измученный увертливыми недомолвками митрополит откинулся в изнеможении на спинку кресла и сказал, взглянув вдруг прямо в душу Андрею полными муки глазами: «Господи! Разве мала вам земля?! Сыне мой, не дай ми благословити котору братню!» – в душе Андрея что-то перевернулось и подумалось вдруг, что власть – не только похоть и желание, но есть и долг, и бремя власти, и что воля может сказаться не только в праве на власть, но и в отречении от нее...

С этою чуждой, мешавшей ему, как заноза, мыслью готовился Андрей к встрече с братом.

Отречение! Но ради кого? – вопрошал он, подогревая себя вновь и вновь. Однако, не лукавя, не мог сказать, что Дмитрий менее достоин стола великокняжеского. За ним, Андреем, стояло одно – Орда. Однако... Не хочет ли Менгу-Тимур просто ослабить их, чтобы вернее держать в подчинении? Война на юге велась вяло. Иранские Хулагиды все крепче привязывали к себе Кавказ и области, что были за хребтом: Армению, Имеретию, Карталинию... На западе, в степи, Ногай забирает все большую власть... Не оказалось бы, что ордынская колесница, к которой привязал его Семен, увязнет где-то в Черных песках и утянет его за собою! Быть может, тогда Дмитрий и прав? С другой стороны, сарский владыка уже трижды ходил в Царьград, к Палеологу, послом Менгу-Тимура, на советах ордынских также русский епископ судит вместе с ханом Менгу-Тимуром... Нет, Семен прав: православие победит в Орде! И Дмитрий, цепляющийся заграничную торговлю, за Новгород, смешон. Ему (ему, а не мне!), как дяде Андрею, бежать за море, в Свейскую землю. И тогда он, Андрей, примет и простит Дмитрия, и власть будет у него в руках, и завет митрополита – не пролить братней крови – исполнится... И все-таки не получалось. Какие-то концы не сходились с концами. Ветхий митрополит на паутинной ниточке своей жизни держал готовящийся рухнуть мир.

...Дмитрий первый шагнул и раскрыл объятия. Они холодно поцеловались.

– Андрей... (хотел сказать, как в прошлом: Андрейка – язык не повернулся).

– Будешь попрекать?

– Попрекать следовало бы не тебя, а Семена, у коего ты в руках. Что там, в Орде?

– Великий князь владимирский должен был бы знать это лучше меня!

– Менгу-Тимур еще не думает принимать христианскую веру? – бледно усмехнулся брат. (Дмитрий знал много больше, видимо, чем предполагал Андрей.) – Впрочем, что *думал* Менгу-Тимур, теперь уже безразлично! – продолжал он с расстановкою.

Андрей тревожно вскинул глаза, не понимая.

– Менгу-Тимур умер в конце июля от нарыва в горле, – сказал Дмитрий и, перемолчав, добавил: – Неужели тебе Семен и этого не доложил?!

У Андрея шумело в голове. Он старался унять биение сердца и сообразить – что же теперь? На миг остро вспыхнуло подозрение об измене Семена. Но он тут же отогнал нелепую мысль. Видимо, уезжая из Городца, он попросту разминутся с гонцом... В голосе Дмитрия, впрочем, не слышалось торжества, как успел заметить, опоминаясь, Андрей.

– Кто теперь? – хрипло спросил Андрей, пряча глаза.

– Кто теперь? – повторил Дмитрий. – Туданменгу. Дервиш. Защитник бесерменской веры. И он не допустит крещения Орды. А делами правит сейчас его мать, Джиджекхатунь со своим эмиром, Байтаром. Вот так-то, Андрей! Оба мы проиграли с тобою, и лучше уж нам не ворошить взаимных обид, а попытаться жить в мире.

Он еще перемолчал. Спросил:

– А как Феодора? Дома?

– Оставь! Ты знаешь не хуже меня! – почти выкрикнул Андрей. Он все еще не мог охватить и обмыслить вести о смерти хана. Джиджекхатунь была, кажется, на их стороне, по словам Семена... Может быть, еще ничего и не потеряно? Может быть, смерть Менгу-Тимура даже и развяжет им руки?! Но бесерменская вера... Но митрополит Кирилл...

Ясно было одно: сейчас, до новых известий из Орды, приходилось ждать. И ждать, быть может, долго. Он украдкой, остывая, оглядел старшего брата.

Дмитрий (в нем сейчас, как в зеркале, Андрей видел себя) внешне почти не постарел. Но что-то новое, требовательно-тревожное и порою усталое то и дело проглядывало в нем. Андрей подумал вдруг, что брату несладок Новгород, хотел задать вопрос, заколебался. И, будто поняв неспрошенное, Дмитрий начал рассказывать сам:

– Требуют передать в руки веча печати князей на грамотах. Суд – только наместнику с посадником вкупе. А паче того, воротить им все земли, которые получил отец. Ежели уступить, мы потеряем Новгород.

Андрей поразился этому «мы». Он пытливо поглядел на брата. После всего, что он сделал, подкапываясь под власть Дмитрия, ему дико было подумать и поверить, что брат заботится не об одном себе, а о них обоих вместе, как о семье. Вспомнилось, как недавно (и как давно!) покойная мать все хлопотала о них о всех. Каким ветром раскидывало их семью? Почему, брошенный всеми, погиб Василий, так и не получив удела? Давно стала чужой сестра Евдокия... Почему они сейчас сидят и не верят один другому?! Однако в чем-то Дмитрий, видимо, прав. Андрей впервые подумал о Новгороде с тревогою. Как-то и здесь Дмитрий оказался дальновиднее. У новгородских бояр есть еще и свои думы, и какие-то замыслы, при коих ни он, ни Дмитрий, возможно, им и не нужны. И тут – ослабить друг друга? Но тогда их спасение – единство! Но почему Дмитрий, а не он? Мысль, обежав по кругу, воротилась туда же, откуда и началась.

Все-таки в этот раз снова пересилил старший. Андрей обещал Дмитрию помочь на Новгород. Как и следовало ждать, новгородцы, узнав о переговорах братьев Александровичей, порешили уладить дело миром и послали архиепископа Климента, который прибыл во Владимир уже перед самою осеннею распутой, когда кончали убирать огороды. Митрополит Кирилл был посредником в переговорах Климента с Дмитрием. И непрочный мир, готовый распасться каждое мгновение, установился вновь.

Глава 49

Федор воротился в Переяславль к осенней страде. Дома мать с надрывом кричала на Проську:

– И што ты така поперечная! Мать тебе слово, а ты десять! Помолчи, помолчи, говорю! Всеми ангелами, помолчи!

Федор постоял за порогом, усмехнулся. Отвык от материна крика. Толкнул дверь:

– Здравствуй, хозяйева!

Мать заплакала. Федор расцеловался с Проськой, слегка тронул ее по затылку. Взрослая уже, и за нос не потянешь теперь!

Собрали паужин. Мать, радостная, но все еще дуясь, вытащила мозговую кость, бросила перед ним на стол:

– Погрызи, зубы те молодые!

– Грикша дома ли? – спросил Федор.

– Где дома! Оба в нетях! И рожь не убрана...

– Ладно, мать, – остановил он ее, – я-то здесь, уберем!

Назавтра, не отгуляв, не перевидав родных, он влег в работу. Скоро приехал и брат, вдвоем дело пошло резвее. Оба ворчали на следы весенних огрехов – пахали и сеяли опять чужие люди, – но, в общем, хлеб родился добрый. Работали дотемна, уставали дочерна, кони ходили, запаленно поводя боками. Пока убирали и обмолачивали рожь, Федор все откладывал тяжелый разговор с братом об отцовской броне. Кольчатая бронь стояла дороже всего их хозяйства и по праву полагалась старшему сыну. Однако Грикше, пошедшему по монастырскому делу, бронь была без надобности, а Федору с броней открывался прямой путь в княжескую дружину. Федор наконец улучил время для разговора, но брат только покряхтел, отводя глаза.

– Тебе ить не нынче она нужна? Подумал бы лучше, как сестру приданым наделить. Остареет в девках, нам с тобою сором на весь белый свет!

Федор после того оглядел внимательнее сестру, понял, что Грикша прав, Просинью надо было выдавать замуж. (Но не продавать же бронь!) У него было серебро, у Грикши, кажется,

тоже. Они уселись вечером вчетвером. Мать как-то с робостью поглядывала на сыновей: уже взрослые мужики! Просинья сидела надувшись, не глядя ни на кого.

Федору бы сразу подумать о сестре, но он все эти дни был малость не в себе. Прежняя любовь опять захватила все его помыслы. Они не могли, конечно, не встретиться. Хоть Федор уже знал, что у нее муж, ребенок. Тут столкнулись на полевой дорожке, заговорили. Она похвастала малышом. Федору вдруг кровь ударила в голову, схватил за плечи...

– Пусти!

Она сильно ударила Федора по лицу. Отирая кровь из подбитого носа, он стоял и смотрел ей вслед, и все было опять как и прежде...

Сухая колкая солома. Снопы, снопы, снопы. Пыль. Молотьба. Вozy с хлебом, кули с зерном. Пока погода, пока можно молотить без овина, пока, за работой, можно забыть, забыть...

Вечер. Они идут рядом. Поля, кусты, и никого нет, можно не бояться чужих глаз. Она жевала колосок. Он молчал.

– Ты прости, Федя. Осерчала я тогда.

– Ничё!

Свернули, сели под скирдой. Она постелила платок. Привлек к себе. Плакала, целовал мокрое от слез лицо и чуял, как у обоих начинает кружиться голова.

– Как теперя мужу в глаза погляжу?! Федя мой! Что ж не жанился, мне, кабыть, легче было бы! Все скачешь, поди уж всюду побывал...

Она гладила и ворошила его волосы, наматывая на пальцы, а он... Он старался ни о чем не думать, так было легче.

– Знал кого кроме меня?

Федор кивнул молча.

– Что ж...

– Лучше тебя все одно нет!

– А не взял. Молила тогда.

– Мать не велела.

– Ты мне не баял того...

– Чаял, уговорю.

– Что ж, плоха ей показалась?

– Не... (чтобы выгородить мать, соврал). Старшего женить сперва похотела, да так и...

– Ладно уж! И я, вишь, не стала ждать. Да и батюшка неволил: слава идет, а жених добрый.

– А какой...

– Не прощай! Вишь, здесь сию.

Они расстались, не дав обещания встретиться вновь. Слишком горько да и трудно: где в деревне убережешься от любопытных глаз? Федор понимал, что мужик убьет ее, ежели только о чем прослышит.

И все это ворошилось в нем, не давая думать ни о чем больше. Пока сидели вчетвером, он снова вспомнил о ней и, когда Грикша начал прямой разговор, даже вздрогнул, не сразу опомнясь.

Сестра, густо заалев лицом, вышла из-за стола и из избы, хлопнув дверью.

– А есь ли кто на примете? – спросил Федор, окончательно очнувшись.

– То-то и горе, что есь! Купчик, с Углича... Ему в придано серебро нать! Вот, а ты говоришь, бронь...

– Бронь жалко! – ответил Федор.

– И с чего ты взял, что тебя возьмут? Князь еще во Владимире!

– А мне обещал Терентий Мишинич.

– В дружину хочешь?

– От своей доли откажусь в земле, серебро отдам все, что скопил! – глухо отозвался Федор. – Только бронь нужна.

– Я-то думал бронь продать, – возразил Грикша, – либо вообще оставить Просинье.

– Кто таков жених? – снова спросил Федор.

– Баял уже, купчик. Дело у его торговое, серебро нать.

– Две гривны сейчас дам. Гривну еще достану. Неуж не соберем?

– Ладно, – уступил Грикша. – Обмозгуем ужо. Митрополит по зиме будет в Переяславли, може, что и мне тогда перепадет... Слышал, что он ростовского епископа Игнатия отлучал?

– Простил?

– Князь умолил. В Ростове князя всё волости поделить не могут!

– А кто может... (мы с тобой отцову бронь не поделим!) – А вслух: – Мне в Юрьеве старец один сказывал о Святославе, мол, оттого уступил стол Невскому, что не похотел резни на Руси...

– Не потому, а потому, что усидеть не смог... Да, да! – разгорячился Грикша. – Они добрые, хорошие, как и ростовские князи, а – не живут! Не держатся за жизнь, так-то вот!

Федор еще через неделю попытался подобраться к брату через мать:

– Мама, уломай ты Грикшу, пусть отдаст мне бронь!

– Не смею, он теперь старшой, – отмолвила она.

Они вернулись к этому разговору спустя время, уже перед самыми заморозками. Поехали в челноке на рыбалку. Ночи уже были темные, глаз выколи. Пристав к берегу, развели костер и, лежа в шатре, прислушиваясь к шорохам ночного леса и плеску рыбы, вполголоса завели спор о возможности чего-то добиться в жизни. Грикша доказывал, что все предначертано Богом, и доброе, и худое. Еще заранее, до того, как человек родится. И даже еще раньше, с той поры, как был сотворен мир. Федор горячился:

– Неуж я не могу сам сделать ничего! Да в каждом дели усилишься – и сделаешь, а не усилишься – и ничо не выйдет! Я могу так, могу и эдак. Могу сиднем просидеть, все буду ждать, что от Бога мне в рот манны небесной накладывают! А захочу – заставлю себя, вот, усилием, разумом своим, и сделаю что ни то, и от меня жизнь хоть маленько, да сдвинется!

– Что ты сделаешь, Федор, то так и предназначено тебе. Ты шевелись, делай, старайся! Так тебе и нужно! А другой не будет, не сумеет, оно и уравниется.

– И татары, скажешь, предназначены были?

– И татары. Заслужили мы татар. Не они, дак другие были бы все равно.

– Тебя послушать – ложись и умирай.

– И умрешь в свой час. Все помрем.

– Бог дал зачем-то нам свободную волю!

– Нет у нас никакой свободной воли. Все предназначено, все. «Ни единый волос не упадет с головы без воли Его!» Это что значит?

– Но зачем же тогда всё? И мы, и вот!

Он мотнул головой в сторону костра и леса, где что-то гулко ухнуло и прокатилось, замирая в тишине, и снова стал слышен только тихий треск костра, шорох воды да редкие всплески рыбы.

– Видишь, Федор, ето не просто объяснить. Человек, ну словом, как мир. И в нем все то же, что в большом мире. А порядок мира – согласие. Словно в пении церковном. Голоса разны, а поют согласно. И коли на струнах играет игрец какой – струны разны, и звуки не в одно. И кабы все звуки одинаковы были, не стало бы и музыки. А музыка – ето согласие. Так и в мире все и разнo, а согласно одно с другим. Ты вот мятешься, бабы тебе там нужны, иное что, а ты возвысься умом и тогда поймешь гармонию мира. Надо все забыть и отбросить. И тогда услышишь, как небеса поют о славе Бога. Из разного слагается одно, единое, сущее. Ты баешь, хочешь досягнуть чего, а иной будет сидеть, и ему то предназначено, а тебе – твое. Покой и

движение разны, а в природе смешаны, и не может быть покоя без движения и движения без покоя. Вот звезды: вечно движутся, а с мест не сойдут! Взгляни! И у людей, у зверей, у травы, у всего свой срок и предел. И всё вместе! Все связано, и все предназначено от начала начал. Так вот мудрецы глаголют!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.